
ДЖОЗЕФ
КОНРАД
Лорд Джим
АЗБУКА-КЛАССИКА

Лорд Джим
Джозеф Конрад

Аннотация
Джозеф Конрад. Лорд Джим
ПРЕДИСЛОВИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Аннотация

Пароход «Патна» везет паломников в Мекку. Разыгрывается непогода, и члены команды, среди которых был и первый помощник капитана Джим, поддавшись панике, решают тайком покинуть судно, оставив пассажиров на произвол судьбы. Однако паломники не погибли, и бросивший их экипаж ждет суд. Джима лишают морской лицензии, и он вынужден перебраться в глухое поселение на одном из Индонезийских островов…

Тайский пароход «Нянь-Шань» попадает в тайфун. Мак-Вир, капитан судна, отказывается поменять курс и решает противостоять стихии до конца…

Роман «Лорд Джим» признан критиками лучшим произведением автора.

Джозеф Конрад
Лорд Джим

Да, моя уверенность укрепляется с того момента, когда другая душа ее разделит.

Новалис

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда этот роман впервые вышел отдельной книгой, стали поговаривать о том, что я переступил границу мною задуманного. Некоторые критики утверждали, будто произведение, начатое как новелла, ускользнуло из-под контроля автора. Один или двое считали это очевидным и как будто этим забавлялись. Они заявляли: повествовательная форма имеет свои законы. Они утверждали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. Это, говорили они, маловероятно.

Поразмыслив в течение приблизительно шестнадцати лет, я не так уже в этом уверен. Известно, что люди — как под тропиками, так и в умеренном климате — просиживали полночи, «рассказывая друг другу сказки». Здесь мы имеем лишь одну сказку, но рассказчик говорил с перерывами, дававшими некоторое облегчение; что же касается выносливости слушателей, то следует принять постулат: история была интересна. Это необходимая предпосылка. Если бы я не верил в то, что она интересна, — я бы никогда

не начал ее писать. Что же касается физической выносливости, все мы знаем — иные речи в парламенте произносились в течение шести, а не трех часов, тогда как ту часть книги, в какой дан рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше чем за три часа. Кроме того, — хотя я выключил все незначительные детали, — мы можем предположить, что в тот вечер подавались прохладительные напитки — стакан минеральной воды или что-нибудь в этом роде, — помогавшие рассказчику продолжать повествование.

Сознаюсь, я задумал написать рассказ, посвященный эпизоду с паломническим судном, — и только. Такова была концепция. Написав несколько страниц, я остался чем-то недоволен и отложил на время исписанные листы. Я не вынимал их из ящика до тех пор, пока покойный мистер Уильям Блеквуд не намекнул, что я должен снова что-нибудь дать в его журнал.

Тогда только я понял, что, отталкиваясь от эпизода с паломническим судном, можно развернуть широкую повесть. Понял я также, что этот эпизод может придать «чувству бытия» колорит простой и яркий. Но все эти настроения и побуждения были в то время довольно туманны и не кажутся мне яснее теперь, по истечении стольких лет.

Те немногие страницы, какие я отложил в сторону, — до известной степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я умышленно переделал заново. Принимаясь за работу, я знал — книга выйдет длинная, хотя и не предвидел, что она растянется на тринадцать номеров журнала.

Иногда мне задавали вопрос, не люблю ли я эту книгу больше всех остальных, мной написанных. Я — великий враг фаворитизма и в общественной жизни и в частной, и даже в тех случаях, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Принципиально я не хочу иметь фаворитов; однако не буду утверждать, будто чувствую неудовольствие и досаду, зная, что иные оказывают предпочтение моему Лорду Джиму. Не буду даже говорить, что «я отказываюсь понять»... Нет! Но однажды случилось так, что я был удивлен и сбит с толку.

Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не нравилась. Об этом я пожалел, конечно, но удивило меня основание такой неприязни. «Вы знаете, — сказала она, — все это так болезненно».

Приговор заставил меня провести час в тревожных размышлениях. Наконец я пришел к тому заключению, что эта дама ни в коем слу-

чае не была итальянкой, хотя я допускаю, что тема до известной степени чужда нормально восприимчивым женщинам. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская кровь, не усмотрел бы ничего болезненного в той остроте, с какой человек реагирует на потерю чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее осудят как искусственную, — и, возможно, мой Джим — тип, встречающийся нечасто. Но я могу заверить своих читателей, что он не является плодом холодного извращенного мышления. И он — не дитя Северных Туманов. Солнечным утром, в повседневной обстановке одного из рейдов на Восток видел я, как он прошел мимо — умоляющий, выразительный, в тени облака, безмолвный. Таким он и должен быть. И мне подобало со всем сочувствием, на какое я был способен, найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был **одним** из нас.

Джозеф Конрад, июнь 1917.

1

Ростом он был шесть футов, — пожалуй, на один-два дюйма меньше, сложения крепкого, и он шел прямо на вас, слегка сгорбившись, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что наводило на мысль о быке, бросающемся в атаку. Голос у него был низкий, громкий, а держался он так, словно упрямо настаивал на признании своих прав, хотя ничего враждебного в этом не было; казалось, это требование признания вызвано необходимостью и, видимо, относится в равной мере и к нему самому, и ко всем остальным. Он всегда был одет безукоризненно, с ног до головы — в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где зарабатывал себе на жизнь, служа морским клерком у судовых поставщиков.

Морскому клерку не нужно сдавать никаких экзаменов, но предполагается, что он должен отличаться сноровкой и проявляет ее на практике. Его работа заключается в том, чтобы под парусом, на паровом катере или на веслах обгонять других морских клерков, первым подплыть

к судну, готовому бросить якорь, и радушно приветствовать капитана, вручая ему проспект судового поставщика; когда же капитан сходит на берег, морской клерк должен уверенно, но не назойливо направить его к большой, похожей на пещеру, лавке, где можно найти большой выбор напитков и съестных припасов, необходимых на судне. Там имеется решительно все, чтобы сделать судно красивым и пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы, и поставщик встречает там, словно родного брата, любого капитана, которого никогда раньше не видел. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и экземпляром портовых правил, и радушный прием, который растворяет соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство, таким образом завязанное, поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану клерк относится как верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины и держит себя как веселый и добрый малый. Позже посылается счет. Прекрасное и гуманное занятие!

Вот почему хорошие морские клерки встречаются редко. Если морской клерк, наделенный сноровкой, вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему большие деньги и дает кое-какие поблажки. Джим всегда получал хорошее жалованье и пользовался такими поблажками, какие завоевали бы верность врага. Тем не менее с черной неблагодарностью он внезапно бросал работу и уезжал. Объяснения, какие он давал своим хозяевам, были явно несостоятельны. «Проклятый болван!» — говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было их мнение об его утонченной чувствительности.

Белые, жившие на побережье, и капитаны судов знали его просто как Джима — и только. Была у него, конечно, и фамилия, но он был заинтересован в том, чтобы ее не называли. Его инкогнито, дырявое как решето, имело целью скрывать не личность, но факт. Когда же факт пробивался сквозь инкогнито, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт — обычно дальше на восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании — моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая хороша лишь для работы морского клерка. Он отступал

в строгом боевом порядке в ту сторону, где восходит солнце, а факт следовал за ним, прорываясь случайно, но неизбежно. И вот — по мере того как шли годы — о Джиме узнавали в Бомбее, Калькутте, Рангуне, Пенанге, Батавии, — и в каждом из этих портов его знали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острая реакция на то, что невыносимо, окончательно оторвала его от морских портов и белых людей и увлекла в девственные леса, малайцы лесного поселка, где он пожелал скрыть свой прискорбный дар, прибавили словечко к односложному его инкогнито. Они называли его Тюан Джим, — иначе говоря — Лорд Джим.

Он вышел из пасторской семьи. Из этого приюта благочестия и мира выходят многие капитаны торговых судов. Отец Джима обладал тем ограниченным знанием непознаваемого, какое необходимо для праведной жизни обитателей коттеджей и не нарушает спокойствия духа тех, кому непогрешимое провидение разрешает жить в богатых особняках. Маленькая церковь на холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Здесь стояла она столетия, но деревья вокруг помнят, должно быть, как был положен первый камень. Внизу — у

подножия холма — мягкими тонами отсвечивал красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, клумбами и соснами; позади дома находился фруктовый сад, налево — мощеный скотный двор, а к кирпичной стене лепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений; но Джим был одним из пяти сыновей, и когда, начитавшись легкой беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на «учебное судно для офицеров торгового флота».

Там он познакомился с тригонометрией и научился лазить по брам-реям. Все его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружениям, он проворно и ловко взбирался на верхушки мачт. Его пост был на фор-марсе, и, с презрением человека, которому суждено жить среди опасностей, частенько смотрел он оттуда вниз на мирное скопление крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы вздымались перпендикулярно грязному небу, — трубы тонкие, как карандаш, и, как вулкан, изрыгающие дым. Он видел, как отчаливали большие корабли, вечно двигались широкие

паромы и плавали лодки там, внизу, под ним, — а вдали мерцали туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.

На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и заранее мысленно переживал жизнь на море, о которой знал из беллетристических книг. Он видел себя: то он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубает мачты, или с веревкой плывет по волнам прибоя, или, потерпев крушение, одиноко бродит, босой и полуголый, по не покрытым водой рифам, в поисках ракушек, которые отсрочили бы голодную смерть. Он сражался с дикарями под тропиками, усмирял мятеж, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживал мужество в отчаявшихся людях — всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки.

— Что-то неладно, все сюда!

Он вскочил на ноги. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот. Выбравшись из люка, он застыл на месте, ошеломленный.

Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, приостановив движение на реке, и теперь дул с силой урагана; его прерывистый

гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, ниспадала хлещущая сплошная завеса; изредка перед глазами Джима вставали грозно надвигающиеся волны, маленькое суденышко металось у берега; неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане; тяжело раскачивались широкие паромы на якоре, поднимались и опускались огромные пристани, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это начисто смел. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме какое-то злобное упорство, яростная настойчивость в визге ветра, в диком смятении земли и неба, — ярость, как будто направленная против него, и в страхе он затаил дыхание. Он стоял неподвижно. А ему казалось, что его подхватил вихрь.

Его толкали. — Спустить катер! — Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в стоявшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна был свидетелем этого происшествия. Мальчики облепили поручни, сгрудились у шлюпбалок. — Авария! Как раз перед нами. Мистер Симонс видел. — Его отпихнули к бизань-мачте, и он ухватился за снасти. Старое ошвартованное учеб-

ное судно дрожало всем корпусом, опуская нос под ударами ветра, а снасти низким басом тянули песню о днях его юности на море. — Спускайте! — Джим видел, как шлюпка быстро опустилась за борт, и бросился к поручням. Раздался плеск. — Отдать концы! — Он перегнулся через поручни. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, весь во власти ветра и волн, которые на секунду прижали его борт о борт к судну. Слабо донесся чей-то голос с катера: — Гребите сильней, ребята, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите сильней! — И вдруг катер, подбросив высоко нос, — весла были подняты, — перескочил через волну и разорвал чары, наложенные на него волнами и ветром.

Джим почувствовал, как кто-то схватил его за плечо.

— Опоздал, мальчуган!

Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, как будто собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительно сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыбнулся.

— В следующий раз тебе повезет. Это тебя научит быть расторопным.

Громкими радостными криками приветство-

вали катер. Наполовину залитый водой, он вернулся, танцуя на волнах, а на дне его копошились в воде два измученных человека. Грозный шум ветра и волн казался Джиму не стоящим внимания — тем сильнее сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, как нужно к ней относиться, и думал, что шторм ему нипочем. Он сумеет встретить и более серьезную опасность. Лучше, чем кто бы то ни было другой. От страха не осталось и следа. Тем не менее в тот вечер он мрачно держался в стороне, а носовой гребец катера — мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами — был героем нижней палубы. Его обступили, с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:

— Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не упал за борт; я думал, что упаду, но тут старик Симонс выпустил румпель и схватил меня за ноги — лодка едва не опрокинулась. Старик Симонс — молодчина. Не велика беда, что он на нас ворчит. Он все время ругался, пока держал меня за ногу, но этим он только хотел дать мне понять, чтобы я не выпускал багор. Старик Симонс ужасно вспыльчивый, правда? Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого — большого, с

бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! моя нога!» — и закатил глаза. Подумайте только — такой здоровый парень — и падает в обморок, как девчонка. Разве мы с вами потеряли бы сознание из-за какой-то царапины багром? Я бы не потерял! Крюк вошел ему в ногу вот настолько. — Он показал багор, принесенный для этой цели вниз, и вызвал сенсацию. — Нет, глупости! В теле крюк, конечно, не удержался бы, но штаны не подвели. Кровь так и хлестала.

Джим решил, что это было суетное тщеславие, достойное сожаления. Буря пробудила героизм столь же фальшивый, как фальшива была и самая угроза шквала. Он сердился на дикое смятение земли и неба, заставшее его врасплох и постыдно задушившее благородную готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо достиг большего, оставаясь на борту. Знания его стали шире, чем у тех, кто участвовал в деле. Если все утратят мужество, он один — в этом был он уверен — сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн. Он знал, чего она стоит. Ему — беспристрастному зрителю — она казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и потрясающее событие закончилось тем, что, отделившись незаметно

от шумной толпы мальчиков, Джим ликовал, вновь убедившись в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве.

2

После двух лет учения он ушел в плавание, и жизнь на море, которую он так ярко себе представлял, оказалась странно лишенной приключений. Он сделал много рейсов. Познал магию монотонного существования между небом и землей; ему приходилось выносить порицания людей, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради куска хлеба, — единственной наградой за него является безграничная любовь к своему делу. Эта награда ускользнула от Джима. Однако вернуться он не мог, ибо нет ничего более заманчивого, разочаровывающего и порабощающего, чем жизнь на море. Кроме того, у него были виды на будущее. Он был благовоспитан, уравновешен, послушен и в совершенстве знал свои обязанности; вскоре, совсем еще молодым, он был назначен старшим помощником на прекрасное судно, не успев столкнуться с теми испытаниями моря, какие обнаруживают, чего стоит человек, из какого материала он скроен и каков его нрав; эти испытания вскрывают силу сопротивляемости и истинные мотивы его стрем-

лений не только другим, но и ему самому.

Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря. А ярость эта проявляется не так часто, как принято думать. Есть много оттенков в опасности приключений и бурь, и только изредка лик событий затягивается мрачной пеленой зловещего умысла: вскрывается неуловимое нечто, и в мозг и в сердце человека закрадывается уверенность в том, что это сплетение событий или бешенство стихий надвигается с целью недоброй, с силой, не поддающейся контролю, с жестокостью необузданной, замышляющей вырвать у человека надежду и возбудить в нем страх, мучительную усталость и стремление к покою… раздавить, уничтожить, стереть все, что он видел, знал, любил, ненавидел, — и насущно необходимое и ненужное — солнечный свет, воспоминания, будущее, — надвигается с жестокостью, замышляющей смести весь мир, просто и безжалостно отняв у человека жизнь.

На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец-капитан впоследствии говорил: «Дружище! Я считаю чудом, что судно выдержало!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, потерявший надежду, словно

обретался в бездне непокоя. Его не интересовало, каков будет конец, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством и расплывчатостью человеческой мысли. Страх становится слабее, ничем не подстрекаемое воображение — враг людей, отец всех ужасов — тонет в тупой усталости. Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед ним была картина опустошения в миниатюре, и втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но изредка непобедимая тревога схватывала в тиски его тело, заставляя задыхаться и корчиться под одеялами, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физической агонии, вызывала в нем отчаянное желание спастись во что бы то ни стало. Потом буря миновала, и Джим больше о ней не вспоминал.

Однако он все еще хромал, а когда судно прибыло в один восточный порт, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Он поправлялся медленно, и судно ушло без него.

Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь два больных: баталер с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железно-

дорожный поставщик из соседней провинции, пораженный какой-то таинственной тропической болезнью. Доктора он считал ослом и втайне злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему контрабандой его неутомимый и преданный слуга тамил. Больные рассказывали друг другу случаи о своей жизни, играли в карты или, в пижамах, валялись по целым дням в кресле, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в окна, всегда раскрытые настежь, приносил в комнату с голыми стенами мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе, о нескончаемых грезах. Каждый день Джим глядел на изгороди садов, крыши домов, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше — туда, на рейд — путь на Восток, — на рейд, усеянный гирляндами островков, залитый праздничным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда, — эта суета напоминала шумный языческий праздник, — а вечно ясное восточное небо и улыбающееся мирное море тянулось вдаль и вширь до самого горизонта.

Как только Джим стал ходить без палки, он спу-

стился в город разузнать о возможности вернуться на родину. В то время благоприятного случая не представлялось, и, выжидая, он, естественно, сошелся в порту с людьми своей профессии. Они были двух сортов. Одни — их было очень мало, и в порту их видели редко — жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом пиратов и глазами мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их фантастическом существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно законченным. Большинство же состояло из людей, которые, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно, вошли в командный состав местных судов. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг — священен, а суда обречены на штормы. Они настроились на вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белым. Они содрогались при мысли о тяжелой работе и, полагаясь на случай, жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение, служа китайцам, арабам, полукров-

кам… они готовы были служить самому дьяволу, если бы тот предоставил им эту возможность. Неустанно говорили они о случайных удачах: как такой-то получил командование судном, плававшим у берегов Китая — легкая работа; как одному досталось прекрасное место где-то в Японии, а другой преуспевает в сиамском флоте; на всем, что бы они ни говорили, — на всех их поступках, взглядах, манерах, — было пятно — знак гниения — решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.

Джиму эта толпа разглагольствующих моряков казалась сначала менее реальной, чем тени. Но под конец он начал находить очарование в этих людях, якобы преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу вытеснялось иным чувством. Внезапно отказавшись от мысли вернуться на родину, он поступил штурманом на «Патну».

«Патна» была местным пароходом, таким же старым, как холмы, тощим, как борзая, и изъеденным ржавчиной хуже, чем никуда не годный чан для воды. Владельцем ее был китаец, фрахтовщиком — араб, а капитаном — ренегат, немец из Нового Южного Уэльса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но, — видимо,

подражая успешной политике Бисмарка, — тиранил всех тех, кого не боялся, и разгуливал с видом свирепым-и железно-непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разводившего пары у деревянной пристани.

По трем сходням тремя потоками поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, топая и шаркая босыми ногами, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от поручней, растеклись по всей палубе, двинулись на нос и на корму, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, проникающая в выбоины и трещины, как вода, бесшумно поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин — каждый со своими надеждами, верой, привязанностями, воспоминаниями — пришли сюда с севера и юга и с далекого востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау вдоль отмелей, перебирались в маленьких каноэ с острова на остров, терпели тяжелые лишения, видели незнакомые места,

испытали неведомый доселе страх, влекомые единым желанием. Они пришли из одиноких хижин в лесной глуши, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Словно по зову, покинули они свои леса, свои просеки, своих защитников-вождей, свои богатства и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, — сильные мужчины во главе своих семей; тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение; юноши с бесстрашными глазами, с любопытством озирающиеся по сторонам; пугливые девочки со спутанными длинными волосами; робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, — спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.

— Посмотрите-ка на этот скот, — сказал немец-шкипер новому своему штурману.

Араб — вождь этих благочестивых странников — явился последним. На борт он поднялся медленно, — красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним следовала вереница слуг, тащивших его пожитки. «Патна» отчалила от пристани.

Она проскользнула между двумя островками

и наискось пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруглую тень холма, потом близко подошла к гряде покрытых пеной рифов. Араб, стоя на корме, вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость всевышнего на это путешествие, молил благословить труд людей и тайные их стремления. В сумерках пароход разбил спокойные воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал пламенным глазом, словно насмехаясь над благочестивым паломничеством.

«Патна» вышла из пролива, пересекла залив и продолжала путь по проходу «Один градус». Она шла к Красному морю под ясным небом, под небом палящим и безоблачным, окутанным в солнечное сияние, которое убивает все мысли, давит на сердце, иссушает всякую энергию и силу. А под зловещим сверканием неба море, синее и глубокое, оставалось неподвижным, даже рябь не морщила его поверхности, — море клейкое, стоячее, мертвое. «Патна» с легким шипением прошла по этой лучезарной и гладкой равнине, развернула по небу черную ленту дыма, оставляя за собой на воде белую ленту пены, которая

тотчас же исчезла, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным кораблем.

Каждое утро солнце, словно приноравливаясь на путях своих к продвижению паломников, поднималось, молчаливо извергая свет всегда на одном и том же расстоянии от кормы судна, нагоняло его в полдень, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивые стремления путников, стремилось дальше, на запад, и таинственно погружалось в море — каждый вечер на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Пять белых на борту жили на середине судна, изолированные от человеческого груза. Тент белой крышей протянулся над палубой с носа до кормы, и только слабое жужжанье — тихий шепот грустных голосов — обнаруживало присутствие толпы людей на ослепительной глади океана. Так проходили дни, безмолвные, горячие, тяжелые, исчезая один за другим в прошлом, словно падая в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна; а «Патна», одинокая под облачком дыма, упорно шла вперед, черная и дымящаяся в лучезарном пространстве, как будто опаленная пламенем, безжалостно хлеставшим ее с неба.

Ночи спускались на нее как благословение.

3

Чудесная тишина объяла мир, и звезды, казалось, посылали на землю вместе с ясными своими лучами заверение в вечной безопасности; Молодой месяц, изогнутый, сияющий низко на западе, походил на тонкую стружку, оторвавшуюся от золотого слитка, а Аравийское море, ровное и казавшееся холодным словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся безостановочно, как будто удары его являлись частью схемы какой-то надежной вселенной; а по обе стороны «Патны» две глубокие складки воды, неподвижные и мрачные, протянулись на мерцающей глади; между этими прямыми расходящимися гребнями виднелось несколько белых завитков пены, вскипающей с тихим шипением, легкая рябь, зыбь и маленькие волны, которые, оставшись позади, за кормой, еще секунду шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, умиротворенные тишиной воды и неба, а черное пятно — движущееся судно — по-прежнему оставалось в самом центре тишины.

Джим, стоявший на мостике, был проникнут

великой уверенностью в безграничной безопасности и спокойствии, запечатленных на безмолвном лике природы, как любовь запечатлевается на кротком и неясном лице матери. Под тентом, отдавшись мудрости белых людей и их мужеству, доверяя могуществу их неверия и железной скорлупе их огненного корабля, — паломники взыскательной веры спали на циновках, на одеялах, на голых досках, на всех палубах, во всех темных углах — спали, завернутые в окрашенные ткани, закутанные в грязные лохмотья, а головы их покоились на маленьких узелках, и лица были прикрыты согнутыми руками; спали мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, дряхлые вместе с сильными — все равные перед лицом сна, брата смерти.

Струя воздуха, навеваемая с носа благодаря быстрому ходу судна, прорезала темное пространство между высокими бульварками, проносилась над рядами распростертых тел; тускло горели круглые лампы, подвешенные к перекладинам, и в мутных кругах света, отбрасываемого вниз и слегка трепещущего в ответ на непрекращающуюся вибрацию судна, виднелись задранный вверх подбородок, сомкнутые веки, темная рука с серебряными кольцами, худая нога под рваным

одеялом, голова, откинутая назад, голая ступня, шея, обнаженная и вытянутая, словно подставленная под нож. Люди зажиточные устроили для своих семей уголки, огородившись тяжелыми ящиками и пыльными циновками; бедные лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узел, засунули себе под голову; одинокие старики спали, подогнув колени, на ковриках, расстилаемых для молитвы, раздвинув локти, прикрывая руками уши; какой-то мужчина, втянув голову в плечи и уткнувшись лбом в колени, грустно дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку; одна женщина, прикрытая с головы до ног, словно покойница, белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку; имущество араба, сложенное на корме, громоздилось тяжелой глыбой с ломаными очертаниями, а лампа, спускавшаяся сверху, тускло освещала груду наваленных вещей: виднелись пузатые медные горшки, подножка стула, клинки копий, прямые ножны старого меча, прислоненные к куче подушек, нос жестяного кофейника. Патентованный лаг на поручнях кормы ритмически выбивал раздельные звенящие удары, отмечая каждую милю, пройденную паломниками. Время от времени над

телами спящих всплывал слабый и терпеливый вздох — испарения тревожного сна; из недр судна внезапно вырывался короткий металлический стук, слышно было, как жестко скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, священнодействующие над чем-то таинственным там, внизу, были исполнены ярости и гнева; а стройный, высокий корпус парохода мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно разрезал великий покой вод, спящих под недоступным и ясным небом.

Джим ходил взад и вперед, и в необъятном молчании шаги его раздавались громко, словно настороженные звезды отзывались на них эхом. Глаза его, блуждая вдоль линии горизонта, как будто жадно вглядывались в недосягаемое и не видели тени надвигающегося события. Единственной тенью на море была тень от черного дыма, тяжело выбрасывающего из трубы широкий флаг, конец которого растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и неподвижные, стоя по обе стороны штурвала, управляли рулем; медный обод колеса поблескивал в овальном пятне света, отбрасываемого лампой в нактоузе. Время от времени рука с черными пальцами, то отпуская, то снова сжимая вращающиеся спицы,

показывалась на светлом пятне; звенья рулевых цепей тяжело скрежетали в пазах вала. Джим посматривал на компас, окидывал взглядом недосягаемый горизонт, потягивался так, что суставы трещали, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия; нерушимое спокойствие словно придало ему мужества, и он чувствовал — ему все равно, что бы ни случилось с ним до конца его дней. Изредка он лениво взглядывал на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади штурвала. При свете фонаря, подвешенного к пиллерсу, лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал; дно, изображенное на нем, было такое же гладкое, как мерцающая поверхность вод. На карте лежали линейка для проведения параллелей и циркуль; положение судна в полдень было отмечено черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до перима, обозначала курс судна — тропу душ к святому месту, к обетованному спасению, к вечной жизни; карандаш, касаясь острием берега Сомали, лежал круглый и неподвижный, словно голая мачта, всплывшая в заводи защищенного дока.

«Как ровно идет судно», — с удивлением

подумал Джим, с какою-то благодарностью воспринимая великий покой моря и неба. В такие минуты мысли его вращались в кругу доблестных подвигов, он любил эти мечты и успех своих воображаемых достижений. То было лучшее в жизни, тайная ее истина, скрытая ее реальность. В этих мечтах была великолепная мужественность, очарование неуловимого, они проходили перед ним героической процессией, они увлекали его душу и опьяняли ее божественным напитком — безграничной верой в самое себя. Не было ничего, чему бы он не смог противостоять. Эта мысль так ему понравилась, что он улыбнулся, беспечно глядя вперед; оглянувшись, он увидел белую полосу кильватера, проведенную по морю килем судна, — полосу такую же прямую, как черная линия, проведенная карандашом на карте.

Ведра с золой ударялись о вентиляторы кочегарки, и этот металлический стук напомнил ему, что близится конец его вахты. Он вздохнул с удовольствием, но в то же время пожалел, что приходится расставаться с этим невозмутимым спокойствием, поощряющим свободные дерзания его мыслей. Ему немножко хотелось спать, он ощущал приятную усталость во всем теле, словно вся кровь его превратилась в теплое молоко.

Шкипер бесшумно поднялся на мостик; он был в пижаме, и широко распахнутая куртка открывала голую грудь. Он еще не совсем проснулся; лицо у него было красное, левый глаз полузакрыт, правый, мутный, тупо вытаращен; свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сильная, лоснилась, словно он вспотел во сне, и из пор выступил жир. Он сделал какое-то профессиональное замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминающим скрежет пилы, врезающейся в доску; складка его двойного подбородка свисала, как мешок, подвязанный к челюсти; Джим вздрогнул и ответил очень почтительно; но отвратительная мясистая фигура, словно увиденная впервые в минуту просветления, навсегда запечатлелась в его памяти как воплощение всего порочного и подлого, что таится в мире, нами любимом: оно таится в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение; в людях, нас окружающих; в картинах, какие раскрываются перед нашими глазами; в звуках, касающихся нашего слуха; в воздухе, наполняющем наши легкие. Тонкая золотая стружка месяца, медленно опускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность

словно придвинулась к земле, ярче замерцали звезды, интенсивнее стал блеск полупрозрачного купола, нависшего над плоским диском темного моря. Судно скользило так ровно, что не ощущалось никакого движения вперед, как будто «Патна» была планетой, несущейся сквозь темные пространства эфира, за роем солнц, в устрашающей и спокойной пустыне, ожидающей дыхания новых творений.

— Мало сказать, жарко — там, внизу, — раздался чей-то голос.

Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер, невозмутимый, стоял, повернувшись к нему широкой спиной; в обычае ренегата было не замечать сначала вашего присутствия, а затем, пожирая вас глазами, разразиться, с пеной у рта, потоком брани, вырывающимся словно из водосточной трубы. Сейчас он только угрюмо что-то проворчал; второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, нимало не смущаясь, продолжал жаловаться. Морякам хорошо здесь, наверху, и хотел бы он знать, какой от них толк? Бедные механики должны вести судно, и они прекрасно справились бы и со всем остальным; ей-богу, они…

— Замолчите! — флегматично проворчал

немец.

— Ну конечно! Замолчать! А как что неладно, вы сейчас же бежите к нам, верно? — продолжал тот. Он уже наполовину изжарился там, внизу. Во всяком случае, теперь ему все равно, как бы он ни нагрешил: за последние три дня он получил прекрасное представление о том местечке, куда отправляются после смерти дрянные людишки… ей-богу, получил… и вдобавок оглох от адского шума там, внизу. Проклятая гнилая развалина грохочет и тарахтит, словно старая лебедка, даже еще громче; и какого черта ему рисковать своею жизнью дни и ночи среди всей этой рухляди, будто на кладбище для кораблей, он понятия не имеет! Должно быть, он от рождения такой легкомысленный. Он…

— Где вы напились? — осведомился немец; он был взбешен, но стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой нактоуза, похожий на грубую статую человека, вырезанную из глыбы жира. Джим по-прежнему улыбался, глядя на отступающий горизонт; исполненный благородных стремлений, он упивался сознанием своего превосходства.

— Напился! — презрительно повторил механик; обеими руками он держался за поручни

— темная фигура с подгибающимися коленями. — Да уж не вы меня напоили, капитан. Слишком вы скаредны, ей-богу. Скорее уморите парня, чем предложите ему капельку шнапса. Вот что у вас, немцев, называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости.

Он расчувствовался. Около десяти часов старший механик дал ему одну рюмочку… — всего-навсего одну, ей-богу! добрый старикашка; но теперь старого мошенника не стащишь с койки — пятитонным краном не поднять его. — Э, нет! Во всяком случае, не сегодня! Он спит сладким сном, словно младенец, а под подушкой у него бутылка с первоклассным бренди. — С уст командира «Патны» сорвалась хриплая ругань, и слово «schwein»[1] запорхало, как капризное перышко, подхваченное ветерком. Он и старший механик были знакомы много лет — вместе служили веселому, хитрому старику китайцу, носившему очки в роговой оправе и вплетавшему красные шелковые тесемочки в свою почтенную седую косу. В родном порту «Патны» жители побережья придерживались того мнения, что эти двое — шкипер и механик — по части наг-

[1] Примечания: 1
свинья (нем.)

лых хищений друг другу не уступают. Внешне они гармонировали плохо: один — с мутными глазами, злобный и мясистый; другой — тощий, с головой длинной и костлявой, словно голова старой клячи, с ввалившимися глазами и остекленевшим взором. Старшего механика прибило к берегу где-то на Востоке — в Кантоне, Шанхае или, быть может, в Иокогаме; он и сам, должно быть, не помнил, где именно произошло крушение и чем оно было вызвано. Двадцать лет назад его, из сострадания к его молодости, спокойно выпихнули с судна, а могло быть и куда хуже для него, так что, вспоминая об этом эпизоде, он не испытывал и тени сожаления. В то время в восточных морях стало развиваться пароходство, а так как людей его профессии поначалу было мало, то он «сделал карьеру». Всем приезжим он неуклонно сообщал грустным шепотом, что он «здешний старожил». Когда он двигался, казалось — скелет болтается в его платье. Походка у него была раскачивающаяся, и так, раскачиваясь, бродил он вокруг застекленного люка машинного отделения, курил без всякой любви к куренью, набивал табаком медную чашечку, приделанную к четырехфутовому мундштуку из вишневого дерева, и держался с глупо-торжественным видом

мыслителя, развивающего философскую систему из туманных проблесков истины. Обычно он скупился и оберегал свой личный запас спирта, но в эту ночь отказался от своих принципов, а потому второй механик — у юнца из Уэппинга голова была слабая — от неожиданного угощения крепким напитком стал очень весел, дерзок и болтлив.

Немец из Нового Южного Уэльса бесновался и пыхтел, как выхлопная труба, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься вниз: последние десять минут вахты раздражали, как дающее осечку ружье. Этим людям не было места в мире героических приключений, хотя они, в сущности, были неплохими парнями. Даже сам шкипер… Но тут Джим почувствовал отвращение при виде этой пыхтящей массы жира, испускающей булькающее бормотанье — темный поток грязных ругательств; однако приятная усталость мешала ему почувствовать активную неприязнь к кому бы то ни было. Ему не было дела до этих людей; он работал с ними плечо к плечу, но коснуться его они не могли; он дышал с ними одним воздухом, но он был иным человеком… Набросится ли шкипер на механика?.. Жизнь была легка, а он был слишком в себе уверен — слишком уверен,

чтобы… Черта, отделявшая его размышления от дремоты, стала тоньше паутинки.

Второй механик незаметно переходил к рассуждениям о своих финансах и своем мужестве.

— Кто пьян? Я? Э, нет, капитан! Дело не в этом. Пора бы вам знать, что наш старший не слишком щедр и даже воробья допьяна не напоит, ей-богу! На меня алкоголь никогда не действовал; не выдумано еще такое зелье, от которого бы я опьянел. Я готов пить с вами на пари — вы пейте виски, а я жидкий огонь, и, ей-богу, я останусь свежим, как огурчик. Если б я думал, что пьян, я бы прыгнул за борт… покончил бы с собой, ей-богу! Покончил бы! Сию же минуту! А с мостика я не уйду. Где вы прикажете мне подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Там, внизу, на палубе, со всяким сбродом? И не подумаю! Чего мне вас бояться?

Немец воздел тяжелые кулаки к небу и безмолвно потряс ими.

— Я не знаю, что такое страх, — продолжал механик с неподдельным энтузиазмом. — Я не боюсь чертовой работы на этом гнилом судне. Счастье для вас, что существуют на свете такие люди, которые не дрожат за свою жизнь… иначе — что бы вы без нас делали — вы и эта старая

посудина с обшивкой из оберточной бумаги… ей-богу, из оберточной бумаги! Вам хорошо, вы из нее вытягиваете монету, — а мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие сто пятьдесят долларов в месяц! Почтительно спрашиваю вас — почтительно, заметьте, — кто не откажется от такой гнусной работы? И дело это опасное! Но я — один из тех бесстрашных парней…

Он выпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать свое мужество; его тонкий голос пронзительно взлетал над морем; он приподнялся на цыпочки, чтобы ярче подчеркнуть фразу, и вдруг упал ничком, как будто его сзади подбили палкой. Падая, он крикнул: — Проклятье! — За этим воплем последовало минутное молчание. Джим и шкипер оба пошатнулись, но удержались на ногах и, выпрямившись, с изумлением поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх, на звезды.

Что случилось? По-прежнему раздавалось заглушенное биение машин. Быть может, земля приостановилась на пути своем? Они ничего не понимали; и внезапно спокойное море, безоблачное небо показались жутко ненадежными в своей неподвижности, словно застыли у края ги-

бели. Механик поднялся, выпрямившись во весь рост, и снова съежился в неясный комок. Комок заговорил заглушенным обиженным голосом:

— Что это такое?

Тихий шум, будто бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук, — едва ли не вибрация воздуха, — и судно задрожало в ответ, как будто гром грохотал глубоко под водой. Два малайца у штурвала, блеснув глазами, поглядели на белых людей, но темные руки по-прежнему сжимали спицы. Острый корпус судна, стремясь вперед, казалось, постепенно — от носа до кормы — приподнялся на несколько дюймов, словно стал складным, потом снова опустился и по-прежнему неуклонно делал свое дело, разрезая гладкую поверхность моря. Он перестал дрожать, и сразу стихли слабые раскаты грома, как будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и гудящего воздуха.

4

Месяц спустя, когда Джим, в ответ на прямые вопросы, пытался честно рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне:

— Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку.

Сравнение было хорошее. Допрос клонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в полицейском суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении для свидетелей в прохладной высокой комнате; большие пунки[2] тихонько вращались вверху над его головой, а снизу смотрели на него глаза, в его сторону повернуты были лица — темные, белые, красные, — лица внимательные, застывшие, словно все эти люди, сидевшие на узких, рядами поставленных скамьях, были порабощены чарами его голоса. А голос его звучал громко, и Джиму он казался страшным — то был единственный звук, слышимый во всей вселенной, ибо отчетливые вопросы, исторгавшие у

[2] Примечания: 2

большие матерчатые веера, вделанные в раму и приводимые в действие веревкой

него ответ, как будто складывались в его груди, — тревожные, болезненные, острые и безмолвные, как грозные вопросы совести. Снаружи пылало солнце, а здесь вызывал дрожь ветер, нагнетаемый большими пунками, бросало в жар от стыда, кололи острые, внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно-бледным рядом с красными лицами двух морских асессоров.[3] Свет из широкого окна под потолком падал сверху на головы и плечи этих трех человек, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из теней с остановившимися расширенными глазами. Им нужны были факты. Факты! Они требовали от него фактов, как будто факты могут объяснить все!

— Придя к заключению, что вы натолкнулись на что-то — скажем, на обломок судна, наполовину погруженный в воду, — ваш капитан приказал вам идти на нос разузнать, не получены ли какие-нибудь повреждения. Считали ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара? — спросил асессор, сидевший слева.

У него была жидкая бородка в форме подковы

---

[3] Примечания: 3

асессор — судебное должностное лицо, соответствует нашему заседателю

и выдающиеся вперед скулы; опираясь локтями о стол, он сжимал свои грубые руки и глядел на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй асессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел, откинувшись на спинку стула, и, вытянув левую руку, тихонько барабанил пальцами по блокноту. Посредине председатель в широком кресле склонил слегка голову на плечо и скрестил на груди руки; рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.

— Нет, не считал, — сказал Джим. — Мне велено было никого не звать и не шуметь, чтобы избежать паники. Эту предосторожность я нашел разумной. Я взял один из фонарей, висевших под тентом, и отправился на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услыхал плеск. Тогда я спустил фонарь, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина. — Он приостановился.

— Так… — сказал грузный асессор, с мечтательной улыбкой глядя на блокнот; он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге.

— В тот момент я не думал об опасности. Долж-

но быть, я был немного взволнован: все это произошло так спокойно и так неожиданно. Я знал, что на судне нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком; он как будто был оглушен и сообщил мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Спускаясь вниз, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Он воскликнул: «Боже мой! Эта гнилая переборка через минуту рухнет, и проклятая посудина вместе с нами пойдет ко дну, словно глыба свинца».

Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, взбежал по трапу, крича на бегу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Бить его он не стал, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему говорить. Думаю, капитан его спрашивал, почему он, черт возьми, не пойдет и не остановит машины, вместо того чтобы поднимать шум. Я слышал, как он сказал: «Вставайте! Бегите живей!» — и выругался. Механик спустился с мостика и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал…

Джим говорил медленно; воспоминания возникали удивительно отчетливо; для сведения этих людей, требующих фактов, он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее было возмущение, он пришел к тому выводу, что лишь дотошная точность рассказа может объяснить подлинный ужас, скрывавшийся за жутким ликом событий. Факты, которые так сильно хотелось узнать этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали свое место во времени и пространстве — для их существования требовались двадцать семь минут и пароход водоизмещением в тысячу четыреста тонн; они составляли нечто целое, с определенными чертами, оттенками, сложным аспектом, который улавливала зрительная память, но, помимо этого, было и что-то иное, невидимое, — дух, ведущий к гибели, — словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Это происшествие не входило в рубрику обычных дел, всякая мелочь имела огромное значение, и, к счастью, он помнил все. Он хотел говорить во имя истины, — быть может, только ради себя самого; речь его текла спокойно, а мысль металась в тесном кругу фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных

людей; он походил на животное, которое, очутившись за изгородью из высоких кольев, бегает по кругу, обезумев в ночи, ищет незагороженное местечко, какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его по временам запинаться…

— Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику; на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся, а когда я с ним заговорил, он налетел на меня, словно был совершенно слеп. Ничего определенного он мне не ответил. Он что-то бормотал про себя, я разобрал несколько слов — «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» — что-то о паре. Я подумал…

Джим уклонился в сторону; вопрос, возвращающий к сути дела, оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватили безграничное уныние и усталость. Он приближался к этому… приближался… и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать — да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял, выпрямившись на возвышении, а душа его корчилась от боли. Ему пришлось ответить еще на один вопрос, по существу на вопрос ненужный, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно

он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус, как после глотка морской воды. Он вытер влажный лоб, провел языком по пересохшим губам, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине. Грузный асессор опустил веки; рассеянный и грустный, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго асессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали доброту; председатель слегка наклонился вперед; бледное лицо его приблизилось к цветам, потом, облокотившись о ручку кресла, он подпер голову рукой. Ветер пунки обвевал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях круглые пробковые шлемы, — костюмы из тика облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен скользили босоногие туземцы-полицейские, затянутые в длинные белые мундиры; в красных поясах и красных тюрбанах, они бегали взад и вперед, бесшумные, как призраки, и проворные, как гончие.

Глаза Джима, блуждая в паузах между ответами, остановились на белом человеке, сидевшем в стороне, лицо у него было усталое и задумчивое, но спокойные глаза смотрели прямо, живые и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и

почувствовал искушение крикнуть: — Что толку в этом? Что толку? — Он тихонько топнул ногой, закусил губу и посмотрел в сторону повернутых к нему голов. Он встретил взгляд белого человека. Глаза последнего не походили на остановившиеся, словно завороженные глаза остальных. В этом взгляде была разумная воля. Джим между двумя вопросами забылся до того, что нашел время думать. «Этот парень, — мелькнула у него мысль, — глядит на меня так, словно видит кого-то или что-то за моим плечом». Где-то он видел этого человека — быть может, на улице. Но был уверен, что никогда с ним не говорил. В течение многих дней он не говорил ни с кем, — лишь с самим собой вел молчаливый, бессвязный и нескончаемый разговор, словно узник в камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, которые значения не имели, хотя и преследовали определенную цель, и размышлял о том, будет ли он еще когда-нибудь в своей жизни говорить. Звук его собственных правдивых слов подтверждал его убеждение, что дар речи больше ему не нужен. Тот человек как будто понимал его безнадежное затруднение. Джим взглянул на него, потом решительно отвернулся, словно навеки распрощавшись с ним.

А впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу не раз с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.

Это случалось после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, испещренных огненными точками сигар. На тростниковых стульях ютились молчаливые слушатели. Изредка маленький красный огонек поднимался и, разгораясь, освещал пальцы вялой руки, часть невозмутимо-спокойного лица, или вспыхивал красноватым отблеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. И, едва произнеся первое слово, Марлоу удобно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в пропасть времени, и прошлое говорило его устами.

5

— О да! Я был на судебном следствии, — говорил он, — и по сей день не перестаю удивляться, зачем я пошел. Я готов поверить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но в таком случае и вы должны согласиться со мной — к каждому из нас приставлен черт. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не хочу быть исключением, а я знаю, что он у меня есть — я имею в виду черта. Конечно, я его не видел, но косвенные улики у меня имеются. Он при мне состоит, а так как по природе своей он зол, то и втягивает меня в подобные истории. Какие истории, спрашиваете вы? Ну, скажем, — следствие, история с желтой собакой… Вы считаете невероятным, чтобы шелудивой туземной собаке разрешили подвертываться людям под ноги на веранде того дома, в котором находится суд? Вот какими путями — извилистыми, неожиданными, поистине дьявольскими — заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми и неуязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь богом, при виде меня языки развязываются

и начинаются признания: словно мне самому не в чем себе признаться, словно у меня — да поможет мне бог! — не найдется таких признаний, над которыми я могу терзаться до конца дней моих. Хотел бы я знать, чем я заслужил такую милость. Довожу до вашего сведения, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не могу сказать… быть может, это нужно лишь для того, чтобы провести время после обеда, Чарли, дорогой мой, ваш обед был чересчур хорош, и, в результате, этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякое усилие! Пусть Марлоу рассказывает».

Рассказывать! Да будет так. И довольно легко говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, имея под рукой ящик с приличными сигарами, в тихий прохладный вечер, при звездном свете. Это может заставить даже лучших из нас позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании и должны пробивать себе дорогу под

перекрестным огнем, следя за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично. Однако подлинной уверенности в этом нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся! Конечно, повсюду встречаются люди, для которых вся жизнь похожа на послеобеденный час с сигарой — легкий, приятный, пустой, — быть может, оживленный какой-нибудь небылицей о борьбе; о ней забываешь раньше, чем рассказан конец… если только конец у нее имеется.

Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Вам следует знать, что все, в какой-либо мере связанные с морем, находились там — в суде, ибо уже очень давно вокруг этого дела поднялся шум — с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Адена, заставившая всех нас раскудахтаться. Я говорю таинственная, так как до известной степени она была таковой, хотя и преподносила всего лишь голый факт — такой голый и безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Прежде всего, одеваясь утром в своей каюте, я услыхал через переборку, как мой парс Дубаш, получив разрешение выпить чашку

чая в буфетной, лопотал со стюардом о «Патне». Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, и вот что я прежде всего услышал:

— Слыхали вы когда о чем-нибудь более поразительном?

…В зависимости от натуры, они цинично улыбались, принимали грустный вид или разражались ругательствами. Люди совершенно незнакомые фамильярно заговаривали для того только, чтобы выложить свои соображения по этому вопросу; бродяга являлся на набережную в надежде, что его угостят рюмочкой за разговором об этом деле; те же речи вы слышали и в Управлении порта, и от каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от туземцев, от полукровок, даже от полуголых лодочников, на корточках сидящих на каменных ступенях мола. Да, небом клянусь! Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что могло с ними случиться. Так продолжалось недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что все таинственное в этом деле обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней Управления порта, я заметил четверых человек, шедших мне навстречу по набережной. Я подивился, откуда взялась такая

странная компания, и вдруг — если можно так выразиться — заорал мысленно: «Да ведь это они!»

Да, действительно, это были они — трое рослых мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть не подобает; после сытного завтрака они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Ошибки быть не могло; с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» — самого толстого человека на тропиках, поясом обвивающих нашу добрую старушку землю. Кроме того, месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал тиранические учреждения германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке Де Джонга; наконец Де Джонг, который, и глазом не моргнув, сдирал гульден за бутылку, отозвал меня в сторону и, сморщив свое маленькое личико, туго обтянутое кожей, конфиденциально объявил:

— Торговля торговлей, капитан, но от этого человека меня тошнит. Тьфу!

Стоя в тени, я смотрел на него. Он слегка опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя

прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он напомнил мне дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был экстравагантно красочный: запачканная пижама с ярко-зелеными и густо-оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем; шлем был ему на два номера меньше, чем следовало, и удерживался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не посчастливится, если дело дойдет до переодевания в чужое платье. Отлично. Итак, он стремительно несся вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и, в неведении своем, штурмом взял лестницу, ведущую в Управление порта, чтобы сделать свой доклад или донесение — называйте, как хотите.

Видимо, он прежде всего обратился к главному инспектору по найму судовых команд. Арчи Рутвел только что явился в Управление и, как он впоследствии рассказывал, готов был начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Кое-кто из вас должен знать этого клерка — услужливого маленького португальца-полукровку с жалкой тощей шеей, вечно

старающегося выудить у шкиперов что-нибудь по части съедобного — кусок солонины, мешок сухарей, картофеля или что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от судовых моих запасов; не то чтобы я ждал от него услуги, — как вам известно, он ничего не мог сделать, — но меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая — дух рас, пожалуй, — да и климат… Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.

Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую лекцию, — полагаю, на тему о морали должностных лиц, — когда услышал за своей спиной какие-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое и огромное, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и возвышающуюся посередине просторной канцелярии. Рутвел был до такой степени ошеломлен, что очень долго не мог сообразить — живое ли перед ним существо, и дивился, для чего и каким образом этот предмет очутился перед его письменным столом. За аркой, в передней, толпились слуги, приводившие в движение пунку, метельщики, туземцы-полицейские, боцман и

команда парового катера гавани — все они вытягивали шеи и готовы были лезть друг другу на спину. Сущее столпотворение! Тем временем толстяк ухитрился сорвать с головы шлем и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет это привидение. Оно вещало голосом хриплым и замогильным, но держалось неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» вступает в новую фазу. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе: Арчи такой чувствительный — его легко сбить с толку, — но он взял себя в руки и крикнул:

— Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к моему помощнику. Я не могу... Капитана Эллиота — вот кого вам нужно. Сюда, сюда!

Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт заставил его упереться и зафыркать, словно испуганного быка:

— Послушайте! В чем дело? Пустите меня! Послушайте!

Арчи без стука распахнул дверь.

— Капитан «Патны», сэр! — крикнул он. — Входите, капитан.

Он видел, как старик, что-то писавший, так резко поднял голову, что пенсне его упало; Арчи захлопнул дверь и бросился к своему столу, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но, по его словам, шум, поднявшийся за дверью, был столь ужасен, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи — самый чувствительный инспектор по найму судовых команд в обоих полушариях. Он утверждает, что чувствовал себя так, словно впихнул человека в логовище голодного льва. Несомненно, шум поднялся страшный. Крики я слышал внизу и не сомневаюсь, что они были слышны на другом конце эспланады, у эстрады для оркестра. Старый папаша Эллиот имел богатый запас слов, умел кричать — и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал:

— Более высокий пост я занять не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и если им не нравится мое понятие о долге, я охотно уеду на родину. Я — старик, и всю свою жизнь я говорил все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж, пока

я жив.

Он был слегка помешан на этом пункте. Три его дочери были очень хорошенькие, хотя удивительно походили на него. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам относительно их замужества, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам служащих, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел ренегата, но — если разрешите мне продолжить метафору — разжевал его основательно и… выплюнул.

Через несколько минут я увидел, как чудовищный толстяк торопливо спустился по лестнице и остановился на ступенях подъезда — остановился подле меня, погруженный в глубокие размышления; его толстые пурпурные щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них — желтолицего, вульгарного человечка, рука была на перевязи, другой — долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми свисающими вниз усами, сухой, как щепка, и худой, как палка, озирался по сторонам с видом самодовольно-глупым. Третий — стройный, ши-

рокоплечий юноша — засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум другим, которые серьезно о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную эспланаду. Ветхая запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против этой группы; извозчик, положив правую ногу на колено, критически разглядывал на ней пальцы. Молодой человек, не двигаясь, даже не поворачивая головы, смотрел прямо перед собой на озаренную солнцем эспланаду. Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, чистенький, он твердо стоял на ногах — один из самых многообещающих мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, чтобы этим притворством чего-то от меня добиться. Он не имел права выглядеть таким чистым и честным! Мысленно я сказал себе: что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда… от обиды я готов был швырнуть свою шляпу и растоптать ее, как поступил однажды на моих глазах шкипер итальянского барка, когда его болван помощник запутался с якорями, собираясь швартоваться на рейде, где стояло много

судов. Я спрашивал себя, видя его таким спокойным: глуп он, что ли? или груб до бесчувствия? Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. И заметьте — меня нимало не занимало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и должен был лечь в основу официального следствия.

— Этот старый негодяй там, наверху, назвал меня подлецом, — сказал капитан «Патны». Не могу сказать, узнал ли он меня — думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами — я улыбался; «подлец» был самым мягким эпитетом, какой, вылетев в открытое окно, коснулся моего слуха.

— Неужели? — сказал я, почему-то не сумев удержать язык за зубами. Он кивнул, снова укусил себя за палец и вполголоса выругался; потом, подняв голову, посмотрел на меня с угрюмым бесстыдством и воскликнул:

— Ба! Тихий океан велик, мой друг. Вы, проклятые англичане, поступайте, как вам угодно. Я знаю, где есть место такому человеку, как я; меня хорошо знают в Апиа, в Гонолулу, в…

Он приумолк, размышляя; а я без труда мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать не стану — я сам был знаком с этой

породой. Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь равно приятна во всякой компании. Я это пережил и теперь не намерен с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из той дурной компании — за неимением ли моральных… моральных… как бы это сказать?.. моральных устоев или по иным, не менее веским причинам — вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные респектабельные коммерческие воры, которых вы, господа, сажаете за свой стол, хотя подлинной необходимости так поступать у вас нет: вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и мелких побуждений.

— Вы, англичане, все — негодяи, — продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина. Право, сейчас я не припомню, какой приличный маленький порт у берегов Балтики осквернил себя, сделавшись гнездом этой редкой птицы. — Чего вы кричите? А? Скажите мне? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый плут, черт знаете как на меня разорался.

Вся его туша тряслась, а ноги походили на две колонны, он трясся с головы до пят.

— Вот так вы, англичане, всегда поступаете! Поднимаете шум из-за всякого пустяка, потому

только, что я не родился в вашей проклятой стране. Забирайте мое свидетельство! Берите его! Не нужно мне свидетельства. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!

Он плюнул.

— Я приму американское подданство! — крикнул он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых и таинственных тисков, которые не позволяли ему сойти с места.

Он так разгорячился, что макушка его круглой головы буквально дымилась. Не какие-либо таинственные силы мешали мне уйти — меня удерживало любопытство, самое понятное из всех чувств. Я хотел знать, как примет новость тот молодой человек, который, засунув руки в карманы и повернувшись спиной к тротуару, глядел поверх зеленых клумб эспланады на желтый портал отеля «Малабар», — глядел с видом человека, собравшегося на прогулку, как только его друг к нему присоединится. Вот какой он имел вид, и это было отвратительно. Я ждал, я думал, что он будет ошеломлен, потрясен, уничтожен, будет корчиться, как насаженный на булавку жук… И в то же время я почти боялся это увидеть…

Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, уличенным не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Сила духа, самая обычная, препятствует вам совершать уголовные преступления; но от слабости неведомой, а быть может, лишь подозреваемой — так в иных уголках земли вы на каждом шагу подозреваете присутствие ядовитой змеи, — от слабости скрытой, за которой следишь или не следишь, вооружаешься против нее или мужественно ее презираешь, подавляешь ее или не ведаешь о ней чуть ли не в течение доброй половины жизни, — от этой слабости ни у кого из нас нет защиты. Нас втягивают в западню, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и, однако, дух может выжить — пережить осуждение и, клянусь небом, пережить петлю! А бывают поступки, — иной раз они кажутся совсем незначительными, — которые кое-кого из нас губят окончательно.

Я следил за этим юношей; мне нравилась его внешность; таких, как он, я знал; устои у него были хорошие, он был одним из нас. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей — мужчин и женщин, о которых не скажешь,

что они умны или занимательны, но вся жизнь их основана на честной вере и инстинктивном мужестве. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество; я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению — о готовности отнюдь не рассудочной и не искусственной — о силе сопротивляемости, неизящной, если хотите, но ценной, — о безумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и наступающими извне, перед властью природы и соблазнительным развратом людей... Такое упорство зиждется на вере, которой не сокрушат ни факты, ни дурной пример, ни натиск идей. К черту идеи! Это — бродяги, которые стучатся в заднюю дверь вашей души, и каждая идея уносит с собой частичку вас самих, крупицу той веры в немногие простые истины, какой вы должны держаться, если хотите жить пристойно и умереть легко!

Все это прямого отношения к Джиму не имеет; но внешность его была так типична для тех добрых глуповатых малых, бок о бок с которыми чувствуешь себя приятно, — людей, не волнуемых причудами ума и, скажем, развращенностью нервов. Такому парню вы по одному его виду доверили бы палубу — говорю образно и как про-

фессионал. Я бы доверил, а кому это знать, как не мне! Разве я в свое время не обучал юношей уловкам моря, — уловкам, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и, однако, каждый день нужно заново внедрять его в молодые головы, пока он не сделается составной частью всякой мысли наяву — пока не будут им окрашены все их юношеские сновидения! Море было великодушно ко мне, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки, — иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были добрыми моряками, — тогда мне кажется, что и я не остался в долгу у моря. Вернись я завтра на родину, — ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока и свежий, низкий голос прозвучит над моей головой:

— Помните меня, сэр? Как! Да ведь я — такой-то. Был юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание.

И я вспомню ошеломленного юнца, ростом не выше спинки этого стула; мать и, быть может, старшая сестра стоят на пристани, стоят тихие, но слишком удрученные, чтобы помахать платком вслед судну, плавно скользящему к выходу из дока, или же отец средних лет раненько пришел

проводить своего мальчика, остается здесь все утро, так как его, по-видимому, заинтересовало устройство брашпиля, мешкает слишком долго и в самую последнюю минуту сходит на берег, когда уже нет времени попрощаться. Боцман с кормы кричит мне протяжно:

— Подождите секунду, мистер помощник. Тут один джентльмен хочет сойти на берег… Пожалуйте, сэр. Чуть было не отправились в Талькагуано. Пора уходить; потихоньку… Отлично. Эй, отдавайте канаты!

Буксирные пароходы, дымя, словно адские трубы, завладевают судном и сбивают в пену старую реку; джентльмен на берегу смахивает с колен пыль; сострадательный стюард швырнул ему его зонтик. Все в порядке. Он принес свою маленькую жертву морю и теперь может отправляться домой, притворяясь, что нимало об этом не думает. А не пройдет и суток, как маленькая добровольная жертва будет жестоко страдать от морской болезни. Со временем, когда мальчик выучит все маленькие тайны и познает один великий секрет мастерства, он сумеет жить или умереть — в зависимости от того, что повелит ему море; а человек, который принял участие в этой безумной игре, — в игре, где всегда выигры-

вает море, — почувствует удовольствие, когда тяжелая молодая рука хлопнет его по спине и беззаботный голос юного моряка скажет:

— Помните меня, сэр? Я такой-то. Был юнцом…

Уверяю вас, приятно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Да, меня хлопали по спине, и я морщился, ибо рука была тяжелая, и целый день у меня было легко на душе и спать я ложился, чувствуя себя менее одиноким благодаря этому дружескому удару по спине. Помню ли я юнца такого-то! Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду. Раз взглянув на того юношу, я доверил бы ему палубу и заснул бы сладким сном. А оказывается, это было бы не безопасно. Жутко становилось от этой мысли. Он так же внушал доверие, как новенький соверен; однако в его металле была какая-то адская лигатура. Сколько же? Совсем чуть-чуть, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого — крохотная капелька! Однако, когда он стоял там с видом «на все наплевать!» — вы начинали думать, уж не вылит ли он весь из меди.

Я не мог этому поверить. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет корчиться, — ведь есть же профессиональная честь! Двое других — не иду-

щие в счет парни — заметили своего капитана и начали медленно к нему приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимы невооруженному глазу. Они усмехались, — быть может, обменивались шутками. Я убедился, что у одного из них сломана рука, другой — долговязый субъект с седыми усами — был старший механик, личность во многих отношениях замечательная. Для меня они были ничто. Они приблизились. Шкипер тупо уставился в землю; казалось, от какой-то страшной болезни, таинственного действия неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот, — должно быть, чтобы с ними заговорить. Но тут какая-то мысль пришла ему в голову. Толстые лиловатые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он, переваливаясь, к гхарри и начал дергать дверную ручку с таким зверским нетерпением, что, казалось, все сооружение вместе с пони повалится набок. Извозчик, оторванный от исследования своей ступни, проявил все признаки крайнего ужаса и, уцепившись обеими руками за козлы, обернулся и стал смотреть, как огромная туша

влезала в его повозку. Маленькая гхарри с шумом раскачивалась и тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные напрягшиеся ляжки, широченная полосатая спина, оранжевая и зеленая, и мучительные усилия этой пестрой отвратительной туши производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как те гротескные и яркие видения, которые пугают и дурманят во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что крыша расколется надвое, маленький ящик на колесах лопнет, словно коробка хлопка, но он только осел, зазвенели приплюснутые пружины, и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, протиснутые в маленькое отверстие, голова его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно шар на привязи, — потная, злобная, фыркающая. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса. Он заревел на него, приказывая ехать, трогаться в путь. Куда? В Тихий океан?

Извозчик ударил хлыстом; пони захрапел, поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. Куда? В Апиа? В Гонолулу? Шкипер мог располагать шестью тысячами миль тропического пояса, а точного адреса я не слыхал. Храпящий пони в одно мгновение унес его в «вечность», и

больше я его не видал. Этого мало: я не встречал никого, кто бы видел его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, подняв белое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился; и нелепым казалось то, что он словно прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу не встречал я с тех пор гнедого пони с разорванным ухом и томного извозчика тамила, разглядывающего свою больную ступню. Тихий океан и в самом деле велик; но нашел ли шкипер арену для развития своих талантов, или нет, — факт остается фактом: он унесся в пространство, словно ведьма на помеле. Маленький человечек, с рукой на перевязи, бросился было за экипажем, блея на бегу:

— Капитан! Послушайте, капитан! Послушайте! — но, пробежав несколько шагов, остановился, понурил голову и медленно побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек круто повернулся. Больше никаких движений и жестов он не делал и снова застыл на месте, глядя вслед исчезнувшей гхарри.

Все это произошло значительно быстрее, чем я рассказываю, так как я пытаюсь медлительными словами передать вам мгновенные зрительные впечатления. Через секунду на сцене появился

клерк-полукровка, посланный Арчи присмотреть за бедными моряками с потерпевшей крушение «Патны». Преисполненный рвения, он выбежал с непокрытой головой, озираясь направо и налево, горя желанием исполнить свою мысль. Она была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной заинтересованной особы; однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же впутался в словопрение с парнем, у которого рука была на перевязи; оказывается, этот субъект горел желанием затеять ссору. Он заявил, что не намерен выслушивать приказания, — э, нет черт возьми! Его не запугаешь враками, какие преподносит этот дерзкий писака-полукровка. Он не потерпит грубости от «подобной личности», даже если тот и не врет. Твердое его решение — лечь в постель.

— Если вы бы не были проклятым португальцем, — услышал я его рев, — вы бы поняли, что госпиталь — единственное подходящее для меня место.

Он поднес здоровый кулак к носу своего собеседника; начала собираться толпа; клерк растерялся, но, делая все возможное, чтобы поддержать свое достоинство, пытался объяснить свои намерения. Я ушел, не дожидаясь конца.

Случилось так, что в то время в госпитале лежал один из моих матросов; зайдя проведать его, за день до начала следствия, я увидел в палате для белых того самого маленького человечка; он метался, бредил, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвислыми усами также пробрался в госпиталь. Помню, я обратил внимание, как он улизнул во время ссоры — ушел, не то волоча ноги, не то подпрыгивая и стараясь не казаться испуганным. Видимо, он не был новичком в порту и, в своем отчаянии, направил стопы прямехонько в бильярдную и распивочную Мариани, находившуюся неподалеку от базара. Этот не поддающийся описанию бродяга Мариани был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту имел случай потворствовать его порочным наклонностям; теперь он встретил его раболепно и, снабдив запасом бутылок, запер в верхней комнате своего гнусного вертепа. По-видимому, долговязый субъект опасался преследования и желал спрятаться. Много времени спустя Мариани, явившись как-то на борт моего судна, чтобы получить со стюарда деньги за сигары, сообщил мне, что для этого человека готов был сделать и большее, ни о чем не расспрашивая, в благодар-

ность за какую-то гнусную услугу, давным-давно оказанную ему долговязым субъектом, — по крайней мере так я его понял. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, выкатил огромные черные глаза — в них блеснули слезы — и воскликнул:

— Антонио никогда не забудет. Антонио никогда не забудет!

Что это была за грязная услуга, я так в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность обретаться под замком в комнате, где стоял стол, стул, на полу лежал матрац, в углу куча обвалившейся штукатурки; долговязый субъект, отдавшийся безрассудному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какими располагал Мариани. Так продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не почувствовал необходимости обратиться в бегство от легиона сороконожек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с шаткой маленькой лестницы, упал прямо на живот Мариани, затем вскочил и, как кролик, метнулся на улицу. Рано поутру полиция подобрала его на куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на виселицу, и он геройски сражался за свою жизнь; когда же

я присел к его кровати, он лежал очень спокойно, и в таком состоянии пребывал уже два дня. Его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным на фоне подушки; оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, если бы не странная тревога, светившаяся в его как будто стеклянных блестящих глазах, словно чудовище, молчаливо притаившееся за застекленной рамой. Он был так удивительно спокоен, что у меня родилась нелепая надежда услышать от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела.

Не могу сказать, почему мне так хотелось разбираться в позорных деталях происшествия, которое в конце концов касалось меня лишь как члена известной корпорации; членов ее связывает лишь бесславный труд да кое-какие нормы поведения. Называйте это, если хотите, нездоровым любопытством; как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся найти какую-то тайную искупающую причину, благодетельное объяснение, хотя бы тень смягчающих обстоятельств. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся одолеть самого стойкого призрака, созданного человеком, — гне-

тущее сомнение, обволакивающее, как туман, скрытое и гложущее, словно червь, более жуткое, чем неизбежность смерти, — сомнение в верховной власти твердо установленных норм. С ним тяжело бывает сталкиваться; оно-то и порождает панику или толкает на маленькие подлости; в нем кроется погибель. Верил ли я в чудо? И почему я так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени оправдания для этого молодого человека, которого никогда раньше не видал, но одна его внешность придавала особую окраску моим мыслям, — теперь, когда я знал об его слабости, и эта слабость казалась мне таинственной и ужасной, словно свидетельствовала о судьбе-разрушительнице, подстерегающей всех нас, — тех, кто в молодости был похож на него.

Боюсь, что таков был тайный мотив моего выслеживания. Да, несомненно, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь, по прошествии многих лет, чудесным, это — безграничная моя глупость. Я действительно ждал от этого пришибленного и подозрительного инвалида какого-то заклятия против духа сомнений. И, должно быть, я был на грани отчаяния, если, не теряя времени, после нескольких дружелюбных

фраз, на которые тот отвечал с вялой готовностью, как и подобает всякому порядочному больному, я произнес слово «Патна», облачив его в деликатный вопрос, — словно опутав шелком. Деликатным я был умышленно: я не хотел его испугать. До него мне не было дела; к нему я не чувствовал ни злобы, ни жалости: его переживания не имели на малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и больше уже не мог внушать ни отвращения, ни жалости. Он повторил вопросительно: — «Патна»? — затем, казалось, напряг память и сказал:

— Правильно. Я здесь старожил. Я видел, как она пошла ко дну.

Услыхав такую нелепую ложь, я готов был дать исход своему негодованию, но тут он спокойно добавил:

— Она кишела пресмыкающимися.

Я призадумался. Что он хотел этим сказать? В стеклянных его глазах, устрашающе серьезно смотревших в мои глаза, казалось, застыл ужас.

— Они подняли меня с койки в среднюю вахту посмотреть, как она тонет, — продолжал он задумчивым тоном.

Голос его вдруг устрашающе окреп. Я раскаи-

вался в своей глупости. Не видно было в палате белоснежного чепца сиделки; передо мной тянулся длинный ряд незанятых железных кроватей; лишь на одной из них сидел тощий и смуглый человек с белой повязкой на лбу, — жертва несчастного случая, происшедшего где-то на рейде. Вдруг мой занятный больной протянул руку, тонкую, как щупальце, и вцепился в мое плечо.

— Я один мог разглядеть. Все знают, какой у меня зоркий глаз. Вот, должно быть, зачем они меня позвали. Никто из них не видал, как она тонула, но они видели, как она скрылась под водой, а тогда все заорали… вот так…

Дикий вопль заставил меня содрогнуться.

— Ох, да заткните ему глотку! — раздраженно завизжала жертва несчастного случая.

— Должно быть, вы мне не верите, — продолжал тот с безграничным высокомерием. — Говорю вам, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать.

Конечно, я тотчас же наклонился. Хотел бы я знать, кто бы этого не сделал!

— Что вы там видите? — спросил он.

— Ничего, — сказал я, ужасно пристыженный.

Он смотрел на меня уничтожающим, презри-

тельным взглядом.

— Вот именно, — сказал он. — А если бы поглядел я — я бы увидел. Говорю вам, ни у кого нет таких глаз, как у меня.

Снова он вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая сделать какое-то конфиденциальное сообщение.

— Миллионы розовых жаб. Ни у кого нет таких глаз, как у меня. Это хуже, чем смотреть на тонущее судно. Миллионы розовых жаб. Я могу смотреть на тонущие суда и целый день курить трубку. Почему мне не отдают моей трубки? Я бы курил и следил за этими жабами. Судно кишело ими. Знаете ли, за ними нужно следить.

Он шутливо подмигнул. Пот капал у меня со лба; тиковая тужурка прилипла к мокрой спине; вечерний ветерок стремительно проносился над рядом незанятых кроватей, жесткие складки занавесей шевелились, стуча кольцами о медные прутья, одеяла на кроватях развевались, бесшумно приподнимаясь над полом, а я продрог до мозга костей. Мягкий ветерок тропиков играл в пустынной палате, как зимний ветер, разгуливающий по старой риге на моей родине.

— Не давайте ему орать, мистер! — крикнула издали жертва несчастного случая; этот отчаян-

ный сердитый крик пронесся по палате, словно трепетный зов в туннеле. Цепкая рука тянула меня за плечо; он многозначительно подмигнул.

— Знаете ли, судно так и кишело ими, и нам пришлось убраться потихоньку, — быстро залепетал он. — Все розовые. Розовые — и огромные, как мастифы. На лбу один глаз, а вокруг пасти отвратительные когти. Уф! Уф!

Он задергался, словно через него пропустили гальванический ток, под одеялом обрисовались худые ноги; потом он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе; тело его трепетало, как ненатянутая струна арфы. И вдруг ужас, таившийся в стеклянных глазах, прорвался наружу. Его лицо — спокойное, благородное лицо старого вояки — исказилось на моих глазах: оно сделалось отвратительно хитрым, настороженным, безумно испуганным. Он сдержал вопль.

— Шш… Что они там сейчас делают? — спросил он, украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос. Я понял значение этого жеста, и мне стала противна моя собственная проницательность.

— Они все спят, — ответил я, приглядываясь к нему. Правильно. Этого-то он и ждал; именно эти слова и могли его успокоить.

Он перевел дыхание.

— Шш… Тише, тише. Я здесь старожил. Знаю этих тварей. Надо размозжить голову первой, которая пошевелится. Слишком их много, и судно не продержится дольше десяти минут.

Он снова заохал.

— Живей! — закричал он вдруг, и крик его перешел в протяжный вопль. — Они все проснулись… их миллионы! Ползут по мне! Подождите! Подождите! Я их буду давить, как мух! Да подождите же меня! На помощь! На по-о-омощь!

Несмолкающий вой завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии воздела обе руки к забинтованной голове; фельдшер в халате, доходившем ему до подбородка, появился в дальнем конце палаты — маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и, не теряя времени, выскочил в одну из застекленных дверей на галерею. Вой преследовал меня, словно мщение. Я очутился на пустынной площадке, и вдруг все вокруг затихло; я спустился по блестящим, не покрытым ковровой дорожкой ступеням в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями. Внизу я встретил одного из врачей госпиталя; он шел по двору и остановил меня.

— Зашли проведать своего матроса, капитан? Думаю, мы можем завтра его выписать, хотя эти молодцы понятия не имеют о том, что следует беречь здоровье. Знаете ли, к нам попал старший механик с того паломнического судна. Любопытный случай. Один из худших видов delirium tremens. Три дня он пил запоем в трактире этого грека или итальянца. Результаты налицо. Говорят, в день он выпивал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только правда. Можно подумать, что внутренности его выстланы листовым железом. Ну, голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в бреду его замечается некая система. Я пытаюсь выяснить. Необычное явление — нить логики при delirium tremens. По традиции, ему следовало бы видеть змей, но он их не видит. В наше время добрые, старые традиции не в почете. Его преследуют видения… э… лягушечьи… Ха-ха-ха! Нет, серьезно, я еще не встречал такого интересного субъекта среди запойных пьяниц. Видите ли, после такого возлияния ему полагается умереть. О, это здоровенный парень. А ведь двадцать четыре года прожил под тропиками. Право же, вам следует взглянуть на него. И вид у этого старого пьянчужки благородный. Самый замечатель-

ный человек, какого я когда-либо встречал… конечно, с медицинской точки зрения. Хотите посмотреть?

Я слушал его, проявляя из вежливости надлежащий интерес, но потом с сожалением прошептал, что у меня нет времени, и поспешил пожать ему руку.

— Послушайте, — крикнул он мне вслед, — он не может явиться на суд. Как вы думаете, его показание было бы существенно важно?

— Нисколько, — отозвался я, подходя к воротам.

6

Власти придерживались, видимо, того же мнения. Судебного следствия не отложили. Оно состоялось в назначенный день, чтобы удовлетворить правосудие, и собрало большую аудиторию, ибо привлекло всеобщее внимание. Не было никаких сомнений относительно фактов, — одного существенного факта, хочу я сказать. Каким образом «Патна» получила повреждения, установить было невозможно; суд не рассчитывал это установить, и во всем зале не было ни одного человека, которого бы интересовал этот вопрос. Однако, как я уже сказал, все моряки порта были налицо, так же как и представители деловых кругов, связанных с морем. Знали они о том или нет, но сюда их привлек интерес чисто психологический; они ждали какого-то важного разоблачения, которое вскрыло бы силу, могущество, ужас человеческих эмоций. Естественно, такого разоблачения быть не могло. Допрос единственного человека, способного и желающего отвечать, тщетно вертелся вокруг хорошо известного факта, а вопросы были столь же поучительны, как постукивание молот-

ком по железному ящику, с целью узнать, что лежит внутри. Однако официальное следствие и не могло быть иным. Оно поставило себе целью добиться ответа не на основной вопрос «почему?», а на несущественный «как?».

Молодой человек мог бы им ответить, но, хотя именно это и интересовало всю аудиторию, вопросы по необходимости отвлекали от того, что для меня, например, являлось той единственной правдой, какую стоило узнать. Не можете же вы ждать, чтобы должностные лица исследовали душевное состояние человека, задаваясь вопросами: не виновата ли во всем только его печень? Их дело было разбираться в последствиях, и, по правде сказать, чиновник магистратуры и два морских асессора не пригодны для чего-либо иного. Я не говорю, что эти парни были глупы. Председатель был очень терпелив. Один из асессоров был шкипер парусного судна — человек с рыжеватой бородкой и благочестиво настроенный. Другим асессором был Брайерли. Великий Брайерли! Кое-кто из вас слыхал, должно быть, о великом Брайерли — капитане всем известного судна, принадлежащего пароходству «Голубая звезда». Он-то и был асессором.

Казалось, он чрезвычайно тяготился оказан-

ной ему честью. За всю свою жизнь он не сделал ни одной ошибки, не знал несчастных случаев и неудач, в его карьере не бывало заминок. Он был как будто одним из тех счастливчиков, которым неведомы колебания и еще того менее — неуверенность в себе. В тридцать два года он командовал одним из лучших судов Восточного торгового флота; мало того — он считал свое судно исключительным. Второго такого судна не было во всем мире; думаю, если спросить его напрямик, он признался бы, что и такого командира нигде не сыщешь. Выбор пал на достойного. Остальные люди, не командовавшие стальным пароходом «Осса», который всегда делал шестнадцать узлов, были довольно-таки жалкими созданиями. Он спасал тонущих людей на море, спасал суда, потерпевшие аварию, имел золотой хронометр, поднесенный ему по подписке, бинокль с подобающей надписью, который был получен им за вышеупомянутые заслуги от какого-то иностранного правительства. Он хорошо знал цену своим заслугам и своим наградам. Пожалуй, он мне нравился, хотя я знаю, что иные — к тому же люди скромные и дружелюбные — попросту его не выносили. Я нимало не сомневаюсь, что на меня он смотрел свысока, — будь бы

владыкой Востока и Запада; в его присутствии вы чувствовали бы себя существом низшим! Однако я на него по-настоящему не обижался. Видите ли, он презирал меня не за какие-либо мои личные качества, не за то, что я собой представлял. Я был величиной, в счет не идущей, ибо не удостоился быть единственным человеком на земле, — я не был Монтегю Брайерли, капитаном «Оссы», владельцем золотого хронометра, поднесенного по подписке, и бинокля в серебряной оправе, свидетельствующих об искусстве в мореплавании и неукротимой отваге; я не обладал острым сознанием своих достоинств и своих наград, не говоря уже о том, что у меня не было такой черной охотничьей собаки, как у Брайерли, а эта собака была исключительной, и ни один пес не относился к человеку с такой любовью и преданностью, как он. Несомненно, когда все это ставится вам на вид, вы испытываете некоторое раздражение. Однако так же фатально, как и мне, не повезло еще миллиарду двумстам миллионам человек, и, поразмыслив, я пришел к заключению, что могу примириться с его добродушной и презрительной жалостью, ибо что-то в этом человеке влекло меня к нему. Это влечение я так и не уяснил себе, но бывали минуты, когда я ему завидовал. Уколы

жизни задевали его самодовольную душу не глубже, чем царапает булавка гладкую поверхность скалы. Этому можно было позавидовать. Когда он сидел подле непритязательного бледного судьи, его самодовольство казалось мне и всему миру твердым, как гранит. Вскоре после этого он покончил с собой.

Не удивительно, что он тяготился делом Джима, и, в то время как я едва ли не со страхом размышлял о безграничном его презрении к молодому человеку, он, вероятно, молчаливо расследовал свое собственное дело. Должно быть, приговор был обвинительный, а тайну показаний он унес с собой, бросившись в море. Если я понимаю что-нибудь в людях, дело это было крайней важности — один из тех пустяков, что пробуждают мысль; мысль вторгается в жизнь, и человек, не имея привычки к такому обществу, считает невозможным жить. У меня есть данные, я знаю, что тут дело было не в деньгах, не в пьянстве и не в женщине. Он прыгнул за борт через неделю после окончания следствия и меньше чем через три дня после того, как ушел в плавание, — словно там, в определенном месте, он увидел внезапно в волнах врата иного мира, распахнувшиеся, чтобы его принять. Однако это

не было внезапным импульсом. Его седовласый помощник, первоклассный моряк — славный старик, но по отношению к своему командиру самый грубый штурман, какого я когда-либо видел, — со слезами на глазах рассказывал эту историю. По словам помощника, когда он утром вышел на палубу, Брайерли находился в штурманской рубке и что-то писал.

— Было без десяти минут четыре, — так рассказывал помощник, — и среднюю вахту, конечно, еще не сменили. На мостике я заговорил со вторым помощником, а капитан услышал мой голос и позвал меня. Сказать вам правду, капитан Марлоу, мне здорово не хотелось идти, — со стыдом признаюсь, я терпеть не мог капитана Брайерли. Никогда мы не можем распознать человека. Его назначили, обойдя очень многих, не говоря уже обо мне, а к тому же он чертовски умел вас унизить: «с добрым утром» он говорил так, что вы чувствовали свое ничтожество. Я никогда не разговаривал с ним, сэр, иначе, как по долгу службы, да и то мог только принудить себя быть вежливым.

(Он польстил себе. Я частенько удивлялся, как может Брайерли терпеть такое обращение.)

— У меня жена и дети, — продолжал он. — Де-

сять лет я служил Компании и, по глупости своей, все ждал командования. Вот он и говорит мне: «Пожалуйте сюда, мистер Джонс», — этаким высокомерным тоном: «Пожалуйте сюда, мистер Джонс». Я вошел.

«Отметим положение судна», — говорит он, наклоняясь над картой, а в руке у него циркуль. По правилам, помощник должен это сделать по окончании своей вахты. Однако я ничего не сказал и смотрел, как он отмечал крохотным крестиком положение судна и писал дату и час. Вот и сейчас вижу, как он выводит аккуратные цифры; семнадцать, восемь, четыре до полудня. А год был написан красными чернилами наверху карты. Больше года капитан Брайерли никогда не пользовался одной и той же картой. Та карта теперь у меня. Написав, он встал, поглядел на карту, улыбнулся, потом посмотрел на меня и говорит:

«Тридцать две мили держитесь этого курса, и все будет в порядке, а потом можете повернуть на двадцать градусов к югу».

В тот рейс мы проходили к северу от Гектор-Бэнк. Я сказал: «Да, сэр!» — и подивился, чего он так хлопочет: ведь все равно я должен был вызвать его перед тем, как изменить курс. Тут

пробило восемь склянок; мы вышли на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, доложил, по обыкновению:

«Семьдесят один по лагу».

Капитан Брайерли взглянул на компас, потом поглядел вокруг. Небо было темное и чистое, а звезды сверкали ярко, как в морозную ночь в высоких широтах. Вдруг он говорит со вздохом:

«Я пойду на корму и сам поставлю для вас лаг на нуль, чтобы не вышло ошибки. Еще тридцать две мили держитесь этого курса, и тогда вы будете в безопасности. Ну, скажем, поправка к лагу — процентов шесть. Значит, еще тридцать миль этим курсом, а затем возьмете лево руля сразу на двадцать градусов. Не стоит идти лишних две мили. Не так ли?»

Никогда я не слыхал, чтобы он так много говорил, — и бесцельно, как мне казалось. Я ничего не ответил. Он спустился по трапу, а собака, которая — куда бы он ни шел — днем и ночью следовала за ним по пятам, тоже побежала вниз. Я слышал, как стучали его каблуки по палубе; потом он остановился и заговорил с собакой:

«Назад, Ровер! На мостик, дружище! Ступай, ступай!»

Потом крикнул мне из темноты:

«Пожалуйста, заприте собаку в рубке, мистер Джонс».

В последний раз я слышал его голос, капитан Марлоу. То были последние слова, какие он произнес в присутствии живого существа, сэр.

Тут голос старика дрогнул.

— Видите ли, он боялся, как бы бедный пес не прыгнул вслед за ним, — продолжал он, заикаясь. — Да, капитан Марлоу, он установил для меня лаг; он — поверите ли? — даже смазал его капелькой масла: лейка для масла стояла вблизи, — там, где он ее оставил. В половине шестого помощник боцмана пошел со шлангом на корму мыть палубу; вдруг он бросает работу и бежит на мостик.

«Не пройдете ли вы, — говорит, — на корму, мистер Джонс? Странную я тут нашел штуку. Мне бы не хотелось к ней притрагиваться».

То был золотой хронометр капитана Брайерли, старательно подвешенный за цепочку к поручням.

Как только я его увидел, что-то меня словно ударило, сэр. Ноги мои подкосились. И я понял, я точно своими глазами видел, как он прыгнул за борт; я бы мог даже сказать, где он остался. Лаг показывал восемнадцать и три четверти мили;

у грот-мачты не хватало четырех железных кофель-нагелей. Должно быть, он рассовал их по карманам, чтобы легче пойти ко дну. Но, боже мой, что значат четыре железных кофель-нагеля для такого сильного человека, как капитан Брайерли? Быть может, его самоуверенность поколебалась чуточку в самый последний момент. Думаю, то был единственный раз в его жизни, когда он проявил слабость. Но я готов за него поручиться: раз прыгнув за борт, он уже не пытался плыть; а упади он за борт случайно, у него хватило бы мужества целый день продержаться на воде. Да, сэр. Второго такого не найти — я слыхал однажды, как он сам это сказал. Во время средней вахты он написал два письма — одно Компании, другое мне. Он мне давал всякие инструкции относительно плавания, — а ведь я уже служил во флоте, когда он еще на свет не родился, — и разные советы, как мне держать себя в Шанхае, чтобы получить командование «Оссой». Капитан Марлоу, он мне писал, словно отец своему любимому сыну, а ведь я был на двадцать пять лет старше его и отведал соленой воды, когда он еще не носил штанишек. В своем письме судовладельцам — оно было не запечатано, чтобы я мог прочесть, — он говорил, что всегда испол-

нял свой долг — вплоть до этого момента, — и даже теперь не обманывает их доверия, так как оставляет судно самому компетентному моряку, какого только можно найти. Это меня он имел в виду, сэр, — меня! Дальше он писал, что, если этот последний шаг не лишит его их доверия, они примут во внимание мою верную службу и его горячую рекомендацию, когда будут искать ему заместителя. И много еще в таком роде, сэр. Я не верил своим глазам. У меня в голове помутилось, — продолжал старик в страшном волнении и вытер уголок глаза концом большого пальца, широкого, как шпатель.

— Можно было подумать, сэр, что он прыгнул за борт единственно для того, чтобы дать бедному человеку возможность продвинуться. И так он это стремительно проделал, что я целую неделю не мог опомниться… к тому же еще я считал, что моя карьера обеспечена. Но не тут-то было! Капитан «Палиона» был переведен на «Оссу» — явился на борт в Шанхае. Маленький франтик, сэр, в сером клетчатом костюме, и пробор по середине головы.

«Э… я… э… я ваш новый капитан, мистер… мистер… э… Джонс».

Капитан Марлоу, он словно выкупался в духах

— так и несло от него. Должно быть, он подметил мой взгляд и потому-то и начал заикаться. Он забормотал о том, что я, естественно, должен быть разочарован… но тем не менее мне следует знать: его старший помощник назначен командиром «Палиона»… он лично тут ни при чем… Компания лучше нас знает… ему очень жаль…

«Не обращайте внимания на старого Джонса, сэр, — говорю я, — он к этому привык, черт бы побрал его душу».

Я сразу понял, что оскорбил его нежный слух; а когда мы в первый раз уселись вместе завтракать, он начал препротивно критиковать то да другое на судне. Голос у него был, как у Панча и Джуди.[4] Я стиснул зубы, уставился в свою тарелку и терпел, пока хватало сил. Наконец не выдержал и что-то сказал; так он вскочил на цыпочки, взъерошил все свои красивые перышки, словно бойцовый петушок.

«Вы скоро узнаете, что имеете дело не с таким человеком, как покойный капитан Брайерли».

«Это мне уже известно», — говорю я очень мрачно и делаю вид, будто занят своей котлетой.

«Вы — старый грубиян, мистер… э… Джонс, и

---

[4] Примечания: 4
герои народного кукольного театра Англии

Компания вас и считает таким!» — взвизгнул он.

А слуги стоят кругом и слушают, растянув рот до ушей.

«Может, я и крепкий орешек, — отвечаю, — а все-таки мне невтерпеж видеть, что вы сидите в кресле капитана Брайерли».

И кладу нож и вилку.

«Вам самому хотелось бы сидеть в этом кресле — вот где собака зарыта!» — огрызнулся он.

Я вышел из кают-компании, собрал пожитки и, раньше чем явились портовые грузчики, очутился со всем своим скарбом на набережной. Да-с. Выброшен на берег… после десяти лет службы… а за шесть тысяч миль отсюда бедная жена и четверо детей только и держатся моим половинным жалованьем. Да, сэр! Но я не мог терпеть, чтобы оскорбляли капитана Брайерли, и готов был идти на все. Он мне оставил бинокль — вот он; и поручил мне свою собаку — вот она. Эй, Ровер! бедняга! Ровер, где капитан?

Собака тоскливо посмотрела на нас своими желтыми глазами, уныло тявкнула и забилась под стол.

Разговор происходил года через два после этого на борту старой развалины «Файр-Куин», которой командовал Джонс. Командование он получил

благодаря забавному случаю — после Матерсона, сумасшедшего Матерсона, как его обычно называли; того самого, что, бывало, болтался в Хайфоне до оккупации.

Старик снова загнусавил:

— Да, сэр, здесь-то, во всяком случае, будут помнить капитана Брайерли. Я подробно написал его отцу и ни слова не получил в ответ — ни «благодарю вас», ни «убирайтесь к черту» — ничего! Может быть, они вовсе не хотели о нем слышать.

Вид этого старого Джонса с водянистыми глазами, вытирающего лысую голову красным бумажным платком, тоскливое тявканье собаки, грязная, засиженная мухами каюта — ковчег воспоминаний об умершем — все это набрасывало вуаль невыразимо жалкого пафоса на памятную фигуру Брайерли: посмертное мщение судьбы за эту веру в его собственное великолепие — веру, которая почти обманула жизнь со всеми ее неизбежными ужасами. Почти! А может быть — и совсем. Кто знает, с какой лестной для него точки зрения рассматривал он собственное свое самоубийство?

— Капитан Марлоу, как вы думаете, почему он покончил с собой? — спросил Джонс, сжимая ладони. — Почему? Это превосходит мое понима-

ние. Почему?

Он хлопнул себя по низкому морщинистому лбу.

— Если бы он был беден, стар, увяз в долгах… неудачник… или сошел с ума… Но он был не из тех, что сходят с ума; э, нет, можете мне поверить! Чего помощник не знает о своем шкипере, того и знать не стоит. Молодой, здоровый, обеспеченный, никаких забот… Вот я сижу здесь иногда и думаю, думаю, пока в голове у меня не загудит. Ведь была же какая-то причина.

— Можете не сомневаться, капитан Джонс, — сказал я, — причина была не из тех, что могут потревожить нас с вами.

И тут словно свет озарил затемненный рассудок бедного Джонса: напоследок старик произнес слова, поражающие своей глубиной. Он высморкался и скорбно закивал головой:

— Да, да! Ни вы, ни я, сэр, никогда не были о себе такого высокого мнения.

Конечно, воспоминания о последнем моем разговоре с Брайерли окрашены тем, что я знаю о его самоубийстве, происшедшем так скоро после этого разговора. В последний раз я говорил с ним в то время, когда шло судебное следствие. После первого заседания мы вместе вышли на улицу.

Он был раздражен, что я отметил с удивлением: снисходя до беседы, он всегда бывал совершенно хладнокровен и относился к своему собеседнику с какой-то веселой терпимостью, словно самый факт его существования считал забавной шуткой.

— Они заставили меня принять участие в разборе дела, — начал он, а затем стал жаловаться на неудобство ходить каждый день в суд. — Одному богу известно, сколько времени это протянется. Дня три, я думаю.

Я слушал его молча. По моему мнению, это был лучший способ держаться в стороне.

— Что толку? Это — глупейшее дело, какое только можно себе представить, — продолжал он с жаром.

Я заметил, что другого выхода не было. Он перебил меня с каким-то сдержанным бешенством:

— Все время я чувствую себя дураком.

Я поднял на него глаза. Это было уже слишком — для Брайерли, говорящего о самом себе. Он остановился, ухватил меня за лацкан пиджака и тихонько его дернул.

— Зачем мы терзаем этого молодого человека? — спросил он.

Этот вопрос был так созвучен с похоронным

звоном моих мыслей, что я отвечал тотчас же, мысленно представив себе улизнувшего ренегата:

— Пусть меня повесят, если я знаю, но он сам идет на это.

Я был изумлен, когда он ответил мне в тон и произнес фразу, которая до известной степени могла показаться загадочной.

— Ну да. Разве он не понимает, что его негодяй шкипер улизнул? Чего же он ждет? Его ничто не спасет. С ним кончено.

Несколько шагов мы прошли молча.

— Зачем жрать всю эту грязь? — воскликнул он, употребляя энергичное восточное выражение — пожалуй, единственное проявление энергии к востоку от пятидесятого меридиана.

Я подивился ходу его мыслей, но теперь считаю это вполне естественным: бедняга Брайерли думал, должно быть, о самом себе. Я заметил ему, что, как известно, шкипер «Патны» устлал свое гнездышко пухом и мог всюду раздобыть денег, чтобы удрать. С Джимом дело обстояло иначе: власти временно поместили его в Доме моряка, и, по всей вероятности, у него в кармане не было ни единого пенни. Нужно иметь некоторую сумму денег, чтобы удрать.

— Нужно ли? Не всегда, — сказал он с горьким смехом. Я сделал еще какое-то замечание, а он ответил:

— Ну так пускай он зароется на двадцать футов в землю и там и остается! Клянусь небом, я бы это сделал!

Почему-то его тон задел меня, и я сказал:

— Есть своего рода мужество в том, чтобы выдержать это до конца, как делает он, а ведь ему хорошо известно, что никто не потрудится его преследовать, если он удерет.

— К черту мужество! — проворчал Брайерли. — Такое мужество не поможет человеку держаться прямого пути, и я его в грош не ставлю. Вам следовало бы сказать, что это своего рода трусость, дряблость. Вот что я вам предлагаю: я дам двести рупий, если вы приложите еще сотню и уговорите парня убраться завтра поутру. Он производит впечатление порядочного человека — он поймет. Должен понять! Слишком отвратительна эта огласка: можно сгореть со стыда, когда серанги, ласкары, рулевые дают показания. Омерзительно! Неужели вы, Марлоу, не чувствуете, как это омерзительно? Вы, моряк? Если он скроется, все это сразу прекратится.

Брайерли произнес эти слова с необычным

жаром и уже полез за бумажником. Я остановил его и холодно сказал, что, на мой взгляд, трусость этих четверых не имеет такого большого значения.

— А еще называете себя моряком! — гневно воскликнул он.

Я сказал, что действительно называю себя моряком, и — смею надеяться — не ошибаюсь. Он выслушал и сделал рукой жест, который словно лишал меня моей индивидуальности, смешивал с толпой.

— Хуже всего то, — объявил он, — что у вас, ребята, нет чувства собственного достоинства. Вы мало думаете о том, что должны собой представлять.

Все это время мы медленно шли вперед и теперь остановились против Управления порта, неподалеку от того места, где необъятный капитан «Патны» исчез, как крохотное перышко, подхваченное ураганом. Я улыбнулся. Брайерли продолжал:

— Это позор. Конечно, в нашу среду попадают всякие, среди нас бывают и отъявленные негодяи. Но должны же мы, черт возьми, сохранять профессиональное достоинство, если не хотим превратиться в бродячих лудильщиков! Нам

доверяют. Понимаете — доверяют! По правде сказать, мне нет дела до всех этих азиатов-паломников, но порядочный человек не поступил бы так, даже если бы судно было нагружено тюками лохмотьев. Только притязание на такого рода порядочность связывает нас друг с другом, а больше ничто… Подобные поступки подрывают доверие. Человек может прожить всю свою жизнь на море и не встретиться с опасностью, которая требует величайшей выдержки. Но если опасность встретишь… Да!.. Если бы я… — Он оборвал фразу и заговорил другим тоном: — Я вам дам двести рупий, Марлоу, а вы поговорите с этим парнем. Черт бы его побрал! Хотел бы я, чтобы он никогда сюда не являлся. Дело в том, что мои родные, кажется, знают его семью. Его отец — приходский священник. Помню, я встретил его в прошлом году, когда жил у своего двоюродного брата в Эссексе. Если не ошибаюсь, старик был без ума от своего сына моряка. Ужасно! Я не могу сделать это сам, но вы…

Таким образом, благодаря Джиму я на секунду увидел подлинное лицо Брайерли за несколько дней до того, как он доверил морю и себя самого и свою личину. Конечно, я уклонился от вмешательства. Тон, каким были сказаны эти последние

слова «но вы...» (у бедняги Брайерли это сорвалось бессознательно), казалось, намекал на то, что я достоин не большего внимания, чем какая-нибудь букашка, а в результате я с негодованием отнесся к его предложению и окончательно убедился в том, что судебное следствие является суровым наказанием для Джима, и, подвергаясь ему — в сущности добровольно, — он как бы искупает до известной степени свое отвратительное преступление, Раньше я не был в этом так уверен. Брайерли ушел рассерженный. В то время его настроение казалось мне более загадочным, чем кажется теперь.

На следующий день, поздно явившись в суд, я сидел один. Конечно, я не забыл об этом разговоре с Брайерли, а теперь они оба сидели передо мной. Поведение одного казалось угрюмо наглым, физиономия другого выражала презрительную скуку; однако первое могло быть не менее ошибочным, чем второе, а я знал, что физиономия Брайерли *лжет*: Брайерли не скучал — он был раздражен; следовательно, и Джим, быть может, вовсе не был наглым. Это согласовалось с моей теорией. Я считал, что он потерял всякую надежду. Вот тогда-то я и встретился с ним глазами. Взгляд, какой он мне бросил, мог уничтожить

всякое желание с ним заговорить. Принимая любую гипотезу — то ли он нагл, то ли в отчаянии, — я чувствовал, что ничем не могу ему помочь. То был второй день разбора дела. Вскоре после того, как мы обменялись взглядами, допрос был снова отложен на следующий день. Белые начали пробираться к выходу. Джиму еще раньше велели сойти с возвышения, и он мог выйти одним из первых. Я видел его широкие плечи и голову на светлом фоне открытой двери. Пока я медленно шел к выходу, разговаривая с кем-то, — какой-то незнакомый человек случайно ко мне обратился, — я мог видеть его из зала суда; облокотившись на балюстраду веранды, он стоял спиной к потоку людей, спускающемуся по ступеням. Слышались тихие голоса и шарканье ног.

Теперь должно было разбираться дело об избиении какого-то ростовщика. Обвиняемый — почтенный крестьянин с прямой белой бородой — сидел на циновке как раз за дверью; вокруг него сидели на корточках или стояли его сыновья, дочери, зятья, жены, — думаю, добрая половина деревни собралась здесь. Стройная темнокожая женщина с полуобнаженной спиной, голым черным плечом и с тонким золотым кольцом, продетым в нос, вдруг заговорила

пронзительным, крикливым голосом. Человек, шедший со мной, невольно поднял на нас глаза. Мы уже вышли и очутились как раз за могучей спиной Джима.

Не знаю, эти ли крестьяне привели с собой желтую собаку. Как бы то ни было, но собака была налицо и, как всякая туземная собака, украдкой шныряла между ногами проходящих; мой спутник споткнулся об нее. Она, не взвизгнув, отскочила в сторону, а незнакомец, слегка повысив голос, сказал с тихим смехом.

— Посмотрите на эту трусливую тварь!

Поток людей разъединил нас. Меня на секунду приперли к стене, а незнакомец спустился по ступеням и исчез. Я видел, как Джим круто повернулся. Он шагнул вперед и преградил мне дорогу. Мы были одни; он посмотрел на меня с видом упрямым и решительным. Я чувствовал себя так, словно меня остановили в дремучем лесу. Веранда к тому времени опустела; шум затих в зале суда; там, в доме, спустилось великое молчание, и только откуда-то издалека донесся жалобный восточный голос. Собака, не успевшая проскользнуть в дверь, уселась и начала ловить блох.

— Вы заговорили со мной? — тихо спросил Джим, наклоняясь вперед, но не ко мне, а словно

наступая на меня. — Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать?

Я тотчас же ответил:

— Нет.

Что-то в звуке этого спокойного голоса подсказало мне, что следует быть настороже. Я следил за ним. Это очень походило на встречу в лесу, только нельзя было предугадать исход, раз он не мог потребовать ни моих денег, ни моей жизни — ничего, что бы я попросту отдал или стал защищать с чистой совестью.

— Вы говорите — нет, — сказал он, очень мрачный, — но я слышал.

— Какое-то недоразумение, — возразил я, ничего не понимая, но не сводя глаз с его лица. Я следил, как оно потемнело, словно небо перед грозой: тени незаметно набегали на него и таинственно сгущались в тишине перед назревающей вспышкой.

— Насколько мне известно, я не открывал рта в вашем присутствии, — заявил я, что соответствовало действительности. Нелепая стычка начинала меня злить. Теперь я понимаю, что в тот момент мне грозила расправа — настоящая кулачная расправа. Думаю, я смутно чувствовал эту возможность. Не то чтобы он по-настоящему

мне угрожал. Наоборот — он был страшно пассивен, но он нахмурился и хотя не производил впечатления человека исключительной силы, но, казалось, свободно мог прошибить стену. Однако я подметил и благоприятный симптом: Джим как будто глубоко задумался и стал колебаться; я это принял как дань моему неподдельно искреннему тону и манерам. Мы стояли друг против друга. В зале суда разбиралось дело о нападении и избиении. Я уловил слова: «Буйвол… палка… в великом страхе…»

— Почему вы все утро на меня смотрели? — сказал наконец Джим. Он поднял глаза, потом снова уставился в пол.

— Вы думали, что все будут сидеть с опущенными глазами, щадя ваши чувства? — отрезал я, не желая принимать покорно его нелепые выпады. Он снова поднял глаза и на этот раз прямо посмотрел мне в лицо.

— Нет. Так оно и должно быть, — произнес он, словно взвешивая истину этого положения. — Так оно и должно быть. На это я иду. Но только, — тут он заговорил быстрее, — я никому не позволю оскорблять меня за стенами суда. С вами был какой-то человек. Вы говорили с ним… о да, я знаю, все это прекрасно. Вы говорили с

ним, но так, чтобы я слышал…

Я заверил его, что он жестоко заблуждается. Я понятия не имел, как это могло произойти.

— Вы думали, что я побоюсь ответить на оскорбление, — сказал он с легкой горечью. Я был настолько заинтересован, что подмечал малейшие оттенки и выражения, но по-прежнему ничего не понимал. Однако что-то в этих словах — или, быть может, интонация этой фразы — побудило меня отнестись к нему снисходительно. Неожиданная стычка перестала меня раздражать. Он заблуждался, произошло какое-то недоразумение, и я предчувствовал, что по характеру своему оно было отвратительно и прискорбно. Мне не терпелось поскорей и возможно приличнее закончить эту сцену, как не терпится человеку оборвать непрошеное и омерзительное признание. Забавнее всего было то, что, предаваясь всем этим соображениям высшего порядка, я тем не менее ощущал некий трепет при мысли о возможной — весьма возможной — постыдной драке, для которой не подыщешь объяснений и которая сделает меня смешным. Я не стремился к тому, чтобы прославиться на три дня, как человек, получивший синяк под глазом или что-либо в этом роде от штурмана с «Патны». Он же, по

всем вероятиям, не задумывался над своими поступками и, во всяком случае, был бы оправдан в своих собственных глазах. Несмотря на его спокойствие и, я бы сказал, оцепенение, каждый, не будучи волшебником, заметил бы, что он чрезвычайно чем-то рассержен. Не отрицаю, мне очень хотелось умиротворить его во что бы то ни стало, если бы я только знал, как за это взяться. Но, как вы легко можете себе представить, я не знал. То был мрак, без единого проблеска света. Молча стояли мы друг перед другом. Секунд пятнадцать он выжидал, затем шагнул вперед, а я приготовился отразить удар, хотя, кажется, ни один мускул у меня не дрогнул.

— Будь вы вдвое больше и вшестеро сильнее, — заговорил он очень тихо, — я бы вам сказал, что я о вас думаю. Вы…

— Стойте! — воскликнул я.

Это заставило его на секунду замолкнуть.

— Раньше чем сказать, что вы обо мне думаете, — быстро продолжал я, — будьте любезны сообщить мне, что я такое сказал или сделал.

Последовала пауза. Он смотрел на меня с негодованием, а я мучительно напрягал память, но мне мешал восточный голос из зала суда, бесстрастно и многословно возражавший против

обвинения во лжи. Потом мы заговорили почти одновременно.

— Я вам докажу, что вы ошибаетесь на мой счет, — сказал он тоном, предвещающим развязку.

— Понятия не имею, — серьезно заявил я в тот же момент.

Он старался меня уничтожить презрительным взглядом.

— Теперь, когда вы видите, что я не боюсь, вы пытаетесь увернуться, — сказал он. — Ну, кто из нас трусливая тварь?

Тут только я понял.

Он всматривался в мое лицо, словно выискивая местечко, куда бы опустить кулак.

— Я никому не позволю… — забормотал он угрожающе.

Да, действительно, это было страшное недоразумение; он выдал себя с головой. Не могу вам передать, как я был потрясен. Должно быть, мне не удалось скрыть свои чувства, так как выражение его лица слегка изменилось.

— Боже мой! — пролепетал я. — Не думаете же вы, что я…

— Но я уверен, что не ослышался, — настаивал он и, впервые с начала этой горестной сцены,

повысил голос. Потом с оттенком презрения добавил: — Значит, это были не вы? Отлично; я разыщу того, другого.

— Не глупите, — в отчаянии крикнул я, — это было совсем не то.

— Я слышал, — повторил он с непоколебимым и мрачным упорством.

Быть может, найдутся люди, которым покажется смешным такое упрямство. Но я не смеялся. О нет! Никогда не встречал я человека, который бы выдал себя так безжалостно, поддавшись вполне естественному побуждению. Одно-единственное слово лишило его сдержанности — той сдержанности, которая для пристойности нашего внутреннего «я» более необходима, чем одежда для нашего тела.

— Не глупите, — повторил я.

— Но вы не отрицаете, что тот, другой, это сказал? — произнес он внятно и не мигая глядел мне в лицо.

— Нет, не отрицаю, — сказал я, выдерживая его взгляд.

Наконец он опустил глаза и посмотрел туда, куда я указывал ему пальцем. Сначала он как будто не понял, потом остолбенел, наконец на лице его отразилось изумление и испуг, словно собака

была чудовищем, а он впервые увидел собаку.

— Ни у кого и в мыслях не было оскорблять вас, — сказал я.

Он смотрел на жалкое животное, сидевшее неподвижно, как изваяние; насторожив уши, собака повернула острую мордочку к двери и вдруг, как автомат, щелкнула зубами, целясь на пролетавшую муху.

Я посмотрел на него. Румянец на его загорелых, покрытых пушком щеках внезапно потемнел и залил лоб до самых корней вьющихся волос. Уши покраснели, и даже ясные голубые глаза стали гораздо темнее от прилива крови к голове. Губы слегка оттопырились и задрожали, словно он вот-вот разразится слезами. Я понял, что он не в силах выговорить ни единого слова, подавленный своим унижением. И разочарованием — кто знает? Возможно, он хотел этой потасовки, которую намеревался мне навязать для своей реабилитации, для успокоения? Кто знает, какого облегчения он ждал от этой драки? Он был так наивен, что мог ждать чего угодно; но в данном случае он выдал себя с головой совершенно напрасно. Он был искренен с самим собой — не говоря уже обо мне — в безумной надежде добиться таким путем какого-то явного опровержения, а

насмешливая судьба ему не благоприятствовала. Он издал нечленораздельный звук, как человек, полуоглушенный ударом по голове. Жалко было смотреть на него.

Я нагнал его далеко за воротами. Мне даже пришлось пуститься рысцой, но когда я, запыхавшись, поравнялся с ним и заговорил о бегстве, он сказал: — Никогда! — и тотчас же занял оборонительную позицию. Я объяснил, что отнюдь не хотел сказать, будто он бежит от меня.

— Ни от кого… ни от кого на свете, — заявил он упрямо.

Я удержался и не сказал ему об одном-единственном исключении из этого правила — исключении, приемлемом для самых храбрых из нас. Думалось, что он и сам скоро это поймет. Он терпеливо смотрел на меня, пока я придумывал, что бы ему сказать, но в тот момент мне ничего не приходило на ум, и он снова зашагал вперед. Я не отставал и, не желая отпускать его, торопливо заговорил о том, что мне бы не хотелось оставлять его под ложным впечатлением моего… моего… Я запнулся. Глупость этой фразы испугала меня, пока я пытался ее закончить, но могущество фраз ничего общего не имеет с их смыслом или с логикой их конструкций. Мой идиотский лепет,

видимо, ему понравился. Он оборвал его, сказав с вежливым спокойствием, свидетельствовавшим о безграничном самообладании или же удивительной эластичности настроения:

— Всецело моя ошибка…

Я подивился этому выражению: казалось, он намекал на какой-то пустячный случай. Неужели он не понял его позорного значения?

— Вы должны простить меня, — продолжал он и хмуро добавил: — Все эти люди, таращившие на меня глаза там, в суде, казались такими дураками, что… что могло быть и так, как я предположил.

Эта фраза изумила меня. Он предстал в новом свете. Я посмотрел на него с любопытством и встретил его взгляд, непроницаемый и нимало не смущенный.

— С подобными выходками я не могу примириться, — сказал он очень просто, — и не хочу. В суде иное дело; там мне приходится это выносить — и я выношу.

Не могу сказать, чтобы я его понимал. То, что он мне показывал, походило на проблески света в прорывах густого тумана, через которые видишь яркие и ускользающие детали, не дающие полного представления о данной местности. Они питают любопытство человека, не удовлетворяя

его; ориентироваться по ним нельзя. В общем он сбивал с толку. Вот к какому выводу я пришел, когда мы расстались поздно вечером. Я остановился на несколько дней в отеле «Малабар», и он принял мое настойчивое приглашение пообедать вместе.

7

В тот день отправлявшееся за границу почтовое судно прибыло в порт, и в большой столовой отеля добрая половина столиков была занята людьми с кругосветными билетами, ценой в сто фунтов, в карманах. Были тут супружеские пары, видимо уже привыкшие к семейной жизни и наскучившие друг другу за время путешествия, были и люди, путешествующие компанией, были и одинокие субъекты, торжественно обедающие или шумно пирующие, но все эти люди думали, разговаривали, шутили или хмурились точь-в-точь так, как привыкли это делать у себя дома; и к новым впечатлениям они были не более восприимчивы, чем их багаж наверху. Отныне они вместе со своим багажом будут отмечены ярлыком, как побывавшие в таких-то и таких-то странах. Они будут дрожать над этим своим отличием и сохранять приклеенные к чемоданам ярлыки, как документальное доказательство, как единственный неизгладимый след поездки с образовательной целью. Темнолицые слуги бесшумно скользили по натертому полу; изредка

раздавался девичий смех, наивный и пустой, как сама девушка, или, когда затихал стук посуды, доносились слова, произнесенные в нос остряком, который расписывал ухмыляющимся сотрапезникам последний забавный скандал на борту судна. Две кочующие старые девы в сногсшибательных туалетах кисло просматривали меню и перешептывались, шевеля поблекшими губами; эксцентричные, с деревянными лицами, они походили на роскошно одетые вороньи пугала. Несколько глотков вина приоткрыли сердце Джима и развязали ему язык. Аппетит у него был хороший, это я заметил. Казалось, он похоронил где-то эпизод, положивший начало нашему знакомству, словно это было нечто такое, о чем никогда больше не будет речи. Все время я видел перед собой эти голубые мальчишеские глаза, прямо на меня смотревшие, это молодое лицо, могучие плечи, открытый бронзовый лоб с белой полоской у корней вьющихся белокурых волос; его вид пробуждал во мне симпатию — это открытое лицо, бесхитростная улыбка, юношеская серьезность. Он был порядочным человеком, — одним из нас. Он говорил рассудительно, с какой-то сдержанной откровенностью, и с тем спокойствием, какого можно достигнуть муже-

ственным самообладанием или бесстыдством, бесчувственностью, безграничной наивностью или страшным самообманом. Кто знает? Судя по нашему тону, могло показаться, что мы рассуждаем о ком-то постороннем, о футбольном матче, о прошлогоднем снеге. Моя мысль тонула в море догадок, но тут разговор пошел по новому руслу, и мне удалось, не оскорбляя Джима, заметить, что следствие, несомненно, было для него мучительным. Он схватил меня за руку — моя рука лежала на скатерти, подле тарелки, — и впился в меня глазами. Я испугался.

— Должно быть, это ужасно неприятно, — пробормотал я, смущенный таким безмолвным проявлением чувств.

— Это — адская пытка! — воскликнул он заглушенным голосом.

Это движение и эти слова заставили двух франтоватых путешественников, сидевших за соседним столиком, тревожно оторваться от их замороженного пудинга. Я встал, и мы вышли на галерею, где нас ждало кофе и сигары.

На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками; вокруг стояли удобные плетеные стулья; столики отделялись друг от друга какими-то растениями с

жесткими листьями; между колонн, на которые падал красноватый отблеск света из высоких окон, ночь, мерцающая и мрачная, спустилась великолепным занавесом. Огни судов мигали вдали, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на округлые черные массы застывших грозовых туч.

— Я не мог удрать, — начал Джим. — Шкипер удрал, — так ему и полагалось сделать. А я не мог и не хотел… Все они выпутались так или иначе, но для меня это не годилось.

Я слушал с напряженным вниманием, не смея шелохнуться; я хотел знать — но и по сей день не знаю, я могу только догадываться. Он был доверчив и в то же время сдержан, словно убеждение в какой-то внутренней правоте мешало истине сорваться с уст. Прежде всего он заявил таким тоном, как будто признавался в своем бессилии перескочить через двадцатифутовую стену, что никогда не сможет вернуться домой; это заявление вызвало в моей памяти слова Брайерли: «Если не ошибаюсь, этот старик пастор в Эссексе без ума от своего сына моряка».

Не могу вам сказать, знал ли Джим о том, что был любимцем отца, но тон, каким он отзывался «о своем папе», был рассчитан на то, чтобы я пред-

ставил себе старого деревенского пастора самым прекрасным человеком из всех, кто когда-либо, с сотворения мира, был обременен заботами о большой семье. Это хотя и не было сказано, но подразумевалось, не оставляя места сомнениям, а искренность Джима была очаровательна, подчеркивая, что вся история затрагивает и тех, кто живет там — очень далеко.

— Теперь он уже знает обо всем из газет там, на родине, — сказал Джим. — Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком.

Я не смел поднять глаза, пока он не добавил:

— Я никогда не смогу объяснить. Он бы не понял.

Тогда я посмотрел на него. Он задумчиво курил, потом, немного погодя, встрепенулся и снова заговорил. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с сообщниками в… ну, скажем… в преступлении. Он не из их компании; он совсем из другого теста. Я не отрицал. Мне отнюдь не хотелось, во имя бесплодной истины, лишать его хотя бы малой частицы спасительной милости, выпавшей ему на долю. Я не знал, насколько он в это верит. Не знал, какую он ведет игру — если он вообще вел какую-нибудь игру; подозреваю, что и он этого не знал: я убежден, что ни один

человек не может до конца понять собственные свои уловки, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не произнес ни слова, пока он рассуждал о том, что ему делать, когда закончится «это дурацкое следствие».

Видимо, он разделял презрительное мнение Брайерли об этой процедуре, предписанной законом. Он не знал, куда деваться, и сообщил об этом, скорее размышляя вслух, чем разговаривая со мной. Свидетельство отберут, карьера кончена, нет денег, чтобы уехать, никакого места не предвидится. На родине, пожалуй, можно было бы что-нибудь получить, — иными словами, следовало обратиться к родным за помощью, а этого он не хотел. Ему ничего не оставалось, как поступить простым матросом; пожалуй, ему удалось бы получить место рулевого старшины на каком-нибудь пароходе. Он может быть рулевым.

— Думаете — могли бы? — безжалостно спросил я.

Он вскочил и, подойдя к каменной балюстраде, посмотрел в ночь. Через секунду вернулся и остановился передо мной; его юношеское лицо было еще омрачено болью, порожденной эмоцией, которую он задушил. Он прекрасно понимал, что я не сомневаюсь в его способности стоять у

штурвала. Слегка дрожащим голосом он спросил меня — почему я это сказал? Я был «так добр» к нему. Я даже не посмеялся над ним, когда… тут он запнулся… «когда произошло это недоразумение… и я свалял такого дурака».

Я перебил его и с жаром заявил, что мне это недоразумение отнюдь не показалось смешным. Он сел и, задумчиво потягивая кофе, выпил маленькую чашечку до дна.

— Но я ни на секунду не допускаю мысли, что эта кличка мне подходит, — отчетливо сказал он.

— Да? — спросил я.

— Да, — подтвердил он спокойно и решительно. — А вы знаете, что сделали бы вы? Знаете? И ведь вы не считаете себя… — тут он что-то проглотил, — …не считаете себя трус… трусливой тварью?

И тут он — клянусь честью — вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, то был вопрос — вопрос bona fide.[5] Однако ответа он не ждал. Раньше чем я успел опомниться, он снова заговорил, глядя прямо перед собой, словно читая письмена, начертанные на лике ночи.

---

[5] Примечания: 5
вполне искренно (лат.)

— Все дело в том, чтобы быть готовым. А я не был готов… тогда. Я не хочу оправдываться, но мне хотелось бы объяснить… чтобы кто-нибудь понял… кто-нибудь… хоть один человек! Вы! Почему бы не вы!

Это было торжественно и чуточку смешно: так бывает всегда, когда человек мучительно пытается спасти свое представление о том, каков должен быть его моральный облик. Это представление условно — одно из правил игры, не больше, — и, однако, оно имеет великое значение, ибо притязает на неограниченную власть над природными инстинктами и жестоко карает падение.

Он начал свой рассказ довольно спокойно. На борту парохода компании «Дейл Лайн», который подобрал этих четверых, плывших в шлюпке под мягкими лучами заходящего солнца, на них с первого же дня стали смотреть косо. Толстый шкипер рассказал какую-то историю, остальные молчали, и поначалу его версия была принята. Не станете же вы подвергать перекрестному допросу людей, потерпевших крушение, которых вам посчастливилось спасти если не от мучительной смерти, то, во всяком случае, от жестоких мучений. Потом, когда уже было время подумать, капитану и помощникам «Эвонделя», должно

быть, пришло в голову, что в этой истории есть что-то неладное; но свои сомнения они, конечно, оставили при себе. Они подобрали капитана, штурмана и двух механиков с затонувшего парохода «Патна», и этого с них было достаточно. Я не спросил Джима, как он себя чувствовал в течение тех десяти дней, какие провел на борту «Эвонделя». Судя по тому, как он рассказывал, я свободно мог заключить, что он был ошеломлен сделанным открытием — открытием, лично его касавшимся, — и, несомненно, пытался его объяснить единственному человеку, который способен был оценить все потрясающее величие этого открытия. Вы должны понять, что он отнюдь не старался умалить его значение. В этом я уверен; и тут-то и коренится то, что отличало Джима от остальных. Что же касается эмоций, какие он испытал, когда сошел на берег и услыхал о непредвиденном завершении истории, в которой сыграл такую жалкую роль, — то о них он мне ничего не сказал, и это трудно себе представить.

Почувствовал ли он, что почва уходит у него из-под ног? Хотелось бы знать… Но, несомненно, ему скоро удалось найти себе новую опору. Он прожил на берегу целых две недели в Доме моряка; в то время там жили еще шесть или семь

человек, и от них я кое-что слыхал о нем. Их мнение сводилось к тому, что, не говоря о прочих его недостатках, он был угрюмой скотиной. Целые дни он проводил на веранде, лежа на шезлонге и покидая свое убежище только в часы еды или поздно вечером, когда отправлялся бродить по набережной, в полном одиночестве, оторванный ото всех, нерешительный и молчаливый, словно бездомный призрак.

— Кажется, я за все это время ни единой живой душе не сказал и двух слов, — заметил он, и мне стало его очень жаль; тотчас же он добавил: — Один из тех парней непременно выпалил бы что-нибудь такое, с чем я бы не мог примириться, а ссоры я не хотел. Да! Тогда не хотел. Я был слишком… слишком… Мне было не до ссор.

— Значит, та переборка в трюме все-таки выдержала, — бодро сказал я.

— Да, — прошептал он, — выдержала. И, однако, я могу вам поклясться, что чувствовал, как она выпячивается под моей рукой.

— Удивительно, какой сильный напор может иногда выдержать старое железо, — сказал я.

Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и свесив руки, он несколько раз кивнул головой. Трудно представить себе более грустное зрелище.

Вдруг он поднял голову, выпрямился, хлопнул себя по бедру.

— Ах, какой случай упущен! Боже мой! Какой случай упущен! — воскликнул он, и это последнее слово «упущен» прозвучало, словно крик, исторгнутый болью.

Он снова замолчал и уставился в пространство, жадно призывая этот упущенный случай отличиться; на секунду ноздри его раздулись, словно он втягивал пьянящий аромат этой неиспользованной возможности. Если вы думаете, что я был удивлен или шокирован, вы очень ко мне несправедливы. Ах, это был парень, наделенный фантазией! Его взгляд уходил в ночь, и по его глазам я видел, что он стремительно рвется вперед, туда, — в фантастическое царство безрассудного героизма. Ему некогда было сожалеть о том, что он потерял, — слишком он был озабочен тем, что ему не удалось получить. Он был очень далеко от меня, сидевшего на расстоянии трех футов. С каждой секундой он все глубже уходил в мир несбыточных романтических достижений. Наконец он проник в самое его сердце! Странное блаженство осветило его лицо, глаза сверкнули при свете свечи, горевшей между нами; он улыбнулся! Он проник в самое сердце — в самое

сердце. То была улыбка экстаза, — мы с вами, друзья мои, никогда не будем так улыбаться. Я вернул его на землю словами:

— Если б вы не покинули судна… Вы это хотели сказать?

Он повернулся ко мне, и взгляд его был растерянный, полный муки, лицо недоуменное, испуганное, страдальческое, словно он упал со звезды. Ни вы, ни я ни на кого не будем так глядеть. Он сильно вздрогнул, как будто холодный палец коснулся его сердца. Потом вздохнул.

Я не был в милостивом настроении. Он провоцировал меня своими противоречивыми признаниями.

— Печально, что вы не знали раньше! — сказал я с недобрым намерением. Но вероломная стрела упала, не причинив вреда, — упала к его ногам, не достигнув цели, а он не подумал о том, чтобы ее поднять. Быть может, даже и не видал ее. Развалившись на стуле, он сказал:

— Черт возьми! Говорю вам, она выпячивалась. Я проводил фонарем вдоль паза, там, внизу, когда кусок ржавчины, величиной с мою ладонь, упал с переборки. — Он провел рукой по лбу. — Переборка дрожала и шаталась, словно что-то живое, когда я смотрел на нее.

— И тут вы почувствовали себя скверно, — заметил я вскользь.

— Неужели вы полагаете, — сказал он, — что я думал о себе, когда за моей спиной спали крепким сном сто шестьдесят человек — на носу, в межпалубном помещении? А на корме их было еще больше… и на палубе… спали, ни о чем не подозревая… людей было втрое больше, чем могло уместиться на шлюпках, даже если б и было время спустить их. Я ждал, что железная переборка на моих глазах прорвется, и поток воды зальет их, спящих… Что было мне делать, что?

Я легко могу представить себе, как он стоял во мраке, а свет круглого фонаря падал на часть переборки, которая выдерживала тяжесть всего океана, и слышалось дыхание спящих людей. Я видел, как он смотрел на железную стену, испуганный падающими кусками ржавчины, придавленный знамением неминуемой смерти. Это было, как я понял, тогда, когда его вторично послал на нос шкипер, желавший, вероятно, удалить его с мостика. Джим сказал мне, что первым его побуждением было крикнуть и, разбудив всех этих людей, сразу повергнуть их в ужас, но сознание своей беспомощности так его ошеломило, что он не в силах был издать ни единого звука. Вот

что, должно быть, подразумевается под словами: «язык прилип к гортани».

«Во рту все пересохло», — так описал Джим это состояние. Молча выбрался он на палубу через люк номер первый. Виндзейль,[6] свалившийся вниз, случайно задел его по лицу, и от легкого прикосновения парусины он едва не слетел с трапа.

Джим признался, что ноги у него подкашивались, когда он вышел на фордек и поглядел на спящую толпу. К тому времени остановили машины и стали выпускать пар. От этого глухого рокота ночь вибрировала, словно басовая струна. Судно отвечало дрожью.

Кое-где голова приподнималась с циновки, смутно вырисовывалась фигура сидящего человека, он сонно прислушивался, потом снова ложился среди нагроможденных ящиков, паровых воротов, вентиляторов. Джим знал: все эти люди были недостаточно осведомлены, чтобы понять значение странного шума. Железное судно, люди с белыми лицами, все предметы, все звуки — все на борту казалось этой невежественной и благочестивой толпе одинаково странным

---

[6] Примечания: 6
парусиновый рукав, через который очищается воздух внутри судна

и столь же надежным, как и непонятным. Ему пришло в голову, что это обстоятельство можно назвать счастливым. Такая мысль была поистине ужасна.

Не забудьте: он верил, — как верил бы всякий на его месте, — что судно должно затонуть с минуты на минуту; выпятившаяся, изъеденная ржавчиной переборка, которая противостояла напору океана, должна была рухнуть, — внезапно, как минированная дамба, — и впустить поток воды. Он стоял неподвижно, глядя на эти распростертые тела, — обреченный человек, знающий свою судьбу и созерцающий молчаливое сборище мертвецов. Они были мертвы! Ничто не могло их спасти. В шлюпках едва ли разместилась бы половина, но и для этого не было времени. Не было времени! Бессмысленным казалось разжать губы, пошевельнуть рукой или ногой. Раньше, чем он успеет выкрикнуть три слова или сделать три шага, он уже будет барахтаться в море, которое покроется пеной от отчаянных усилий тонущих людей, огласится воплями о помощи. Помощи быть не могло. Он прекрасно представлял себе, что именно произойдет; он пережил это, неподвижно стоя с фонарем в руке возле люка, — пережил все, вплоть до самой последней

мучительной детали. Думаю, он переживал это вторично, когда рассказывал мне то, о чем не мог говорить в суде.

— Я видел ясно — так же, как вижу сейчас вас, — что делать мне нечего. Жизнь как будто ушла от меня. Я мог бы стоять на месте и ждать. Я не думал, что у меня оставалось еще много секунд…

Вдруг пар перестал выходить. Шум, по словам Джима, тревожил, но эта внезапная тишина показалась невыносимо гнетущей.

— Я думал, что задохнусь раньше, чем утону, — сказал он. Потом добавил, что не думал о своем спасении. В его мозгу всплывала, исчезала и снова всплывала только одна отчетливая мысль: восемьсот человек и семь шлюпок… восемьсот человек и семь шлюпок.

— Словно чей-то голос нашептывал мне, — взволнованно проговорил он, — восемьсот человек и семь шлюпок… и нет времени! Вы только подумайте!

Он наклонился ко мне через маленький столик, а я попытался избежать его взгляда.

— Вы думаете, я боялся смерти? — спросил он голосом очень напряженным и тихим. Он ударил ладонью по столу, и от этого удара запрыгали кофейные чашки. — Я готов поклясться, что не

боялся — нет... Клянусь богом, нет! — Он выпрямился и скрестил на груди руки; подбородок его опустился на грудь.

Через высокие окна слабо доносился до нас стук посуды. Раздались громкие голоса, и на галерею вышли несколько человек в прекраснейшем настроении. Они обменивались шутками, вспоминая катанье на ослах в Каире. Бледный, боязливый, мягко ступавший на длинных ногах юноша разговаривал с краснолицым чванным путешественником, который высмеивал его покупки, сделанные на базаре.

— Нет, вы в самом деле думаете, что я был так испуган? — осведомился Джим очень серьезно и решительно.

Компания, отойдя дальше, размещалась за столиками; вспыхивали спички, на секунду освещая невыразительные лица и тусклый блеск белых манишек; жужжание разговаривающих людей, разгоряченных после обеда, казалось мне нелепым и бесконечно далеким.

— Несколько человек из команды спали на люке номер первый, в двух шагах от меня, — снова заговорил Джим.

Заметьте, что на этом судне на вахте стояли калаши, команда спала всю ночь, и будили только

тех, кто сменял дозорных. Джим почувствовал искушение схватить за плечо ближайшего матроса и растолкать его, но не сделал этого. Что-то удержало его руку. Он не боялся, — о нет! — просто он не мог — вот и все. Быть может, он не боялся смерти, но, говорю вам, его пугала паника. Его проклятая фантазия рисовала ужасное зрелище — панику, стремительное бегство, раздирающие вопли, перевернутые шлюпки, — все самые страшные картины катастрофы на море, о каких он когда-либо слышал. Примириться со смертью он мог, но подозреваю, что он хотел умереть, не видя кошмарных сцен, — умереть спокойно, как бы в трансе. Известная готовность умереть наблюдается довольно часто, но редко встретите вы человека, облеченного в стальную непроницаемую броню решимости, который будет вести безнадежную борьбу до последней минуты: тяга к покою усиливается по мере того, как тает надежда, и побеждает наконец даже желание жить. Кто из нас не наблюдал такого явления? Быть может, вы сами испытали нечто подобное этому чувству — крайнюю усталость, сознание тщеты всяких усилий, страстную жажду покоя. Это хорошо известно тем, кто борется с безрассудными силами: потерпевшим кораблекрушение

и плывущим в шлюпках, путешественникам, заблудившимся в пустыне, людям, сражающимся с силами природы или тупым зверством толпы.

8

Сколько времени стоял он неподвижно у люка, ожидая с секунды на секунду, что судно опустится под его ногами, и поток воды ударит ему в спину и унесет, как щепку, — я не знаю. Не очень долго, — быть может, две минуты. Двое — он не мог их разглядеть — стали переговариваться сонными голосами, где-то послышалось шарканье ног. А над этими слабыми звуками нависла та страшная тишина, какая предшествует катастрофе, — тягостное затишье перед ударом. Тут ему пришло в голову, что, пожалуй, он успеет взбежать наверх и перерезать все талрепы, чтобы шлюпки не затонули, когда судно пойдет ко дну.

На «Патне» был длинный мостик, и все шлюпки находились наверху — четыре с одной стороны и три с другой, — самые маленькие на левом борту, против штурвала. Джим говорил с беспокойством, боясь, что я ему не поверю: больше всего он заботился о том, чтобы в нужный момент шлюпки были наготове. Свой долг он знал и в этом смысле, полагаю, был хорошим штурманом.

— Я всегда считал, что нужно быть готовым к

худшему, — пояснил он, тревожно вглядываясь в мое лицо.

Я кивком одобрил этот здравый принцип и отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с человеком, в котором чудилось мне что-то ненадежное.

Он бросился бегом, колени у него подгибались. Ему приходилось переступать через чьи-то ноги, обходить чьи-то головы. Вдруг кто-то схватил его снизу за куртку, подле него раздался измученный голос. Свет фонаря, который он держал в правой руке, упал на темное лицо, обращенное к нему, глаза молили так же, как и голос. Джим достаточно усвоил язык, чтобы понять слово «вода», это слово было сказано несколько раз тоном настойчивым, умоляющим — почти с отчаянием. Он рванулся, чтобы высвободиться, и почувствовал, как рука обхватила его ногу.

— Бедняга цеплялся за меня, словно утопающий, — выразительно сказал Джим. — Вода, вода! О какой воде он говорил? Что ему было известно? Стараясь говорить спокойно, я приказал ему отпустить меня. Он меня задерживал, время не ждало, люди кругом начинали шевелиться. Мне нужно было время — время, чтобы перерезать канаты шлюпок. Теперь он завладел моей рукой, и я чув-

ствовал, что он вот-вот заорет. У меня мелькнула мысль, что этого будет достаточно, чтобы вызвать панику, и я размахнулся свободной рукой и ударил его фонарем по лицу. Стекло зазвенело, свет погас, но удар заставил его выпустить меня, и я пустился бежать — я хотел добраться до шлюпок… я хотел добраться до шлюпок. Он прыгнул на меня сзади. Я повернулся к нему. Нельзя было заткнуть ему глотку; он пытался кричать. Я чуть не задушил его раньше, чем понял, чего он хочет. Он просил воды — воды напиться; видите ли, они были на строгом рационе, а с ним был мальчик, которого я несколько раз видел. Ребенок был болен — хотел пить. Отец, заметив меня, когда я проходил мимо, попросил воды: вот и все. Мы находились под мостиком, в темноте. Он все цеплялся за мои руки, невозможно было от него отделаться. Я бросился в каюту, схватил свою бутылку с водой и сунул ему в руки. Он исчез. Тут только я понял, как мне самому хочется пить.

Он оперся на локоть и прикрыл глаза рукой.

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине; что-то странное было во всем этом. Пальцы его руки, прикрывавшей глаза, чуть-чуть дрожали. Он прервал короткое молчание.

— Такое случается лишь раз в жизни и… ну,

ладно! Когда я добрался до мостика, негодяи спускали одну из шлюпок с блоков. Шлюпку! Когда я взбегал по трапу, кто-то тяжело ударил меня по плечу, едва не задев голову. Это меня не остановило, и старший механик — к тому времени они подняли его с койки — снова замахнулся упоркой для ног со шлюпки. Почему-то я был так настроен, что ничему не удивлялся. Все это казалось вполне естественным — и ужасным… ужасным. Я увернулся от несчастного маньяка и поднял его над палубой, словно он был малым ребенком, а он зашептал, пока я держал его на руках:

«Не надо! Не надо! Я вас принял за одного из этих чернокожих…»

Я отшвырнул его, он покатился по мостику и сбил с ног того маленького парнишку — второго механика. Шкипер, возившийся у шлюпки, оглянулся и направился ко мне, опустив голову и ворча, словно дикий зверь. Я не шевельнулся и стоял, как каменный. Я стоял так же неподвижно, как эта стена.

Он легонько ударил суставом пальца по стене у своего стула.

— Было так, словно все это я уже видел, слышал, пережил раз двадцать. Я их не боялся. Я оттянул назад кулак, а он остановился, бормоча:

«А, это вы! Помогите нам. Живее!»

Вот все, что он сказал. Живее! Словно можно было успеть!

«Вы хотите что-то сделать?» — спросил я.

«Да. Убраться отсюда», — огрызнулся он через плечо.

Кажется, тогда я не понял, что именно он имел в виду. К тому времени те двое поднялись на ноги и вместе бросились к шлюпке. Они топтались, пыхтели, толкали, проклинали шлюпку, судно, друг друга, проклинали меня. Вполголоса. Я не шевелился, молчал. Я смотрел, как накреняется судно. Оно лежало совершенно неподвижно, словно на блоках, в сухом доке, — но держалось-оно вот так.

Он поднял руку, ладонью вниз, и согнул пальцы.

— Вот так, — повторил он. — Я ясно видел перед собой линию горизонта, над верхушкой форштевня; я видел воду там, вдали, черную, и сверкающую, и неподвижную, словно в заводи; таким неподвижным море никогда еще не бывало, и я не мог это вынести. Видали ли вы когда-нибудь судно, плывущее с опущенным носом? Судно, которое держится на воде лишь благодаря листу старого железа, слишком ржаво-

го, чтобы можно было его подпереть? Видали? О да, — подпереть! Я об этом подумал — я подумал решительно обо всем: но можете вы подпереть за пять минут переборку… или хотя бы за пятьдесят минут? Где мне было достать людей, которые согласились бы спуститься туда, вниз? А дерево… дерево! Хватило бы у вас мужества ударить хоть раз молотком, если бы вы видели эту переборку? Не говорите, что вы бы это сделали, — вы ее не видели; никто бы не сделал. Черт возьми! Чтобы сделать такую штуку, вы должны верить, что есть хоть один шанс на тысячу, хотя бы призрачный; а вы не могли бы поверить. Никто бы не поверил. Вы думаете, я трус, потому что стоял там, ничего не делая, но что сделали бы вы? Что? Вы не можете сказать, никто не может. Нужно иметь время, чтобы оглядеться. Что, по-вашему, я должен был делать? Что толку было пугать до смерти всех этих людей, которых я один не мог спасти, — которых ничто не могло спасти? Слушайте! Это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами…

После каждого слова он быстро переводил дыхание и взглядывал на меня, словно в тревоге своей не переставал наблюдать за моими впечатлениями. Не ко мне он обращался, — он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут

с невидимым лицом, враждебным и неразлучным спутником его жизни — совладельцем его души. То было следствие, которое не судьям вести! То был тонкий и важный спор об истинной сущности жизни, и присутствие судьи было излишне. Джим нуждался в союзнике, помощнике, соучастнике. Я почувствовал, какому риску себя подвергаю: он мог меня обойти, ослепить, обмануть, запугать, быть может, чтобы я сказал решающее слово в диспуте, где никакое решение невозможно, если хочешь быть честным по отношению ко всем призракам — как почтенным, имеющим свои права, так и постыдным, предъявляющим свои требования. Я не могу объяснить вам, не видавшим его и лишь слушающим его слова от третьего лица, — не могу объяснить смятение своих чувств. Казалось, меня вынуждали понять непостижимое, и я не знаю, с чем сравнить неловкость такого ощущения. Меня заставляли видеть условность всякой правды и искренность всякой лжи. Он апеллировал сразу к двум лицам — к лицу, которое всегда обращено к дневному свету, и к тому лицу, какое у всех нас — подобно другому полушарию луны — обращено к вечной тьме и лишь изредка видит пугающий пепельный свет. Он заставлял меня колебаться.

Я признаюсь в этом, каюсь. Случай был незначительный, если хотите: погибший юноша, один из миллиона, — но ведь он был одним из нас; инцидент, лишенный всякого значения, подобно наводнению в муравейнике, и тем не менее тайна его поведения приковала меня, словно он был представителем своей породы, словно темная истина была настолько важной, что могла повлиять на представление человечества о самом себе…

Марлоу приостановился, чтобы разжечь потухающую сигару, и, казалось, позабыл о своем рассказе; потом неожиданно заговорил снова.

— Конечно, моя вина! Действительно, не мое дело было интересоваться. Это моя слабость. А его слабость была иного порядка. Моя же заключается в том, что я не вижу случайного, внешнего, — не признаю различия между мешком тряпичника и тонким бельем первого встречного. Первый встречный! Вот именно! Я видел стольких людей! — с грустью сказал он. — С иными я… ну, скажем, соприкасался — все равно, как с этим парнем, — и всякий раз я видел перед собой лишь человеческое существо. У меня проклятое демократическое зрение; быть может, оно лучше, чем полная слепота, но никакой выгоды от этого нет

— могу вас уверить. Люди хотят, чтобы принимали во внимание их тонкое белье. Но я никогда не мог с восторгом относиться к таким вещам. О, это — ошибка; это — ошибка! А потом, в тихий вечер, когда компания слишком разленилась, чтобы играть в вист, приходит время и для рассказа…

Марлоу снова умолк, быть может, ожидая ободряющего замечания, но все молчали, только хозяин, как бы с неохотой выполняя долг, прошептал:

— Вы так утонченны, Марлоу.

— Кто? Я? — тихо сказал Марлоу. — О нет! Но он — Джим — был утончен; и как бы я ни старался получше рассказать эту историю, я все равно пропускаю множество оттенков — они так тонки, так трудно передать их бесцветными словами. А он осложнял дело еще и тем, что был так прост, бедняга!.. Ей-богу, он был удивительным парнем. Он говорил мне, — ничто бы его не испугало, «это так же верно, как и то, что он сидит передо мной». И ведь он в это верил! Говорю вам, это было чудовищно наивно… и… ошеломляло! Я наблюдал за ним исподтишка, словно заподозрил его в намерении меня взбесить. Он был уверен, что, по чести, — заметьте, «по чести»! — ничто не могло его испугать. Еще с тех пор как он был

«вот таким», — «совсем мальчишкой», — он готовился ко всяким трудностям, с какими можно встретиться на суше и на море. Он с гордостью признавался в своей предусмотрительности. Он измышлял все возможные опасности и способы обороны, ожидая худшего, готовясь ко всему. Должно быть, он всегда пребывал в состоянии экзальтации. Можете вы это себе представить? Ряд приключений, столько славы, такое победное шествие! И каждый день своей жизни, венчал он глубоким сознанием собственной своей проницательности. Он забылся; глаза его сияли; и с каждым его словом мое сердце, опаленное его нелепостью, все сильнее сжималось. Мне было не до смеха, а чтобы не улыбнуться, я сидел с каменным лицом. Он стал проявлять все признаки раздражения.

— Всегда случается неожиданное, — сказал я примирительным тоном. Моя тупость вызвала у него презрительное восклицание: «Ха!» Полагаю, он хотел этим сказать, что неожиданное не могло его затронуть; одно непостижимое могло одержать верх над его подготовленностью. Он был застигнут врасплох и шепотом проклинал море и небо, судно и людей. «Все его предали!» Им овладела та высокомерная покорность, которая

мешала ему пошевельнуть мизинцем, в то время как остальные трое, отчетливо уяснившие себе требования данной минуты, в отчаянии толкались и потели над шлюпкой. Что-то у них там не ладилось. Очевидно, второпях они как-то ухитрились защемить болт переднего блока шлюпки и, поняв, чем грозит им оплошность, окончательно лишились рассудка. Должно быть, славное это было зрелище: бешеные усилия этих негодяев, которые копошились на неподвижном судне, застывшем в молчании спящего мира, боролись за освобождение шлюпки, ползали на четвереньках, вскакивали в отчаянии, толкали, ядовито огрызались друг на друга — на грани убийства, на грани слез, готовы были вцепиться друг другу в горло, а удерживал их только страх смерти, которая молча стояла за ними, словно непоколебимый и хладнокровный надсмотрщик. О да! Зрелище было недурное. Он видел это все, мог говорить об этом с презрением и горечью; мельчайшие детали он воспринял каким-то шестым чувством, ибо клялся мне, что стоял в стороне и не смотрел ни на них, ни на шлюпку, — не бросил ни единого взгляда. И я ему верю. Думаю, он был слишком поглощен созерцанием грозно накренившегося судна, угрозой, возникшей в момент

полной безопасности, — был зачарован мечом, висящим на волоске над его головой фантазера.

Весь мир застыл перед его глазами, и он легко мог себе представить, как взметнется вверх темная линия горизонта, поднимется внезапно широкая равнина моря — быстрый, спокойный подъем, зверский бросок, зияющая бездна, борьба без надежды, звездный свет, навеки смыкающийся над головой, как свод склепа, — как восстает против этого юность! — и… конец во тьме. Он мог это себе представить! Клянусь, всякий бы мог! И не забудьте, — он был законченным художником в этой области, одаренным способностью быстро вызывать видения, предшествующие событиям. И картина, какую он вызвал, превратила его в холодный камень; но в мозгу его мысли кружились в дикой пляске, пляске хромых, слепых, немых мыслей — вихрь страшных калек. Говорю вам, он исповедовался мне, словно я наделен был властью отпускать и вязать. Он забирался в глубь души, надеясь получить от меня отпущение, которое не принесло бы ему никакой пользы. То был один из тех случаев, когда самый святой обман не даст облегчения, ни один человек не может помочь и даже творец покидает грешника на произвол судьбы.

Он стоял на штирборте мостика, отойдя подальше от того места, где шла борьба за шлюпку. А борьбу вели с безумным возбуждением и втихомолку, словно заговорщики. Два малайца по-прежнему сжимали спицы штурвала. Вы только представьте себе действующих лиц в этом, слава богу, необычном эпизоде на море, — представьте себе этих четверых, обезумевших от яростных и тайных усилий, и тех троих, неподвижных зрителей; они стояли на мостике, над тентом, скрывающим глубокое неведение нескольких сотен усталых человеческих существ с их грезами и надеждами, задержанных невидимой рукой на грани гибели. Ибо я не сомневаюсь, что так оно и было: принимая во внимание состояние судна, нельзя себе представить большей опасности. Те негодяи у шлюпки недаром обезумели от страха. Откровенно говоря, будь я там, я бы не дал и фальшивого фартинга за то, что судно продержится до конца следующей секунды. И все-таки оно держалось на воде! Эти спящие паломники обречены были завершить свое паломничество и изведать горечь какого-то иного конца. Казалось, всемогущий, в чье милосердие они верили, нуждался в их смиренном свидетельстве на земле и, глянув вниз, повелел океану: «Не тронь их!» Это спасение

я счел бы загадочным и необъяснимым явлением, если б не знал, как крепко может быть старое железо, — не менее крепко, чем дух иных людей, с какими нам иногда приходится встречаться, — людей, исхудавших, как тени, и несущих на своих плечах груз жизни. Не менее удивительно, на мой взгляд, и поведение двух рулевых в течение этих двадцати минут. Их привезли из Адена вместе с прочими туземцами дать показание на суде. Один из них, страшно застенчивый, с желтой веселой физиономией, был очень молод, а выглядел еще моложе. Помню, как Брайерли спросил его через переводчика, о чем он в то время думал, а переводчик, обменявшись с ним несколькими словами, внушительно заявил:

— Он говорит, что ни о чем не думал.

У другого были терпеливые мигающие глаза, а его косматую седую голову украшал красиво обернутый синий бумажный платок, полинявший от стирки; лицо у него было худое, с запавшими щеками; его коричневая кожа от сети морщин казалась еще темнее. Он объяснял, что подозревал о какой-то беде, постигшей судно, но никакого приказания не получал; он не помнит, чтобы ему отдавали какое-нибудь приказание; зачем же ему было бросать штурвал? Отвечая на следующие во-

просы, он передернул тощими плечами и заявил: тогда ему и в голову не приходило, что белые собираются покинуть судно, боясь смерти. Он и теперь этому не верит. Могли быть какие-нибудь тайные причины. Он глубокомысленно замотал своей старой головой. Ага! Тайные причины. Он был человек с большим опытом и желал, чтобы этот белый тюан знал — тут он повернулся в сторону Брайерли, который не поднял головы, — знал, что он приобрел большие знания на службе у белых людей; много лет он служил на море. И вдруг, дрожа от возбуждения, он излил на нас — зачарованных слушателей — поток странно звучащих имен; то были имена давно умерших шкиперов, названия забытых местных судов, — звуки знакомые и искаженные, словно рука немого времени стирала их в течение нескольких веков. Наконец его прервали. Спустилось молчание — молчание, длившееся по крайней мере минуту и мягко перешедшее в тихий шепот. Этот эпизод явился сенсацией второго дня следствия, затронув всю аудиторию, затронув всех, кроме Джима, который угрюмо сидел с краю на первой скамье и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на этого необыкновенного и пагубного свидетеля, казалось, овладевшего какой-то таинственной

теорией защиты.

Итак, эти два матроса остались у штурвала судна, остановившегося на своем пути; здесь и настигла бы их смерть, если бы так было им суждено. Белые не подарили их ни единым взглядом, — быть может, забыли об их существовании. Во всяком случае, Джим о них не вспомнил. Он ничего не мог сделать теперь, когда был один. И делать было нечего; оставалось лишь затонуть вместе с судном. Не стоило поднимать из-за этого суматохи. Не так ли? Он ждал, выпрямившись, молчаливый; его поддерживала вера в героическую рассудительность. Старший механик осторожно перебежал мостик и дернул Джима за рукав.

— Помогите же! Ради бога, идите помогите!

Затем на цыпочках побежал к шлюпке, но тотчас же вернулся и снова уцепился за его рукав, умоляя и в то же время ругаясь.

— Кажется, он готов был целовать мне руки, — злобно сказал Джим, — а через секунду он зашептал с пеной у рта: «Будь у меня время, я бы с удовольствием проломил вам череп».

Я оттолкнул его. Вдруг он обхватил меня за шею. Черт бы его побрал! Я его ударил. Ударил, не глядя. Тогда он, всхлипывая, взмолился:

«Не хочешь, что ли, себя самого спасти, проклятый ты трус!»

Трус! Он меня назвал проклятым трусом! Ха-ха-ха! Он меня назвал… ха-ха-ха!..

Джим откинулся на спинку стула и весь трясся от смеха. Никогда я не слыхал такого горького смеха. Он упал, словно зловещий туман, на все эти веселые разговоры об ослах, пирамидах, базарах… Затихли голоса людей, беседовавших на длинной, тускло освещенной галерее, бледные пятна лиц одновременно повернулись в нашу сторону, наступило такое глубокое молчание, что звон чайной ложки, упавшей на мозаичный пол веранды, прозвучал тонким серебристым воплем.

— Нельзя так смеяться при всех этих людях, — упрекнул его я. — Это, знаете ли, не годится.

Он как будто меня не слышал, но потом поднял глаза и, пристально глядя мимо меня, словно всматриваясь в страшное видение, пробормотал небрежно:

— О, они подумают, что я пьян.

Затем он принял такой вид, как будто никогда больше не произнесет ни слова. Но не тут-то было! Он уже не мог остановиться, как не мог оборвать жизнь одним напряжением воли.

9

— Я говорил мысленно: «Тони же, проклятое! Ступай ко дну!»

Этими словами он продолжил свой рассказ. Он хотел, чтобы все было кончено. Он остался совершенно один и, проклиная, взывал в то же время к судну, — поскольку я могу судить, он наслаждался привилегией быть свидетелем жалкой комедии. Те все еще возились у болта. Шкипер отдал приказание:

— Подлезьте и постарайтесь поднять.

Остальные, естественно, противились. Вы понимаете, лежать, распластавшись под килем шлюпки, — положение не из приятных, если судно в эту минуту внезапно пойдет ко дну.

— Почему вы не лезете? Ведь вы самый сильный! — захныкал маленький механик.

— Проклятие! Я слишком толст, — в отчаянии буркнул шкипер.

Зрелище было такое забавное, что ангелы могли заплакать. Секунду они стояли растерянные, и вдруг старший механик снова обратился к Джиму:

— Помогите же, старина! С ума вы, что ли, сошли? Ведь это же единственный шанс на спасение! Помогите! Посмотрите, посмотрите туда!

И наконец Джим посмотрел в сторону кормы, куда с настойчивостью маньяка показывал механик. Он увидел грозную черную тучу, уже поглотившую одну треть неба. Вы знаете, как налетают такие шквалы в это время года. Сначала вы видите, как темнеет горизонт, — и только; потом поднимается облако, плотное, как стена. Прямой край облака, обрамленный слабыми беловатыми отблесками, надвигается с юго-запада, поглощая звезды — одно созвездие за другим; тень его плывет над водой, и море и небо обволакиваются мраком. И все тихо. Ни грома, ни ветра, ни звука, ни вспышки молнии. Затем во мраке вселенной встает сине-багровая арка; проходят одна-две волны — кажется, будто мрак вздымается валами, — и вдруг налетают ветер и дождь, ударяют с такой силой, словно прорвались через что-то твердое. Такая туча и надвинулась, пока они не смотрели на небо. Они только что ее заметили и сделали совершенно правильный вывод: если при полном затишье у судна есть кое-какие шансы продержаться еще несколько минут на воде, то малейшее волнение тотчас же приведет

к концу. Первая встреча с волной, предшествующей шквалу, будет и последней; судно нырнет и будет опускаться все ниже, ниже, до самого дна. Вот чем объяснялись эти новые судороги страха, новые корчи, в которых выражали они свое крайнее отвращение к смерти.

— Было черным-черно, — продолжал Джим с угрюмым упорством. — Туча подползла к нам сзади. Проклятая! Должно быть, где-то еще копошилась во мне надежда. Не знаю. Но теперь с этим было покончено. Меня бесило, что я так попался. Я злился, словно меня поймали в западню. Да так оно и было! И ночь, помню, была жаркая. Ни малейшего ветерка.

Он помнил это так хорошо, что, сидя передо мной на стуле, казалось, задыхался и обливался потом. Несомненно, он был взбешен; то был новый удар для него, но этот удар напомнил ему о том важном деле, ради которого он бросился на мостик, чтобы тотчас же о нем позабыть. Он намеревался перерезать канаты, привязывавшие шлюпки к судну. Он выхватил нож и принялся за работу так, словно ничего не видел, ничего не слышал, никого не замечал. Они сочли его безнадежно помешанные но не осмелились шумно выражать протест против этой бесполезной тра-

ты времени. Покончу с этим делом, он вернулся на то самое место, где Стоял раньше. Старший механик тотчас же за Него ухватился и зашептал с такой злобой, словно хотел укусить его за ухо:

— Безмозглый идиот! Вы думаете, вам удастся спастись, когда вся эта орава очутится в воде? Да они вам голову прошибут и не подпустят к шлюпкам.

Он ломал руки, а Джим словно и не замечал его. Шкипер нервно топтался на одном месте и бормотал:

— Молоток! Молоток! Mein Gott![7] Принесите же молоток!

Маленький механик хныкал, как ребенок, но, хотя рука у него и была сломана, он оказался разумнее своих товарищей и, собравшись с духом, бросился в машинное отделение. По справедливости следует признать, что это было дело нешуточное. Джим сказал мне, что у механика вид был отчаянный, как у человека, загнанного в тупик; он тихонько завыл и ринулся вперед. Вернулся он тотчас же с молотком в руке и, не мешкая, бросился к болту. Остальные немедленно отступились от Джима и побежали ему помогать.

---

[7] Примечания: 7
Боже мой! (нем.)

Джим слышал, как постукивал молоток, слышал звук падающего болта. Шлюпка была готова к спуску. Только тогда посмотрел он в ту сторону — только тогда. Но он не двинулся с места — не двинулся с места. Он хотел втолковать мне, что он не двинулся с места, что ничего общего не было между ним и теми людьми… теми людьми с молотком. Ничего общего! Более чем вероятно, что он считал себя отделенным от них пространством, которого нельзя перейти, — препятствием непреодолимым, пропастью бездонной. Он стоял от них так далеко, как только было возможно, — на другом конце мостика.

Его ноги были прикованы к этому месту, а глаза — к этой группе людей, наклонявшихся и странно, словно в тумане, раскачивавшихся, объятых единым страхом. Ручной фонарь, подвешенный к пиллерсу над маленьким столиком на мостике, — на «Патне» не было рубки посредине, — освещал напрягавшиеся в усилии плечи, то сгибавшиеся, то разгибавшиеся спины. Они налегали на нос шлюпки; они выталкивали ее в ночь и больше уже не оглядывались в его сторону. Они отказались от него, словно он действительно был слишком далеко, безнадежно далеко от них, и не стоило бросать ему призыв, взгляд или

знак. Им некогда было взирать на его пассивный героизм, почувствовать укор, таившийся в его сдержанности. Шлюпка была тяжелая; они налегали на нос, не тратя сил на подбадриванья; но ужас, развеявший их самообладание, как ветер раскидывает солому, превращал их отчаянные усилия в фарс, а их самих уподоблял кувыркающимся клоунам в цирке. Они толкали руками, головой, налегали всем телом, напрягали все свои силы, и едва им удалось столкнуть нос со шлюпбалки, как все они, как один человек, стали карабкаться в шлюпку. В результате она резко качнулась, оттолкнув их назад, беспомощных, натыкающихся друг на друга. Секунду они стояли ошеломленные, злобным шепотом обмениваясь всеми ругательствами, какие только приходили им на ум; затем снова принялись за дело. И так повторялось три раза. Джим описывал мне это угрюмо и задумчиво. Он не упустил ни единой детали комичного зрелища.

— Я проклинал их. Ненавидел. Я должен был смотреть на все это, — сказал он каким-то безразличным тоном, мрачно и пристально вглядываясь в меня. — Подвергался ли кто такому постыдному испытанию!

Он сжал голову руками, как человек, дове-

денный до безумия каким-то невероятным оскорблением. Было кое-что, чего он не мог объяснить суду — и даже мне; но я был бы недостоин принимать его признания, если бы не сумел понять паузы между словами. В этом натиске на его стойкость была насмешка злобная, порочная, мстительная; был элемент шутовской в его испытании — унизительные комичные гримасы перед лицом надвигающейся смерти или бесчестия.

Он излагал факты, которых я не забыл, но по прошествии стольких лет я не могу вспомнить подлинные его слова, — помню только, что он удивительно хорошо сумел окрасить мрачной своей ненавистью перечень голых фактов. Дважды, сказал он мне, он закрывал глаза, уверенный, что конец наступает, и дважды приходилось ему снова их открывать. Каждый раз он замечал, что тьма все сгущается. Тень немого облака упала с зенита на судно и словно задушила все звуки, выдававшие присутствие живых существ. Он уже не слышал больше голосов под тентом. По его словам, всякий раз, когда он закрывал глаза, вспышка мысли ярко освещала эту груду тел, распростертых у грани смерти. Открывая глаза, он смутно видел борьбу четверых, бешено сражавшихся с упрямой шлюпкой.

— Время от времени они падали навзничь, вскакивали, ругаясь, и вдруг снова кидались все вместе к шлюпке… Можно было хохотать до упаду, — добавил он, не поднимая глаз. Потом взглянул на меня с грустной улыбкой. — Меня ждет веселенькая жизнь! Ведь я еще много раз до самой смерти буду видеть это забавное зрелище.

Он снова опустил глаза.

— Видеть и слышать… видеть и слышать, — повторил он дважды, с большими паузами, глядя в пространство.

Он снова встрепенулся.

— Я решил не открывать глаза, — сказал он, — и не мог. Не мог, — и пусть все это знают — мне все равно! Пусть это испытают те, что вздумают осуждать меня. Пусть они найдут иной, лучший выход! Вторично глаза мои раскрылись — да и рот тоже. Я почувствовал, что судно движется. Оно чуть накренилось и поднялось тихонько — медленно, ужасно медленно! Этого не было в течение многих дней. Облако пронеслось над головой, и первый вал, казалось, пробежал по свинцовому морю. В этом движении не было жизни. Однако у меня в мозгу что-то перевернулось. Что бы вы сделали? Вы уверены в себе, не так ли? Что бы вы сделали, если бы почувствовали сейчас — сию

минуту, — что этот дом чуть-чуть движется, пол качается под вашим стулом? Вы бы прыгнули. Клянусь небом, вы бы прыгнули с того места, где сидите, и очутились вон в тех кустах внизу.

Он вытянул руку в темноту за каменной балюстрадой. Я не пошевельнулся. Он смотрел на меня очень пристально, очень сурово. Двух мнений быть не могло: сейчас меня запугивали, и мне следовало сидеть неподвижно, безмолвно, чтобы не сделать рокового признания, как поступил бы я, а это признание имело бы отношение и к случаю с Джимом. Я не намерен был подвергать себя такому риску. Не забудьте — он сидел передо мной, и, право же, он слишком походил на нас, чтобы не быть опасным. Но, если хотите знать, я быстрым взглядом измерил пространство, отделявшее меня от пятна сгущенного мрака на лужайке перед верандой. Он преувеличил. Я не допрыгнул бы на несколько футов… только в этом я и был уверен.

Настал, как он думал, последний момент, но Джим не шевелился. Его ноги по-прежнему были словно пригвождены к палубе, но мысли кружились в голове. И в тот же момент он увидел, как один из тех, что толкались у шлюпки, внезапно попятился, взмахнул руками, словно ловя воздух,

споткнулся и упал. Собственно, он не упал, а тихонько опустился, принял сидячее положение и сгорбился, прислонившись спиной к светлому люку машинного отделения.

— То был кочегар. Тощий, бледный парень с растрепанными усами. Исполнял обязанности третьего механика, — пояснил Джим.

— Умер, — сказал я. Об этом шла речь на судне.

— Так говорят, — произнес Джим с мрачным равнодушием. — Конечно, я этого не знал. Слабое сердце. Он уже несколько дней жаловался, что ему не по себе. Волнение. Чрезмерное напряжение. Черт его знает что. Ха-ха-ха! Нетрудно было заметить, что ему тоже не хотелось умирать. Забавно, правда? Пусть меня пристрелят, если он не был одурачен и не навлек на себя смерти. Одурачен, вот именно! клянусь небом, одурачен так же, как и я… Ах! Если б только он послал их к черту, когда они подняли его с койки, потому что судно тонуло. Если бы он засунул руки в карманы и обругал этих людей!

Он встал, потряс кулаком, взглянул на меня и снова сел.

— Упустил случай, да? — прошептал я.

— Почему вы не смеетесь? — сказал он. — Шутка, задуманная в преисподней. Слабое сердце!..

Иногда мне хочется, чтобы у меня было слабое сердце.

Это меня рассердило.

— Вам хочется? — воскликнул я с глубокой иронией.

— Да! Неужели вы не можете это понять? — крикнул он.

— Не знаю, зачем вам желать больше того, что у вас есть, — сердито сказал я.

Он посмотрел на меня, ничего не понимая. Эта стрела тоже пролетела мимо мишени, а он был не из тех, что задумываются над зря потраченными стрелами. Честное слово, он решительно ничего не подозревал, с ним нужно было себя вести по-иному. Я был рад, что моя стрела пролетела мимо, — рад был, что он даже не слыхал, как я отпустил тетиву.

Конечно, в то время он не мог знать, что кочегар умер. Следующая минута — последняя, которую он провел на борту, — была заполнена событиями и ощущениями, налетавшими на него, как волны на скалу. Я умышленно пользуюсь этим сравнением, ибо, веря его рассказу, склонен думать, что он все время сохранял странную иллюзию пассивности, словно сам он не действовал, а лишь отдавался на волю тех адских

сил, которые его избрали жертвой своей шутки. Первое, что он услышал, был скрежещущий звук тяжелых шлюпбалок, которые, наконец, повернулись, — этот скрежет словно проник в его тело с палубы через подошвы ног и поднялся по спинному хребту к мозгу. Шквал был близок, и вторая, более высокая волна угрожающе подняла покорный кузов судна, а мозг и сердце Джима пронзили панические вопли:

«Спускайте! Ради бога, спускайте! Судно тонет!»

Вслед за этим канаты побежали по блокам, а под тентом раздались испуганные голоса.

— Они подняли такой крик, что могли разбудить мертвого, — сказал Джим.

Затем, когда шлюпка с плеском буквально упала наконец на воду, послышался глухой стук падающих в нее тел и нестройные крики:

— Отцепляйте! Отцепляйте! Оттолкнитесь! Шквал надвигается…

Он услыхал высоко над своей головой слабое бормотанье ветра; внизу, у его ног, прозвучал болезненный крик. Чей-то голос у борта стал проклинать гак у блока. На носу и корме судна раздалось жужжание, словно в потревоженном улье. Джим рассказывал очень спокойно

— спокойны были его поза, лицо, голос, и так же спокойно он произнес без малейшего предупреждения:

— Я споткнулся об его ноги…

Вот как я впервые услышал о том, что он сдвинулся с места. Невольно я что-то проворчал от удивления. Наконец он сорвался с места, но о том, когда это произошло и что вывело его из оцепенения, он знал не больше, чем знает вырванное с корнем дерево о ветре, повергшем его на землю. Все это его ошеломило — звуки, тьма, ноги мертвого человека. Клянусь богом! Вся эта дьявольская история была навязана ему, но он не хотел согласиться с тем, что принял ее сознательно. Удивительно, как заразительно действовало на вас его заблуждение. Я слушал так, словно мне рассказывали о манипуляциях черной магии над трупом.

— Он перевернулся на бок, очень тихо, и это последнее, что я видел на борту, — продолжал Джим. — Мне не было дела до того, что с ним происходит. Похоже было — он поднимается. Конечно, я думал, что он встает. И ждал — он пробежит мимо меня к поручням и прыгнет в шлюпку вслед за остальными. Я слышал, как они возились там, внизу, и чей-то голос словно из

глубины шахты крикнул: «Джордж!» Затем все трое принялись вопить. Я отчетливо различал три голоса: один блеял, другой визжал, третий выл… ух!..

Он слегка вздрогнул, и я заметил, что он медленно приподнимается, как будто чья-то сильная рука поднимала его за волосы со стула. Медленно он встал, и когда выпрямился во весь рост, рука словно его отпустила, и он пошатнулся. Жутко спокойным было его лицо, движения и даже голос, когда он сказал:

— Они кричали.

И невольно я насторожился, как будто пытался уловить этот призрачный крик под фальшивым покровом молчания.

— Восемьсот человек находились на борту этого судна, — сказал он, пригвождая меня к спинке стула страшным, невидящим своим взглядом. — Восемьсот живых людей, а они звали одного мертвого, хотели его спасти:

«Прыгай, Джордж! Прыгай! Да прыгай же!»

Я стоял, положив руку на шлюпбалку. Я был очень спокоен. Тьма спустилась непроглядная. Не видно было ни неба, ни моря. Я слышал, как шлюпка ударялась о борт, и больше ни одного звука не доносилось оттуда, снизу, но на судне

подо мной стоял гул голосов.

«Mein Gott! Шквал! Шквал! Отталкивайте шлюпку!»

Когда раздался шум дождя и налетел первый порыв ветра, они подняли вой:

«Прыгай, Джордж! Мы тебя поймаем! Прыгай!»

Судно начало медленно опускаться на волне; водопадом обрушился ливень; фуражка слетела у меня с головы; дыхание сперлось. Я услышал издалека, словно стоял на высокой башне, еще один дикий вопль:

«Джо-о-ордж! Прыгай!»

Судно опускалось, опускалось под моими ногами, носом вниз…

Он задумчиво поднял руку и стал проводить пальцами по лицу, как будто снимая паутину; потом с полсекунды смотрел на свою ладонь и наконец отрывисто сказал:

— Я прыгнул… — Он запнулся. Отвел взгляд. — Кажется, прыгнул, — добавил он.

Его светлые голубые глаза смотрели на меня жалобно; глядя на него, стоящего передо мной, ошеломленного, как будто обиженного, — я испытывал странное ощущение: то была мудрая покорность и снисходительная, но глубокая жалость старика, беспомощного перед ребяческим

горем.

— Похоже на то, — пробормотал я.

— Я не знал этого, пока не поднял глаз, — торопливо объяснил он.

Что ж, и это было возможно. Приходилось его слушать, как слушают маленького мальчика, попавшего в беду. Он не знал. Каким-то образом это произошло. И вторично произойти не могло. Он прыгнул на кого-то и упал поперек скамьи. Ему казалось, что все ребра у него с левой стороны поломаны; потом он перевернулся на спину и увидел смутно вырисовывающееся над ним судно, с которого он только что дезертировал. Красный огонь пылал в пелене дождя, словно костер на гребне холма, окутанного туманом.

— Судно казалось высоким, выше стены. Оно вздымалось, словно утес, над шлюпкой… Я хотел умереть, — воскликнул он. — Возврата не было. Казалось; я прыгнул в колодезь — в бездонную пропасть…

10

Он переплел пальцы и расцепил их. Да, то была правда: он действительно прыгнул в бездонную пропасть. Он упал с высоты, на которую больше уже не мог подняться. К тому времени шлюпка пронеслась вперед мимо борта. Было слишком темно, чтобы они могли разглядеть друг друга; кроме того, их слепил и захлестывал дождь. Он сказал мне, что их словно увлекал поток в черной пещере. Они повернулись спиной к шквалу; шкипер, видимо, опустил весло за корму, чтобы вести шлюпку перед шквалом, и в течение двух-трех минут казалось, что настал конец мира — потоп и непроглядная тьма. Море шипело, «словно двадцать тысяч котлов». Это его сравнение, — не мое. Думаю, после первого порыва ветер стих; Джим сам заявил на следствии, что большого волнения в ту ночь не было. Он съежился на носу шлюпки и украдкой бросил взгляд назад. Он увидел желтый огонек на верхушке мачты, мутный, как последняя угасающая звезда.

— Я ужаснулся, что огонь все еще там, — сказал он.

Это его подлинные слова. Его привела в ужас мысль, что судно еще не затонуло. Несомненно, он хотел, чтобы отвратительная катастрофа произошла возможно скорее. Люди в шлюпке молчали. В темноте казалось, что она летит вперед, но, конечно, ход ее не мог быть скорым. Ливень пронесся дальше, и страшное, волнующее шипение моря замерло вдали вместе с ливнем. Слышен был лишь тихий плеск у бортов шлюпки. Кто-то громко стучал зубами. Рука коснулась спины Джима. Слабый голос сказал:

«Вы тут?»

Другой дрожащий голос выкрикнул:

«Оно затонуло!»

Они все вскочили на ноги и поглядели назад. Огня они не увидели. Все было черно. Мелкий холодный дождь хлестал их по лицу. Шлюпка слегка накренялась. Кто-то стучал зубами и дважды пытался сдержать дрожь, чтобы заговорить; наконец ему удалось сказать:

«К-как раз в-вов-время… Брр!»

Джим узнал голос старшего механика, угрюмо сказавшего:

«Я видел, как оно затонуло. Случайно я оглянулся».

Ветер почти стих.

В темноте они прислушивались, повернувшись к корме, словно надеялись услышать крики. Сначала Джим был благодарен, что ночь сокрыла от него страшную сцену, а потом знать об этом и ничего не видеть и не слышать показалось ему величайшим несчастьем.

— Странно, не правда ли? — прошептал он, прерывая свой несвязный рассказ.

Мне это не казалось странным. Должно быть, он подсознательно был убежден в том, что реальность не могла быть такой потрясающей, ужасной и мстительной, как страшная картина, созданная его воображением. Думаю, в этот момент сердце его вместило все страдание, а душа познала страх, ужас и отчаяние восьмисот человек, застигнутых в ночи внезапной и жестокой смертью. Иначе — как объяснить его слова:

— Мне казалось, что я должен выпрыгнуть из этой проклятой шлюпки и плыть назад… полмили… еще дальше… плыть к тому самому месту…

Как объяснить такой импульс? Понимаете ли вы его значение? Зачем возвращаться к тому месту? Почему не утопиться тут же, у борта шлюпки — если он думал топиться? Зачем возвращаться туда? Он хотел увидеть… словно должен был усыпить свое воображение мыслью о том, что все

кончено, и лишь после этого искать успокоения в смерти. Не верю, чтобы кто-нибудь из вас мог предложить другое объяснение. То было одно из тех странных, волнующих проблесков в тумане. То было необычайное разоблачение. Он сказал об этом так, как будто это была самая естественная вещь на свете. Он подавил этот импульс и тогда обратил внимание на тишину вокруг. Об этом он мне рассказал. Молчание моря и неба, необъятное, сомкнулось как смерть вокруг этих спасенных трепещущих жизней.

— Можно было услышать падение булавки, — сказал он; губы его странно подергивались, как у человека, который, рассказывая о каком-нибудь очень трогательном событии, старается овладеть собой. Молчание! Одному богу известно, как он это молчание воспринял в сердце своем.

— Я не думал, чтобы где-нибудь на земле могло быть так тихо, — произнес он. — Нельзя было отличить моря от неба; не на что было смотреть, нечего было слушать. Ни проблеска, ни тени, ни звука. Можно было подумать, что каждый клочок земли пошел ко дну и утонули все, кроме меня и этих негодяев в шлюпке.

Он склонился над столом и положил руку рядом с кофейными чашками, ликерными рюмками,

окурками сигар.

— Кажется, я этому верил. Все погибло и… все было кончено… — Он глубоко вздохнул. — …для меня.

Марлоу внезапно выпрямился и энергичным жестом отбросил свою сигару. Она прочертила красный след, словно игрушечная ракета, прорезавшая завесу ползучих растений. Никто не шевельнулся.

— Ну что же вы об этом думаете? — воскликнул Марлоу, внезапно оживляясь. — Разве он не был честен с самим собой? Его спасенная жизнь была кончена, ибо почва ушла у него из-под ног, не на что было ему смотреть и нечего слушать. Уничтожение — да! А ведь это было только облачное небо, спокойное море, неподвижный воздух. Только ночь, только молчание.

Так продолжалось несколько минут; потом они почувствовали — внезапно и единодушно — потребность болтать о своем спасении.

«Я с самого начала знал, что оно затонет!»

«Еще минута, и мы…»

«Еле-еле успели, ей-богу!»

Джим ничего не сказал. Затихший было ветер начал снова усиливаться, и ропот моря вторил

этой болтовне, последовавшей, как реакция, после минуты немого ужаса. Оно затонуло! Оно затонуло! Сомнений быть не могло. Ничем нельзя было помочь. Снова и снова они повторяли эти слова, как будто не могли остановиться. Они и не сомневались, что оно должно было затонуть. Огни исчезли. Ошибиться невозможно. Огни исчезли. Этого следовало ждать… Судно должно было затонуть… Джим заметил, что они говорили так, словно оставили позади только судно, без людей. Они решили, что затонуло оно быстро. Казалось, это доставило им какое-то удовольствие. Они уверяли друг друга, что на это потребовалось немного времени — «пошло ко дну, как лист железа». Старший механик заявил, что огонь на верхушке мачты упал «словно брошенная горящая спичка». Тут второй механик истерически захохотал: «Я р-рад. Я р-рад».

— Зубы его стучали, как трещотка, — сказал Джим, — и вдруг он захныкал. Он плакал и всхлипывал, как ребенок, захлебываясь и приговаривая: «О боже мой! О боже мой!» Он замолкал на секунду и вдруг снова начинал: «О моя бедная рука! О моя бедная рука!» Я чувствовал, что готов его прибить. Двое сидели на корме. Я едва мог различить их фигуры. Голоса доносились ко

мне — бормотанье, ворчанье. Тяжело было это выносить. Мне было холодно. И я ничего не мог поделать. Мне казалось, что, если я пошевельнусь, мне придется отправиться за борт и…

Его рука что-то нащупывала, коснулась ликерной рюмки; он быстро ее отдернул, словно притронулся к раскаленному углю. Я слегка подвинул бутылку и спросил:

— Не хотите ли еще?

Он сердито посмотрел на меня.

— Вы думаете, я не смогу это рассказать, не взвинчивая себя? — спросил он.

Компания кругосветных путешественников отправилась спать. Мы были одни; только в тени виднелась неясная белая фигура; заметив, что на нее смотрят, она скользнула вперед, приостановилась, затем безмолвно скрылась. Час был поздний, но я не торопил своего гостя.

Сидя, растерянный, в шлюпке, он услышал, как его спутники начали вдруг кого-то ругать.

«Чего ты не прыгал, сумасшедший?» — сказал чей-то ворчливый голос.

Старший механик слез с кормы и стал пробираться к носу, словно подхлестываемый злобным намерением разделаться «с величайшим идиотом на свете». Шкипер, сидевший на веслах,

хриплым голосом выкрикивал обидные эпитеты. Джим поднял голову и услышал имя «Джордж»; в то же время в темноте чья-то рука ударила его в грудь.

«Что ты можешь сказать в свое оправдание, дурак?» — осведомился кто-то в порыве справедливого негодования.

— Они напустились на меня, — сказал Джим, — они ругали меня… называя Джорджем.

Он взглянул на меня, попробовал улыбнуться, отвел глаза и продолжал:

— Этот маленький второй механик наклонился к самому моему носу: «Как, да ведь это проклятый штурман!»

«Что!» — заревел шкипер с другого конца шлюпки.

«Не может быть!» — взвизгнул старший механик. И тоже наклонился, чтобы заглянуть мне в лицо.

Ветер внезапно стих. Снова полил дождь, и мягкий таинственный шум, каким море отвечает на ливень, поднялся со всех сторон в ночи.

— Сначала они были слишком ошеломлены, чтобы тратить много слов, — стойко рассказывал Джим, — а что мне было им сказать? — Он запнулся, потом с усилием продолжал: — Они

называли меня скверными именами…

Голос его, пониженный до шепота, вдруг зазвучал громко, окрепнув от презрения, словно речь шла о каких-то неслыханных мерзостях.

— Все равно, как бы они меня ни называли, — угрюмо сказал он. — Ненависть звучала в их голосах. Недурное дело! Они не могли простить мне, что я очутился в шлюпке. Эта мысль была им ненавистна. Они обезумели… — Он как-то странно рассмеялся… — Но это удержало меня от… Смотрите! Я сидел, скрестив руки, на носу, на планшире…

Он ловко уселся на край стола и скрестил руки…

— Вот так — понимаете? Достаточно было чуть-чуть откинуться назад, и я бы отправился… вслед за остальными. Чуть-чуть откинуться…

Он нахмурился и, коснувшись средним пальцем лба, многозначительно сказал:

— Эта мысль все время была у меня в голове. Все время… А дождь, холодный, как растаявший снег, — нет, еще холоднее — падал на мой тонкий бумажный костюм… Никогда мне не будет так холодно. И небо было черное, совсем черное. Ни единой звезды, ни проблеска света — ничего за пределами этой проклятой шлюпки и этих двоих,

которые тявкали на меня, словно дворняжки на вора, загнанного на дерево. «Тяв! Тяв! Что ты тут делаешь? Хорош, нечего сказать! Здесь не место для такой особы, как ты! Что, ты уже не такой очумелый? Влез в шлюпку? Да? Тяв! Тяв!» Эти двое старались перекричать друг друга. Шкипер лаял с кормы; за завесой дождя его нельзя было разглядеть; он выкрикивал ругательства на своем грязном жаргоне. «Тяв! Тяв! Гау, гау, гау! тяв, тяв!» Приятно было их слушать. Уверяю вас, это меня возбуждало. Это спасло мне жизнь. А они все орали, словно хотели криком свалить меня за борт… «Как это ты набрался храбрости прыгнуть? Ты здесь не нужен. Если б я знал, кто здесь сидит, я б тебя швырнул за борт, проклятый хорек! Что ты сделал с механиком? Как это ты решился прыгнуть, трус? И почему бы нам троим не швырнуть тебя за борт?..»

Они задохлись от крика. Ливень прекратился. И снова тишина. Ни звука не слышно было вокруг шлюпки. Они хотели отправить меня за борт! Ну что ж, их желание исполнилось бы, если б только они сидели молча. Швырнуть за борт! Пошли бы они на это? «Попробуйте», — сказал я. «За два пенса я бы швырнул!»

«Не стоит пачкаться!» — взвизгнули они оба.

Было так темно, что я мог различить их только, когда они шевелились. А право, жаль, что они не попытались!

Я невольно воскликнул:

— Какое необычайное положение!

— Недурно, а? — сказал он, словно в оцепенении. — Они, кажется, думали, что я почему-то прикончил того кочегара. Зачем мне было это делать? И как я мог знать? Ведь попал же я каким-то образом в шлюпку. В шлюпку… я.

Мускулы вокруг его рта сократились, и гримаса прорезала маску, скрывавшую его лицо, — сильная, мимолетная судорога, словно вспышка молнии, освещающая на секунду тайные извивы облака.

— Я прыгнул. Несомненно, я сидел с ними в шлюпке, — не так ли? Не ужасно ли: что-то побудило человека сделать такую вещь, а потом на него ложится ответственность! Что я знал об их Джордже, из-за которого они подняли вой? Помню, я видел, как он лежал скорчившись на палубе.

«Убийца и трус!» — выкрикивал старший механик. Казалось, только эти два слова и приходили ему на память. Мне было все равно, но этот крик начал меня раздражать.

«Замолчи», — сказал я. Тут он собрался с силами и отчаянно завопил:

«Ты его убил! Ты его убил!»

«Нет, — крикнул я, — но тебя я сейчас убью!»

Я вскочил, он с грохотом упал назад через скамью. Я не знаю, как это произошло. Было слишком темно. Должно быть, он хотел попятиться. Я стоял неподвижно, повернувшись лицом к корме, а маленький второй механик захныкал: «Ведь ты же не ударишь человека со сломанной рукой… а еще называешь себя джентльменом».

Я услышал тяжелые шаги и хриплое ворчание. Вторая скотина шла на меня, ударяя веслом по корме. Я видел, как он надвигается, огромный-огромный, — такими нам представляются люди в тумане или во сне.

«Иди!» — крикнул я. Я швырнул бы его за борт, как узел с тряпьем. Он остановился, пробормотал что-то и повернул назад. Быть может, он услышал вой ветра. Я ничего не слыхал. То был последний рывок шквала. Шкипер вернулся на свое место. Мне было жаль. Я не прочь был попытаться…

Он разжал и снова сжал кулак: руки его злобно дрожали.

— Тише, тише, — прошептал я.

— А? Что? Я не волнуюсь, — возразил он, страш-

но разобиженный, и, судорожно двинув локтем, опрокинул бутылку коньяка. Я рванулся вперед, отодвигая стул. Он выскочил из-за стола, словно мина взорвалась за его спиной, и метнулся в сторону; я увидал испуганные глаза и побледневшее лицо. Потом на лице его отразилась досада.

— Ужасно неприятно! Какой я неловкий, — пробормотал он, очень расстроенный. Нас окутал острый запах пролитого алкоголя, и удушливая атмосфера питейного дома ворвалась в прохладный чистый мрак ночи. В зале ресторана потушили огни; наша свеча одиноко мерцала в длинной галерее, и колонны почернели от подножия до капителей. На фоне ярких звезд угол дома, где помещается Управление порта, вырисовывался отчетливо по ту сторону эспланады, словно мрачное здание придвинулось ближе, чтобы видеть и слышать.

Он принял равнодушный вид.

— Пожалуй, сейчас я не так спокоен, как тогда. Я был готов ко всему. Какое это имело значение?..

— Недурно вы провели время в этой шлюпке, — заметил я.

— Я был готов, — повторил он. — После того как исчезли огни судна, могло произойти все что угодно, — все, и мир об этом не узнал бы. Я это

чувствовал и был доволен. И тьма была как раз кстати. Словно нас быстро замуровали в большом склепе. Безразлично было все, что бы ни происходило на земле. Некому высказывать свое мнение. Ни до чего нет дела…

В третий раз за время нашего разговора он хрипло засмеялся, но никого не было поблизости, чтобы заподозрить его в опьянении.

— Ни страха, ни закона, ни звуков, ни посторонних глаз… даже мы сами ничего не могли видеть… во всяком случае до восхода солнца.

Меня поразила правда, скрытая в этих словах. Что-то странное есть в маленькой шлюпке, затерянной на поверхности моря. Над жизнью, ускользнувшей из-под сени смерти, словно нависает тень безумия. Когда ваше судно вам изменяет, кажется, что изменил весь мир — мир, который вас создал, обуздывал, о вас заботился. Словно души людей плывут над пропастью, и — соприкасаясь с необъятным — вольны совершить поступок героический, нелепый или отвратительный. Конечно, если речь идет о вере, мысли, любви, ненависти, убеждениях или о видимом аспекте вещей материальных, крушение постигает всех людей, но в данном случае было что-то гнусное, и одиночество создалось полное, — в

силу возмутительных обстоятельств эти люди были отрезаны от мира, от всех остальных людей, чей идеал поведения никогда не подвергался испытанию враждебной и страшной шуткой.

Они были взбешены, считая его трусливым пройдохой; он сосредоточил на них всю свою ненависть; он хотел бы отомстить им за то отвратительное искушение, какое встало по их вине на его пути. Шлюпка, затерянная в море… Дело не дошло до драки — вот еще одно проявление той шутовской низости, какой была окрашена эта катастрофа на море. Одни угрозы, одно притворство, фальшь от начала до конца, словно созданная чудовищным презрением тех темных сил, что торжествовали бы всегда, если бы не разбивались постоянно о стойкость людей.

Я спросил, подождав немного:

— Что же случилось?

Ненужный вопрос. Я слишком много знал, чтобы надеяться на единый возвышающий жест, на милость затаенного безумия и ужаса.

— Ничего, — сказал он. — Я думал, что это всерьез, а они хотели только пошуметь. Ничего не случилось.

И восходящее солнце застало его на том самом месте, куда он прыгнул, — на носу шлюпки. Какая

настойчивая готовность ко всему! И всю ночь он держал в руке румпель. Они уронили руль за борт, когда пытались укрепить его, а румпель, должно быть, упал на нос, когда они метались в шлюпке, пытаясь делать все сразу, чтобы поскорей оттолкнуться от борта судна. Это был длинный и тяжелый деревянный брусок, и, очевидно, Джим в течение шести часов сжимал его в руках. Это ли не готовность! Вы представляете себе, как он, молчаливый, простоял полночи на ногах, повернувшись лицом навстречу хлещущему дождю, впиваясь глазами в темные фигуры, следя за малейшим движением, напрягая слух, чтобы уловить тихий шепот, изредка раздававшийся на корме? Стойкость мужества, или напряжение, вызванное страхом? Как вы думаете? И выносливость его нельзя отрицать. Около шести часов он простоял в оборонительной позе, настороженный, неподвижный; а шлюпка медленно плыла вперед или останавливалась, повинуясь капризам ветра; море, успокоенное, заснуло наконец; облака проносились над головой. Небо, сначала необъятное, тусклое и черное, превратилось в мрачный, сияющий свод, засверкало блеском созвездий, потускнело на востоке, побледнело в зените, и темные фигуры, заслонявшие низко

стоящие звезды за кормой, приобрели очертания, стали рельефными, вырисовались плечи, головы, лица. Угрюмо они смотрели на Джима; волосы их были растрепаны, одежда изодрана; мигая красными веками, они встречали белый рассвет.

— У них был такой вид, словно они неделю валялись пьяные по канавам, — выразительно описывал Джим; потом он пробормотал что-то о восходе солнца, предвещавшем тихий день. Вам известна эта привычка моряка по всякому поводу упоминать о погоде. Этих нескольких отрывочных слов было достаточно, чтобы я увидел, как нижний край солнечного диска отделяется от линии горизонта, широкая рябь пробегает по всей видимой поверхности моря, словно воды содрогаются, рождая светящийся шар, а последнее дуновение ветра, как вздох облегчения, замирает в воздухе.

— Они сидели на корме, плечо к плечу, — шкипер посредине, — и таращили на меня глаза, словно три грязные совы, — заговорил он с ненавистью, растворившейся в этих простых словах, как капля яда растворяется в стакане воды; но мысль моя не могла оторваться от этого восхода солнца. Я видел под прозрачным куполом неба этих четырех человек, окруженных пустыней мо-

ря, видел одинокое солнце, равнодушное к этим живым точкам; оно поднималось по чистому своду неба, словно хотело с высоты взглянуть на свое великолепие, отраженное в неподвижных водах океана.

— Они окликнули меня с кормы, — сказал Джим, — как будто мы были друзья-приятели. Я их услышал. Они меня просили образумиться и бросить эту «проклятую деревяшку». Зачем мне так себя держать? Никакого вреда они мне не причинили, не так ли? Никакого вреда… Никакого вреда!

Лицо его покраснело, словно он не мог выдохнуть воздух, наполнявший его легкие.

— Никакого вреда! — вскричал он. — Я вам предоставляю судить. Вы можете понять. Не так ли? Вы это понимаете, да? Никакого вреда! О боже! Да разве можно было причинить еще больше вреда? Да, я прекрасно знаю — я прыгнул в лодку. Конечно. Я прыгнул! Я вам это сказал. Но слушайте, — разве хоть кто-нибудь мог перед ними устоять? Это было делом их рук, все равно как если бы они зацепили меня багром и стащили за борт. Неужели вы этого не понимаете? Послушайте, вы должны понять. Отвечайте же прямо!

Растерянно он впился в мои глаза, спрашивал,

просил, требовал, умолял. Я не в силах был удержаться и прошептал:

— Вы подверглись тяжелому испытанию.

— Слишком тяжелому… Это было несправедливо, — быстро подхватил он. — У меня не было ни единого шанса… с такой бандой. А теперь они держали себя дружелюбно, — о, чертовски дружелюбно! Друзья, товарищи с одного судна. Все в одной шлюпке. Приходится примириться. Никакого зла они мне не желали. Им нет никакого дела до Джорджа. Джордж в последнюю минуту побежал за чем-то к своей койке и попался. Парень был отъявленный дурак. Очень жаль, конечно…

Они смотрели на меня; губы их шевелились; они кивали мне с другого конца шлюпки — все трое; они кивали мне. А почему бы и нет? Разве я не прыгнул? Я ничего не сказал. Нет слов для того, что я хотел сказать. Если бы я разжал тогда губы, я бы попросту завыл, как зверь. Я спрашивал себя — когда же я наконец проснусь. Они громко звали меня на корму выслушать спокойно, что скажет шкипер. Нас, конечно, должны подобрать до вечера; мы были на главном пути следования судов из Канала; на северо-западе уже виднелся дымок.

Я был ужасно потрясен, когда увидел это блед-

ное-бледное облачко, эту низко протянувшуюся полосу коричневого дыма там, где Сливаются море и небо. Я крикнул им, что и со своего места могу слушать. Шкипер стал ругаться голосом хриплым, как у вороны. Он не намерен кричать во все горло ради моего удобства.

«Боишься, что тебя услышат на берегу?» — спросил я.

Он сверкнул глазами, словно хотел меня растерзать. Старший механик посоветовал ему не спорить со мной. Он сказал, что в голове у меня еще не все в порядке. Тогда шкипер встал на корме, точно толстая колонна из мяса, и начал говорить… говорить…

Джим задумался.

— Ну? — сказал я.

— Что мне было до того, какую историю они придумают? — смело воскликнул он. — Они могли выдумать все, что им было угодно. Это касалось только их. Я-то знал правду. Никакая их выдумка, которой поверили бы другие, ничего не могла изменить для меня. Я не мешал шкиперу разглагольствовать. Он говорил без конца. Вдруг я почувствовал, что ноги у меня подкашиваются. Я был болен, устал — устал смертельно. Я бросил румпель, повернулся к ним спиной и сел на пе-

реднюю скамью. Хватит с меня. Они окликнули меня, чтобы узнать, понял ли я. Спрашивали — разве не правдива вся эта история? Честное слово, с их точки зрения, она была правдива. Я не повернул головы. Я слышал, как они переговаривались:

«Глупый осел не желает отвечать».

«О, он прекрасно понял».

«Оставьте его в покое; он придет в себя».

«Что он может сделать?»

Что я мог сделать! Разве мы не сидели в одной шлюпке? Я старался ничего не слушать. Дымок на севере исчез. Был мертвый штиль. Они напились воды из бочонка; я тоже пил. Потом они стали возиться с парусом, натягивая его над планширом. Спросили, не возьму ли я пока на себя вахту. Они подлезли под навес, скрылись с моих глаз — к счастью! Я был утомлен, измучен вконец, как будто не спал со дня своего рождения. Солнце так сверкало, что я не мог смотреть на воду. Время от времени кто-нибудь из них вылезал, выпрямлялся во весь рост, чтобы осмотреться по сторонам, и снова прятался. Из-под паруса доносился храп. Кто-то мог спать. Во всяком случае, один из них. Я не мог. Везде был свет, свет, и шлюпка словно проваливалась сквозь этот свет. Иногда я с изум-

лением замечал, что сижу на скамье…

Джим стал ходить размеренными шагами взад и вперед перед моим стулом; он задумчиво опустил голову, засунул левую руку в карман, а правую изредка поднимал, словно отстраняя кого-то невидимого со своего пути.

— Должно быть, вы думаете, что я сходил с ума, — заговорил он, изменив тон. — Неудивительно — если вы вспомните, что я потерял фуражку. На своем пути с востока на запад солнце все выше поднималось над моей непокрытой головой, но, вероятно, в тот день ничто не могло причинить мне вреда. Солнце не могло свести меня с ума… — Правой рукой он словно отстранил мысль о безумии. — И не могло меня убить… — Снова рука его отстранила тень. — Этот выход у меня оставался.

— В самом деле? — сказал я, страшно удивленный этим оборотом; я взглянул на него с таким чувством, какое, несомненно, испытал бы, если бы увидел совсем новое лицо, когда он, повернувшись на каблуках, посмотрел на меня.

— Я не заболел воспалением мозга и не упал мертвым, — продолжал он. — Меня не тревожило солнце, палившее мне голову. Я размышлял так же хладнокровно, как если бы сидел в тени. Эта

жирная скотина — шкипер — высунул из-под паруса свою огромную стриженую голову и уставился на меня рыбьими глазами.

— Donnerwetter![8], — проворчал он и как черепаха полез назад. Я его видел. Слышал. Он не помешал мне. Как раз в эту минуту я думал о том, что не умру.

Мимоходом он бросил на меня внимательный взгляд, пытаясь угадать мои мысли.

— Вы хотите сказать, что размышляли о том, умереть вам или нет? — спросил я, стараясь говорить бесстрастно. Он кивнул, продолжая шагать.

— Да, до этого дошло, пока я сидел там один, — сказал он.

Он сделал еще несколько шагов, а потом повернулся, словно дойдя до конца воображаемой клетки; теперь обе его руки были глубоко засунуты в карманы. Он остановился как вкопанный перед моим стулом и посмотрел на меня сверху вниз.

— Вы этому не верите? — осведомился он с напряженным любопытством.

Я не мог не заявить торжественно о своей готовности верить всему, что бы он ни счел нужным

---

[8] Примечания: 8
Ты умрешь!

мне сообщить.

11

Он выслушал меня, склонив голову к плечу, а я еще раз увидел проблеск света сквозь туман, в котором он двигался и существовал. Тускло горевшая свеча трещала под стеклянным колпаком, то был единственный источник света, позволивший мне видеть Джима. За его спиной была темная ночь и яркие звезды; их блеск уводил взоры в еще более сгущенную темноту, однако какая-то таинственная вспышка, казалось, осветила для меня его мальчишескую голову, словно в этот момент юность его на секунду вспыхнула и угасла.

— Вы ужасно добры, что так меня слушаете, — сказал он. — Мне легче. Вы не знаете, что это для меня значит. Вы не знаете…

Казалось, ему не хватало слов. Я увидел его отчетливо на секунду. Он был одним из тех юношей, каких вам приятно видеть подле себя; таким вам хочется воображать самого себя в юности; одна его внешность пробуждает к жизни те иллюзии, которые вы считали забытыми, угасшими, холодными, но близость чужого пламени их оживляет — они трепещут где-то глубоко-глубоко, дают

свет… тепло… Да, тогда я увидел его на секунду… и это было не в последний раз…

— Вы не знаете, что это значит для человека в моем положении, когда тебе верят, когда ты можешь говорить начистоту с тем, кто старше тебя. Так тяжело… так ужасно несправедливо… и так трудно понять.

Туман снова сгустился вокруг него. Я не знаю, каким старым я ему представлялся — и каким мудрым. А в ту минуту я себя чувствовал вдвое старше и таким бесполезно мудрым. Конечно, только у тех, кто связан с морем, кто уже пустился в плаванье, чтобы потонуть или выплыть, сердца так широко раскрываются навстречу юности, стоящей на грани, — юности, что взирает блестящими глазами на сверкающую гладь, которая является лишь отражением ее взгляда, полного огня. Какая великолепная неизвестность заложена в ожиданиях, которые каждого из нас влекли к морю, какая чудесная жажда приключений, и эти приключения — наша неотъемлемая и единственная награда. То, что мы получаем… ну, об этом мы не будем говорить, — но может ли хоть один из нас сдержать улыбку? Лишь на море иллюзия так далека от реальности, лишь здесь вначале все — иллюзия, и нигде разочаро-

вание не наступает так быстро, а подчинение не бывает более полным. Но все ли мы начинали, желая только одного, кончали, зная только об одном, и проносили сквозь ряд тусклых, отвратительных дней воспоминание о тех же чарах? Не чудо, что мы чувствуем связующие узы, когда тяжелый удар настигает одного из нас; и, помимо содружества на море, нас объединяет иное, более широкое чувство — чувство, которое привязывает взрослого человека к ребенку. Он сидел передо мной, веря, что возраст и мудрость могут найти лекарство против мучительной истины; он дал мне заглянуть в свою душу — в душу юноши, попавшего в беду, в дьявольскую переделку, услыхав о которой седобородые старики будут торжественно покачивать головами, скрывая улыбку. А он размышлял о смерти! Об этом приходилось ему размышлять, ибо он думал, что спас свою жизнь, когда все чары ее потонули в ту ночь вместе с судном. Что может быть более естественно? Трагично и забавно было вслух взывать к состраданию, — и чем я был лучше всех остальных, чтобы отказать ему в жалости?.. Пока я глядел на него, клубы тумана затянули просвет, и раздался его голос:

— Я был, знаете ли, так растерян. Такого поло-

жения никто не мог бы ожидать. Это не похоже было, например, на сражение.

— Не похоже, — согласился я.

Он как-то изменился, словно внезапно возмужал.

— Не было уверенности, — прошептал он.

— А, вы не были уверены, — сказал я. Слабый вздох, пролетевший между нами, как птица в ночи, умиротворил меня.

— Да, не был, — мужественно признался он. — Это как-то походило на ту проклятую историю, какую они выдумали: не ложь — и в то же время не правда. Это было что-то… Настоящую ложь сразу узнаешь. А в том деле ложь от правды отделяло что-то более тонкое, чем лист бумаги.

— А вам нужно было больше? — спросил я; но, кажется, я говорил так тихо, что он не уловил моих слов. Он выставил свой аргумент с таким видом, словно жизнь была сетью тропинок, разделенных пропастями. Голос его звучал рассудительно.

— Допустим, что я не… Я хочу сказать: допустим, я бы остался на борту судна. Отлично. Долго бы я там продержался? Скажем, полминуты — минуту. Послушайте, тогда очевидным казалось, что через тридцать секунд я буду за бортом; и

вы думаете, я бы не завладел первым, что попалось бы мне под руку, — веслом, спасательным бакеном, решеткой, — чем угодно. Вы бы так не поступили?

— Чтобы спастись, — вставил я.

— И я хотел бы спастись! — воскликнул он. — А этого желания не было, когда я… — Он содрогнулся, словно готовясь проглотить какое-то тошнотворное лекарство. — …прыгнул, — произнес он с судорожным усилием, а я пошевельнулся на стуле, как будто его напряжение передалось и мне.

— Вы мне не верите? — вскричал он. — Клянусь!.. Черт возьми! Вы меня сюда позвали, чтобы я говорил, и… Вы должны! Вы сказали, что поверите.

— Конечно, верю, — возразил я деловым тоном, сразу его успокоившим.

— Простите, — сказал он. — Конечно, я бы не говорил об этом с вами, если бы вы не были порядочным человеком. Я должен был знать… Я… я тоже порядочный человек…

— Да, да, — поспешно проговорил я. Он посмотрел на меня внимательно из-под полуопущенных век, потом медленно отвел взгляд.

— Теперь вы понимаете, почему я в конце

концов не… не покончил с собой. Тогда у меня и в мыслях не было, что я стану бояться своего поступка. Ведь если бы я и остался на судне, я приложил бы все силы, чтобы спастись. Бывало, люди держались на воде несколько часов — в открытом море, — и их подбирали целыми и невредимыми. Я мог продержаться дольше, чем многие другие. Сердце у меня здоровое.

Он вынул из кармана правую руку и ударил себя кулаком в грудь: удар прозвучал, как заглушенный выстрел в ночи.

— Да, — сказал я. Он задумался, слегка расставив ноги и опустив голову.

— Один волосок, — пробормотал он. — Один волосок отделял одно от другого. И в то время…

— В полночь нелегко разглядеть волосок, — вставил я, — боюсь, раздраженно. Вы понимаете, что я подразумеваю под солидарностью людей одной профессии? Я был против него озлоблен, словно он обманул меня — меня! — отнял у меня прекрасный случай укрепить иллюзию моей юности, лишил общую нашу жизнь последних ее чар. — И поэтому вы покинули судно — немедленно.

— Прыгнул, — резко поправил он меня. — Прыгнул, заметьте! — повторил он, придавая этому

какое-то непонятное мне, особое значение. — Да! Быть может, тогда я не видел. Но в этой шлюпке времени у меня было достаточно, а света сколько угодно. И думать я мог. Никто бы не узнал, конечно, но от этого мне было не легче. Вы и этому должны поверить. Я не хотел этого разговора… Нет… Да… Не стану лгать… я хотел его; единственное, чего я хотел! Да. Вы думаете, что вы или кто-нибудь другой мог бы заставить меня говорить, если бы я… Я не боюсь слов. И думать я не боялся. Я смотрел правде в глаза. Я не собирался бежать. Сначала… ночью, если бы не эти люди, я, может быть… Нет, клянусь богом! Это удовольствие я не намерен был им доставить. И так они много навредили. Они сочинили целую историю и, пожалуй, в нее верили. Но я знал правду и должен был жить с нею… один… наедине с самим собой. Я не намеревался подчиниться такой проклятой несправедливости. В конце концов что это доказывало? Я был чертовски подавлен. Жизнь мне надоела, сказать вам по правде; но что толку было спасаться… таким образом? Не так следовало поступить. Я думаю… я думаю, что это не был бы конец…

Он ходил взад и вперед, но, произнеся это последнее слово, остановился передо мной.

— А как думаете вы? — спросил он пылко. Последовала пауза, и вдруг я почувствовал такую глубокую и безнадежную усталость, словно его голос пробудил меня от сна и вернул из странствий по бесконечной пустыне, необъятность которой истерзала мою душу и истомила тело.

— Не был бы конец, — упрямо пробормотал он, немного погодя. — Нет! Нужно было пережить это… наедине с собой… ждать другого случая… Найти…

12

Вокруг было тихо; ухо не улавливало никаких звуков. Туман его чувств проплывал между нами, как бы потревоженный его борьбой, и в прорывах этой нематериальной завесы я отчетливо видел перед собой его, взывающего ко мне, — видел, словно символическую фигуру на картине. Прохладный ночной воздух, казалось, давил мое тело, тяжелый, как мраморная плита.

— Понимаю, — прошептал я, чтобы доказать себе, что могу стряхнуть овладевшую мною немоту.

— «Эвондель» подобрал нас как раз перед заходом солнца, — угрюмо заметил он. — Шел прямо на нас. Нам оставалось только сидеть и ждать.

После долгой паузы он произнес:

— Они рассказали свою историю.

И снова спустилось гнетущее молчание.

— Тут только я понял, на что я решил пойти, — добавил он.

— Вы ничего не сказали, — прошептал я.

— Что мог я сказать? — спросил он так же тихо. — ...Легкий толчок. Остановили судно.

Удостоверились, что оно повреждено. Приняли меры, чтобы спустить шлюпки, не вызывая паники. Когда была спущена первая шлюпка, налетел шквал, и судно пошло ко дну… Как свинец… Что могло быть еще яснее… — Он опустил голову. — …и еще ужаснее.

Губы его задрожали; он смотрел мне прямо в глаза.

— Я прыгнул — не так ли? — спросил он уныло. — Вот что я должен был пережить. Та история не имела значения.

На секунду он сжал руки, поглядел направо и налево во мрак.

— Это было так, словно обманывали мертвых, — пробормотал он, заикаясь.

— А мертвых не было, — сказал я.

Тут он ушел от меня — только так я могу это описать. Я увидел, что он подошел вплотную к балюстраде. Несколько минут он стоял там, словно наслаждаясь чистотой и спокойствием ночи. От цветущего кустарника в саду поднимался в сыром воздухе сильный аромат. Он подошел ко мне быстрыми шагами.

— И это тоже не имело значения, — сказал он с непоколебимым упорством.

— Быть может, — согласился я, чувствуя, что

мне его не понять. В конце концов что я знал?

— Умерли они или нет, но мне не было оправдания, — сказал он. — Я должен был жить, — не так ли?

— Да, пожалуй, если стать на вашу точку зрения, — промямлил я.

— Я был рад, конечно, — небрежно бросил он, словно думая о чем-то другом.

— Огласка, — произнес он медленно и поднял голову. — Знаете, какая была моя первая мысль, когда я услышал?.. Я почувствовал облегчение. Облегчение при мысли, что эти крики… Я вам говорил, что слышал крики? Нет? Ну, так я их слышал. Крики о помощи… они неслись вместе с моросящим дождем. Воображение, должно быть. И, однако, я едва могу… Как глупо… Остальные не слыхали. Я их спрашивал после. Они все сказали — нет. Нет? А я их слышал даже тогда! Мне следовало бы знать… но я не думал — я только слушал. Очень слабые крики… день за днем. Потом этот маленький полукровка подошел ко мне и заговорил: «Патна»… французская канонерка… привели на буксире в Аден… Расследование… Управление порта… Дом моряка… позаботились о помещении для вас…» Я шел с ним и наслаждался тишиной. Значит, никаких криков не было. Воображение.

Я должен был ему верить. Больше я уже ничего не слышал. Интересно — долго бы я это выдержал? Ведь становилось все хуже… я хочу сказать — громче.

Он задумался.

— Значит, я ничего не слышал! Ну что ж, пусть будет так. Но огни! Огни исчезли! Мы их не видели. Их не было. Если б они были, я поплыл бы назад, вернулся бы и стал кричать… молить, чтобы они взяли меня на борт… У меня был бы шанс… Вы сомневаетесь? Откуда вы знаете, что я чувствовал… Какое право имеете сомневаться?.. Я и без огней едва этого не сделал… понимаете?

Голос его упал.

— Не было ни проблеска света, ни проблеска, — грустно продолжал он. — Разве вы не понимаете, что, если бы огонь был, вы бы меня здесь не видели? Вы меня видите — и сомневаетесь.

Я отрицательно покачал головой. Эти огни, скрывшиеся из виду, когда шлюпка отплыла не больше чем на четверть мили от судна, вызвали немало разговоров. Джим утверждал, что ничего не было видно, когда прекратился ливень, и остальные говорили то же капитану «Эвонделя». Конечно, все покачивали головой и улыбались. Один старый шкипер, сидевший подле меня в

суде, защекотал мне ухо своей белой бородой и прошептал:

— Конечно, они лгут.

А в действительности не лгал никто — даже старший механик, утверждавший, что огонь на верхушке мачты упал, словно брошенная спичка. Во всяком случае, то была ложь несознательная. Человек с больной печенью, торопливо оглянувшись через плечо, легко мог увидеть уголком глаза падающую искру. Никакого света они не видели, хотя находились неподалеку от судна, и могли объяснить это явление лишь тем, что судно затонуло. Это было очевидно и действовало успокоительно. Предвиденная катастрофа, так быстро завершившаяся, оправдывала их спешку. Не чудо, что они не искали другого объяснения.

Однако истина была очень проста, и как только Брайерли намекнул о ней, суд перестал заниматься этим вопросом. Если вы помните, судно было остановлено и лежало на воде, повернувшись носом в ту сторону, куда держало курс; корма его была высоко поднята, а нос опущен, так как вода заполнила переднее отделение трюма. Когда шквал ударил в корму, судно вследствие неправильного положения на воде повернулось носом к ветру так круто, словно его держал якорь.

В результате все огни были в одну секунду заслонены от шлюпки, находившейся с подветренной стороны. Очень возможно, что, не исчезни эти огни, они подействовали бы как немой призыв… их мерцание, затерянное в темноте нависшего облака, обладало бы таинственной силой человеческого взгляда, который может пробудить чувство раскаяния и жалости. Огни взывали бы: «Я еще здесь… здесь…» А большего не может сказать взгляд самого несчастного человеческого существа. Но судно от них отвернулось, словно презирая их судьбу; оно покатилось под ветер, чтобы упрямо глядеть в лицо новой опасности — открытого моря; этой опасности оно странно избежало для того, чтобы закончить свои дни на кладбище судов, как будто ему суждено было умереть под ударами молотков. Каков был конец, предназначенный паломникам, я не знаю, но мне известно, что ближайшее будущее привело к ним около девяти часов утра французскую канонерку, возвращавшуюся на родину от острова Рэунаон. Отчет ее командира стал общественным достоянием. Канонерка немного свернула с пути, чтобы выяснить, что случилось с пароходом, который, погрузив нос, застыл на неподвижной туманной поверхности моря. На гафеле развевался пере-

вернутый флаг — серанг догадался выбросить на рассвете сигнал бедствия, — но коки как ни в чем не бывало готовили обед на носу. Палубы были запружены, словно загон для овец; люди сидели на поручнях, плотной стеной стояли на мостике: сотни глаз впивались в канонерку, и ни звука не было слышно, словно на устах всех этих людей лежала печать молчания.

Француз-капитан окликнул судно, не добился вразумительного ответа и, удостоверившись с помощью бинокля, что люди на палубе не похожи на зачумленных, решил послать шлюпку. Два помощника поднялись на борт, выслушали серанга, попытались расспросить араба и ничего не могли понять; но, конечно, характер катастрофы был очевиден. Они были очень удивлены, обнаружив мертвого белого человека, мирно лежавшего на мостике.

— Fort intrigues par ce cadavre,[9] — как сообщил мне много лет спустя один пожилой французский лейтенант; я встретился с ним случайно в Сиднее в каком-то кафе, и он прекрасно помнил дело «Патны». Замечу мимоходом, что это дело удивительно умело противостоять забывчивости

---

[9] Примечания: 9
были очень заинтригованы этим трупом (фр.)

людей и все стирающему времени: казалось, оно было наделено какой-то жуткой жизненной силой, жило в памяти людей, и слова о нем срывались с языка. Я имел сомнительное удовольствие сталкиваться с воспоминанием об этом деле часто, — годы спустя, за тысячи миль от места происшествия, оно всплывало неожиданно в беседе, обнаруживалось в самых отдаленных намеках. Вот и сегодня вечером между нами речь зашла о нем. А ведь я здесь единственный моряк. Только у меня живы эти воспоминания. И все же это дело всплыло сегодня. Но если двое людей, друг с другом не знакомых, но знающих о «Патне», встретятся случайно в каком-нибудь уголке земного шара, между ними непременно завяжется разговор об этой катастрофе. Раньше я никогда не встречался с этим французом, а через час распрощался с ним навсегда, казалось, он был не особенно разговорчив — спокойный грузный парень в измятом кителе, сонно сидевший над бокалом с какой-то темной жидкостью. Погоны его слегка потускнели, гладко выбритые щеки были желты; он имел вид человека, который нюхает табак. Не знаю, занимался ли он этим, но такая привычка была бы ему к лицу. Началось с того, что он мне протянул через мраморный сто-

лик номер «Хом Ньюс», в котором я не нуждался. Я сказал — мерси. Мы обменялись несколькими невинными замечаниями, совершенно незаметно завязался разговор, и вдруг француз сообщил мне, как они были «заинтригованы этим трупом». Выяснилось, что он был одним из офицеров, поднявшихся на борт.

В кафе, где мы сидели, можно было получить самые разнообразные иностранные напитки, имевшиеся в запасе для заглядывающих сюда морских офицеров, француз потянул из бокала темную жидкость, похожую на лекарство, — по всем вероятиям, это был самый невинный cassis a l'eau,[10] — и, глядя в стакан, слегка покачал головой.

— Impossible de comprendre… vous concevez,[11] — сказал он как-то небрежно и в то же время задумчиво.

Я легко мог себе представить, как трудно было им понять. На канонерке никто не знал английского языка настолько, чтобы разобраться в истории, рассказанной серангом. Вокруг двух офицеров поднялся шум.

---

[10] Примечания: 10
черносмородинная наливка, разбавленная водой (фр.)

[11] Примечания: 11
непостижимо… вы понимаете (фр.)

— Нас обступили. Толпа стояла вокруг этого мертвеца (autour de ce mort), — рассказывал он. — Приходилось заниматься самым неотложным. Эти люди начинали волноваться... Parbleu![12] Такая толпа...

Своему командиру он посоветовал не прикасаться к переборке — слишком ненадежной она казалась. Быстро (en toute hate) закрепили они два кабельтова и взяли «Патну» на буксир — вперед кормой к тому же. Принимая во внимание обстоятельства, это было не так глупо, ибо руль слишком поднимался над водой, чтобы можно было его использовать для управления, а этот маневр уменьшал давление на переборку, которая требовала, как выразился он, крайне осторожного обращения (exigeait les plus grands menagements). Я невольно подумал о том, что мой новый знакомый имел, должно быть, решающий голос в совещании о том, как поступить с «Патной». Хотя и не очень расторопный, он производил впечатление человека, на которого можно положиться; к тому же он был настоящим моряком. Но сейчас, сидя передо мной со сложенными на животе толстыми руками, он походил на одного

---

[12] Примечания: 12
Черт возьми! (фр.)

из этих деревенских священников, которые спокойно нюхают табак и внимают повествованию крестьян о грехах, страданиях и раскаянии, а простодушное выражение лица скрывает, словно завеса, тайну боли и отчаяния. Ему бы следовало носить потертую черную сутану, застегнутую до самого подбородка, а не мундир с погонами и бронзовыми пуговицами. Его широкая грудь мерно поднималась и опускалась, пока он рассказывал мне, что то была чертовская работа, и я как моряк (en votre qualite de marin) легко могу это себе представить. Закончив фразу, он слегка наклонился всем корпусом в мою сторону и, выпятив бритые губы, с присвистом выдохнул воздух.

— К счастью, — продолжал он, — море было гладкое, как этот стол, и ветра было не больше, чем здесь...

Тут я заметил, что здесь действительно невыносимо душно и очень жарко. Лицо мое пылало, словно я был еще молод и умел смущаться и краснеть.

— Naturellement[13] они направились в ближайший английский порт, где и сняли с себя

---

[13] Примечания: 13
разумеется (фр.)

ответственность, — Dieu merci![14]

Он раздул свои плоские щеки.

— Заметьте (notez bien), все время, пока мы буксировали, два матроса стояли с топорами у тросов, чтобы перерубить их в случае, если судно…

Он опустил тяжелые веки, поясняя смысл этих слов.

— Что вы хотите? Делаешь то, что можешь (on fait ce qu'on peut), — и на секунду он ухитрился выразить покорность на своем массивном неподвижном лице.

— Два матроса… тридцать часов они там стояли. Два! — Он приподнял правую руку и вытянул два пальца.

То был первый жест, сделанный им в моем присутствии. Это дало мне возможность заметить зарубцевавшийся шрам на руке — несомненно, след ружейной пули; а затем — словно зрение мое благодаря этому открытию обострилось — я увидел рубец старой раны, начинавшийся чуть-чуть ниже виска и прятавшийся под короткими седыми волосами на голове, — царапина, нанесенная копьем или саблей. Снова он сложил руки

---

[14] Примечания: 14
слава богу (фр.)

на животе.

— Я пробыл на борту этой, этой… память мне изменяет (s'en va. Ah! Patt-na! C'est bien ca. Patt-na. Merci.) Забавно, как все забывается. Я пробыл на борту этого судна тридцать часов…

— Вы! — воскликнул я.

По-прежнему глядя на свои руки, он слегка выпятил губы, но на этот раз не присвистнул.

— Сочли нужным, — сказал он, бесстрастно поднимая брови, — чтобы один из офицеров остался на борту и наблюдал (pour ouvrir l'oeil…), — он вяло вздохнул, — и сообщался посредством сигналов с буксирующим судном, — понимаете? Таково было и мое мнение. Мы приготовили свои шлюпки к спуску, и я на том судне также принял меры… Enfin! Сделали все возможное. Положение было затруднительное. Тридцать часов. Они мне дали чего-то поесть. Что же касается вина, то хоть шаром покати — нигде ни капли.

Каким-то удивительным образом, нимало не изменяя своей инертной позы и благодушного выражения лица, он ухитрился изобразить свое глубокое возмущение.

— Я, знаете ли, когда дело доходит до еды и нельзя получить стакан вина… я ни к черту не годен.

Я испугался, как бы он не распространился на эту тему, ибо, хотя он не пошевельнулся и глазом не моргнул, видно было, что это воспоминание сильно его раздражило. Но он, казалось, тотчас же позабыл об этом. Они сдали судно «властям порта», как он выразился. Его поразило то спокойствие, с каким судно было принято.

— Можно подумать, что такие забавные находки (drole de trouvaille) им доставляли каждый день. Удивительный вы народ, — заметил он, прислоняясь спиной к стене; вид у него был такой, словно он не более чем куль муки способен проявлять свои эмоции.

В то время в гавани случайно находились военное судно и индийский пароход, и он не скрыл своего восхищения тем, с какой быстротой шлюпки этих двух судов освободили «Патну» от ее пассажиров. Вид у него был тупо-равнодушный, и тем не менее он был наделен той таинственной, почти чудесной способностью добиваться эффекта, пользуясь неуловимыми средствами, — способностью, которая является последним словом искусства.

— Двадцать пять минут… по часам… двадцать пять, не больше…

Он разжал и снова переплел пальцы, не снимая

рук с живота, и этот жест был гораздо внушительнее, чем если бы он изумленно воздел руки к небу.

— Всех этих людей (tout ce monde) высадили на берег... и пожитки свои они забрали... никого не осталось на борту, кроме отряда морской пехоты (niarin's de l'Etat) и этого занятного трупа (cet interessant cadavre). За двадцать пять минут все было сделано...

Опустив глаза и склонив голову набок, он словно смаковал такую расторопность. Без лишних слов он дал понять, что его одобрение чрезвычайно ценно, а затем снова застыл в прежней позе и сообщил мне, что, следуя инструкции возможно скорее явиться в Тулон, они покинули порт через два часа...

— ...и таким образом (de sorte que) многие детали этого эпизода моей жизни (dans cet episode de ma vie) остались невыясненными.

13

Произнеся эти слова и не меняя позы, он, если можно так выразиться, пассивно перешел в стадию молчания. Я составил ему компанию; и вдруг снова раздался его сдержанный хриплый голос, словно пробил час, когда ему полагалось нарушить молчание. Он сказал:

— Mon Dieu! Как время-то идет!

Ничто не могло быть банальнее этого замечания, но для меня оно совпало с моментом прозрения. Удивительно, как мы проходим сквозь жизнь с полузакрытыми глазами, притупленным слухом, дремлющими мыслями. Пожалуй, так оно и должно быть; и, пожалуй, именно это отупение делает жизнь для огромного большинства людей такой сносной и такой желанной. Однако лишь очень немногие из нас не ведали тех редких минут пробуждения, когда мы внезапно видим, слышим, понимаем многое — все, — пока снова не погрузимся в приятную дремоту. Я поднял глаза, когда он заговорил, и увидел его так, как не видел раньше. Увидел его подбородок, покоящийся на груди, складки неуклюжего мун-

дира, руки, сложенные на животе, неподвижную позу, так странно и красноречиво говорившую о том, что его здесь попросту оставили и забыли. Время действительно проходило: оно нагнало его и ушло вперед. Оно его оставило безнадежно позади с несколькими жалкими дарами — седыми волосами, усталым загорелым лицом, двумя шрамами и парой потускневших погон. Это был один из тех стойких, надежных людей, которых хоронят без барабанов и труб, а жизнь их — словно фундамент монументальных памятников, знаменующих великие достижения.

— Сейчас я служу третьим помощником на «Victorieuse» (то было флагманское судно французской тихоокеанской эскадры), — представился он, отодвигаясь на несколько дюймов от стены.

Я слегка поклонился через стол и сообщил ему, что командую торговым судном, которое в настоящее время стоит на якоре в заливе Рашкеттер. Он его заметил — хорошенькое судно. Свое мнение он выразил бесстрастно и очень вежливо. Мне даже показалось, что он кивнул головой, повторяя свой комплимент:

— А, да! маленькое судно, окрашенное в черный цвет… очень хорошенькое… очень хорошенькое (tres coquet).

Немного погодя он повернулся всем корпусом к стеклянной двери направо от нас.

— Скучный город (triste ville), — заметил он, глядя на улицу.

Был ослепительный день, бесновался южный ветер, и мы видели, как прохожие — мужчины и женщины — боролись с ним на тротуарах; залитые солнцем фасады домов по ту сторону улицы закутались в облака пыли.

— Я сошел на берег, — сказал он, — чтобы немножко размять ноги, но…

Он не закончил фразы и погрузился в оцепенение.

— Пожалуйста, скажите мне, — начал он, словно пробудившись, — какова была подкладка этого дела — по существу (au juste)? Любопытно. Этот мертвец, например…

— Там были и живые, — заметил я, — это гораздо любопытнее.

— Несомненно, несомненно, — чуть слышно согласился он, а затем, как будто поразмыслив, прошептал: — Очевидно.

Я охотно сообщил ему то, что лично меня сильнее всего интересовало в этом деле. Казалось, он имел право знать: разве не пробыл он тридцать часов на борту «Патны», не являлся, так сказать,

преемником, не сделал «все для него возможное». Он слушал меня, больше чем когда-либо походя на священника; глаза его были опущены, и, быть может, благодаря этому казалось, что он погружен в благочестивые размышления. Раза два он приподнял брови, не поднимая век, когда другой на его месте воскликнул бы: «Ах, черт!» Один раз он спокойно произнес: — Ah, bah! — а когда я замолчал, он решительно выпятил губы и печально свистнул.

У всякого другого это могло сойти за признак скуки или равнодушия; но он каким-то таинственным образом ухитрялся, несмотря на свою неподвижность, выглядеть глубоко заинтересованным и преисполненным ценных мыслей, как яйцо полно питательных веществ. Он ограничился двумя словами «очень интересно», произнесенными вежливо и почти шепотом. Не успел я справиться со своим разочарованием, как он добавил, словно разговаривая сам с собой: «Вот оно что. Так вот оно что».

Казалось, подбородок его еще ниже опустился на грудь, а тело огрузло на стуле. Я готов был его спросить, что он этим хотел сказать, когда все его тело слегка заколебалось как бы перед словоизвержением: так легкая рябь пробегает по

стоячей воде раньше, чем почувствуешь дуновение ветра.

— Итак, этот бедный молодой человек удрал вместе с остальными, — сказал он с величавым спокойствием.

Не знаю, что вызвало у меня улыбку; то был единственный раз, когда я улыбнулся, вспоминая дело Джима. Почему-то эта простая фраза, подчеркивающая совершившийся факт, забавно звучала по-французски... — S'est enfui avec les autres, — сказал лейтенант. И вдруг я начал восхищаться проницательностью этого человека: он сразу уловил суть дела, обратил внимание только на то, что меня затрагивало. Я как будто выслушивал мнение профессионала об этом деле. С невозмутимым спокойствием эксперта он овладел фактами, всякие сбивающие с толку вопросы казались ему детской игрой.

— Ах, молодость, молодость! — снисходительно сказал он. — В конце концов от этого не умирают.

— От чего не умирают? — быстро спросил я.

— От страха, — пояснил он и принялся за свой напиток.

Я заметил, что три пальца на его руке не сгибались и могли двигаться только вместе; поэтому,

поднимая бокал, он неуклюже захватывал его рукой.

— Человек всегда боится. Что бы там ни говорили, но… — Он неловко поставил бокал. — Страх, страх, знаете ли, всегда таится здесь…

Он коснулся пальцем груди около бронзовой пуговицы; в это самое место ударил себя Джим, когда уверял, что сердце у него здоровое. Должно быть, он заметил, что я с ним не согласен, и настойчиво повторил:

— Да! Да! Можно говорить, что угодно; все это прекрасно, но в конце концов приходится признать, что ты не умнее своего соседа — и храбрости у тебя не больше. Храбрость! Всюду ее видишь. Я таскался (roule ma bosse), — сказал он, с невозмутимой серьезностью употребляя вульгаризм, — по всему свету. Я видал храбрых людей… и знаменитых… Allez!..

Он небрежно отпил из бокала…

— Понимаете, на службе приходится быть храбрым. Ремесло этого требует (Ie metier veux ca). Не так ли? — рассудительно заметил он. — Eh bien! Любой человек — я говорю, любой, если только он честен, bien entendu, — признается, что у самого лучшего из нас бывают такие минутки, когда отступаешь (vous lachez tout). И с этим знанием вам

приходится жить, — понимаете? При известном стечении обстоятельств страх неизбежно явится. Отвратительный страх! (un trac epouvantable.) И даже тот, кто в эту истину не верит, все же испытывает страх — страх перед самим собой. Это так. Поверьте мне. Да, да… В мои годы знаешь, о чем говоришь… que diable!..

Все это он выложил так невозмутимо, словно абстрактная мудрость вещала его устами; теперь это впечатление еще усилилось благодаря тому, что, переплетя руки, он стал медленно вертеть большими пальцами.

— Это очевидно. Parbleu! — продолжал он. — Ибо, как бы решительно вы ни были настроены, простой головной боли или расстройства желудка (un derangement d'estomac) достаточно, чтобы… Возьмем хотя бы меня… Я прошел через испытания. Eh bien! Я — тот самый, кого вы перед собой видите, — я однажды…

Он осушил свой бокал и снова стал вертеть большими пальцами.

— Нет, нет, от этого не умирают, — произнес он наконец, и, поняв, что он не намерен рассказывать о событии из своей личной жизни, я был сильно разочарован. Тем сильнее было мое разочарование, что неудобно было его расспра-

шивать. Я сидел молча, и он тоже, словно это доставляло ему величайшее удовольствие. Даже пальцы его неподвижно застыли. Вдруг губы начали шевелиться.

— Так оно и есть, — благодушно заговорил он, — человек рожден трусом (L'homme est ne pohron). В этом загвоздка, parbleu! Иначе жилось бы слишком легко. Но привычка… привычка, необходимость, видите ли, сознание, что на тебя смотрят… voila. Это помогает справиться с трусостью. А затем пример других, которые не лучше тебя, и, однако, держатся бодро…

Он умолк.

— Вы согласитесь, что у молодого человека не было ни одной из этих побудительных причин… в тот момент, во всяком случае, — заметил я.

Он снисходительно поднял брови.

— Я не возражаю, не возражаю. Быть может, у этого молодого человека были прекрасные наклонности, прекрасные наклонности, — повторил он, тихонько посапывая.

— Я рад, что вы подходите так снисходительно, — сказал я. — Он сам лелеял большие надежды и…

Шарканье ног под столом прервало меня. Он поднял тяжелые веки — поднял медленно и как-

то задумчиво, — иначе не скажешь, — и тогда-то я понял, что он собой представляет. Я увидел два узких серых кружка, словно два крохотных стальных колечка вокруг черных зрачков. Этот острый взгляд грузного человека производил такое же впечатление, как боевая секира с лезвием бритвы.

— Простите, — церемонно сказал он.

Он поднял правую руку и слегка наклонился вперед.

— Разрешите мне… Я допускаю, что человек может преуспевать, хорошо зная, что храбрость его не явится сама собой (ne vient pas tout seui). Из-за этого волноваться не приходится. Еще одна истина, которая жизни не портит… Но честь, честь, monsieur!.. Честь… вот что реально! А чего стоит жизнь, если… — Он грузно и порывисто поднялся на ноги, словно испуганный бык, вылезающий из травы… — если честь потеряна?.. Ah, ca! par exemple — я не могу высказать свое мнение. Я не могу высказать свое мнение, monsieur, потому что об этом я ничего не знаю.

Я тоже встал; и, стараясь принять самые учтивые позы, мы молча стояли друг против друга, словно две фарфоровые собачки на каминной доске. Черт бы побрал этого парня! Он попал

в самую точку. Проклятие бессмысленности, какое подстерегает все человеческие беседы, спустилось и на нашу беседу и превратило ее в пустословие.

— Отлично, — сказал я, смущенно улыбаясь, — но не сводится ли все дело к тому, чтобы не быть пойманным?

Казалось, возражение было у него наготове, но он передумал и сказал:

— Monsieur, для меня это слишком тонко… превосходит мое понимание… Я об этом не думаю.

Он тяжело склонился над своей фуражкой, которую держал за козырек большим и указательным пальцами раненой руки. Я тоже поклонился. Мы поклонились одновременно; мы церемонно расшаркались друг перед другом, а лакей смотрел на нас критически, словно уплатил за представление.

— Serviteur![15] — сказал француз.

Снова мы расшаркались.

— Monsieur…

— Monsieur…

Стеклянная дверь захлопнулась за его широкой спиной. Я видел, как подхватил его южный ветер

---

[15] Примечания: 15
ваш покорный слуга! (фр.)

и погнал вперед; он схватился рукой за голову и сгорбился, а полы мундира шлепали его по ляжкам.

Оставшись один, я снова сел, обескураженный… обескураженный делом Джима. Если вас удивляет, что спустя три года с лишним я продолжал этим интересоваться, то да будет вам известно, что Джима я видел совсем недавно. Я только что вернулся из Самаранга, где взял груз в Сидней: в высшей степени скучное дело, которое вы, Чарли, назовете одной из моих разумных сделок, — а в Самаранге я видел Джима. В то время он, по моей рекомендации, работал у Де Джонга. Служил морским клерком. «Мой представитель на море», — как называл его Де Джонг. Образ жизни, лишенный всякого очарования; пожалуй, с ним может сравниться только работа страхового агента. Маленький Боб Стэнтон — Чарли его знает — прошел через это испытание. Тот самый Стэнтон, который впоследствии утонул, пытаясь спасти горничную при аварии «Сефоры». Быть может, вы помните — в туманное утро произошло столкновение судов у испанского берега. Всех пассажиров своевременно усадили в шлюпки, и они уже отчалили от судна, когда Боб снова подплыл и вскарабкался на борт, чтобы забрать

эту девушку. Непонятно, почему ее оставили; во всяком случае, она помешалась — не хотела покинуть судно, в отчаянии цеплялась за поручни. Со шлюпок ясно видели завязавшуюся борьбу; но бедняга Боб был самым маленьким старшим помощником во всем торговом флоте, а мне говорили, что девушка была ростом пять футов десять дюймов и сильна, как лошадь. Так шла борьба: он тянет ее, она — его; девушка все время визжала, а Боб орал, приказывая матросам своей шлюпки держаться подальше от судна. Один из матросов рассказывал мне, скрывая улыбку, вызванную этим воспоминанием:

— Похоже было на то, сэр, как капризный малыш сражается со своей мамашей.

Тот же парень сообщил следующее:

— Наконец мы увидели, что мистер Стэнтон оставил девушку в покое, стоит подле и смотрит на нее. Как мы решили после, он, видно, думал, что волна вскоре оторвет ее от поручней и даст ему возможность ее спасти. Мы не смели приблизиться к борту, а немного погодя старое судно сразу пошло ко дну: накренилось на правый борт и — хлоп! Ужасно быстро его затянуло. Так никто и не всплыл на поверхность — ни живой, ни мертвый.

Недолгая береговая жизнь бедного Боба, кажется, была вызвана каким-то осложнением в любовных делах. Он надеялся, что навсегда покончил с морем и овладел всеми благами земли, но потом все свелось к сбору страховых взносов. Какой-то родственник в Ливерпуле устроил его на это место.

Частенько он рассказывал нам о своих испытаниях. Мы хохотали до слез, а он, довольный эффектом, расхаживал на цыпочках, маленький и бородатый, как гном, и говорил:

— Хорошо вам, ребята, смеяться, но через неделю от такой работы моя бессмертная душа съежилась, как сухая горошина.

Не знаю, как приспособилась к новым условиям жизни душа Джима — слишком я был занят тем, чтобы раздобыть ему работу, которая давала возможность существовать, — но я уверен в одном: его жажда приключений не была удовлетворена, и он испытывал жестокие муки. Это новое занятие не давало его фантазии никакой пищи. Грустно было на него смотреть, но следует отдать ему должное, — свое дело он исполнял упорно и невозмутимо. Это жалкое усердие казалось мне карой за фантастический его героизм — искуплением его стремления к славе, которая была

ему не по силам. Слишком нравилось ему воображать себя великолепной скаковой лошадью, а теперь он обречен был трудиться без славы, как осел уличного торговца. Он справлялся с этим прекрасно: замкнулся в себя, опустил голову, ни разу не пожаловался. Все было бы хорошо, если бы не бурные вспышки, происходившие всякий раз, когда всплывало на поверхность злосчастное дело «Патны». К сожалению, этот скандал восточных морей не забывался. Вот почему я все время чувствовал, что еще не покончил с Джимом.

Когда ушел французский лейтенант, я погрузился в размышления о Джиме; однако эти воспоминания не были вызваны последней нашей встречей в прохладной и мрачной конторе Де Джонга, где не так давно мы наспех обменялись рукопожатием, нет, я видел его таким, как несколько лет назад, когда мы были с ним вдвоем в длинной галерее отеля «Малабар»; тускло мерцала догоравшая свеча, а за его спиной стояла прохладная, темная ночь. Меч правосудия его родины навис над его головой. Завтра — или сегодня, ибо полночь давно миновала, — председатель с мраморным лицом покончит с делом о нападении и избиении, определит размер штрафов и сроки тюремного заключения, а затем

поднимет страшное оружие и ударит по его склоненной шее. Наша беседа в ночи напоминала последнее бдение с осужденным человеком. И он был виновен. Я повторял себе, что он виновен, — виновный и погибший человек. Тем не менее мне хотелось избавить его от пустой детали формального наказания. Не стану объяснять причины, — не думаю, что я бы смог это сделать. Но если к этому времени вы не сумели понять причину, значит, рассказ мой был очень туманен, или вы слишком сонливы, чтобы вникнуть в смысл моих слов. Я не защищаю своих моральных устоев. Ничего морального не было в том импульсе, какой побудил меня открыть ему во всей примитивной простоте план бегства, задуманный Брайерли. И рупии имелись наготове — в моем кармане, и были к его услугам. О, заем, конечно, заем! И если понадобится рекомендательное письмо к одному человеку (в Рангуне), который может предоставить ему работу по специальности… о, я с величайшим удовольствием! В моей комнате, во втором этаже есть перо, чернила, бумага… И пока я это говорил, мне не терпелось начать письмо: день, месяц, год, 2 ч. 30 м. пополуночи… пользуясь правами старой дружбы, прошу вас предоставить какую-нибудь

работу мистеру Джеймсу такому-то, в котором я... и так далее. Я даже готов был писать о нем в таком тоне. Если он и не завоевал моих симпатий, то он сделал больше, — он проник к самым истокам этого чувства, затронул тайные пружины моего эгоизма. Я ничего от вас не скрываю, ибо, вздумай я скрытничать, мой поступок показался бы возмутительно непонятным. А затем завтра же вы позабудете о моей откровенности, так же как забыли о других уроках прошлого. В этих переговорах, выражаясь грубо и точно, я был безупречно честным человеком; но мои тонкие безнравственные намерения разбились о моральное простодушие преступника. Несомненно, он тоже был эгоистичен, но его эгоизм был более высокой марки и преследовал более возвышенную цель. Я понял: что бы я ни говорил, он хочет вынести всю процедуру возмездия, и я не стал тратить много слов, так как почувствовал, что в этом споре его молодость грозно восстанет против меня: он верил, когда я перестал даже сомневаться. Было что-то прекрасное в безумии его неясной, едва брезжившей надежды.

— Бежать! Это немыслимо, — сказал он, покачав головой.

— Я делаю вам предложение и не прошу и не

жду никакой благодарности, — проговорил я. — Вы уплатите деньги, когда вам будет удобно, и…

— Вы ужасно добры, — пробормотал он, не поднимая глаз.

Я внимательно к нему приглядывался: будущее должно было ему казаться страшным и туманным; но он не колебался, как будто и в самом деле с сердцем у него все обстояло благополучно. Я рассердился — не в первый раз за эту ночь.

— Мне кажется, — сказал я, — вся эта злосчастная история в достаточной мере неприятна для такого человека, как вы…

— Да, да… — прошептал он, уставившись в пол.

В этом было что-то душераздирающее. Он был освещен снизу, и я видел пушок на его щеке, горячую кровь, окрашивающую гладкую кожу лица. Хотите — верьте, хотите — не верьте, но это было душераздирающе. Я почувствовал озлобление.

— Да, — сказал я, — и разрешите мне признаться, что я отказываюсь понимать, какую выгоду надеетесь вы получить от этого барахтанья в навозе.

— Выгоду! — прошептал он.

— Черт бы меня побрал, если я понимаю! — воскликнул я, взбешенный.

— Я пытался вам объяснить, в чем тут дело, —

медленно заговорил он, словно размышляя о чем-то, на что нет ответа. — Но в конце концов это моя забота.

Я открыл рот, чтобы возразить, и вдруг обнаружил, что лишился всей своей самоуверенности; как будто и он тоже от меня отказался, он забормотал, как бы размышляя вслух:

— Удрали… удрали в госпиталь… ни один из них не пошел на это… Они!..

Он сделал презрительный жест.

— Но мне приходится это выдержать, и я не должен отступать, или… Я не отступлю.

Он замолчал. Вид у него был такой, словно его преследуют призраки. На лице его отражались эмоции — презрение, отчаяние, решимость — отражались поочередно, как отражаются в магическом зеркале скользящие неземные образы. Он жил, окруженный обманчивыми призраками, суровыми тенями.

— О, вздор, дорогой мой! — начал я.

Он сделал нетерпеливое движение.

— Вы как будто не понимаете, — сказал он резко, потом посмотрел на меня в упор: — Я мог прыгнуть, но я не убегу.

— Я не хотел вас обидеть, — сказал я и глупо добавил: — Случалось, что люди получше вас

считали нужным бежать.

Он густо покраснел, а я в смущении чуть не подавился собственным своим языком.

— Быть может, так, — сказал он наконец. — Я недостаточно хорош; я не могу это себе позволить. Я обречен бороться до конца, сейчас я веду борьбу.

Я встал со стула и почувствовал, что все тело у меня онемело. Молчание приводило в замешательство, и, желая положить ему конец, я ничего лучшего не придумал, как заметить небрежным тоном:

— Я и не подозревал, что так поздно…

— Ну что ж, хватит с вас, — сказал он отрывисто; сказать по правде, он озирался, разыскивая шляпу, — и с меня хватит.

Да, он отказался от этого предложения, единственного в своем роде. Он отстранил руку помощи; теперь он готов был уйти, а за балюстрадой ночь — неподвижная, как будто подстерегающая его, словно он был намеченной добычей. Я услышал его голос:

— А, вот она!

Он нашел свою шляпу. Несколько секунд мы молчали.

— Что вы будете делать после… после?.. — спро-

сил я очень тихо.

— Вероятно, отправлюсь ко всем чертям, — угрюмо пробормотал он.

Рассудок ко мне вернулся, и я счел нужным не принимать его ответа всерьез.

— Пожалуйста, помните, — сказал я, — что мне бы очень хотелось еще раз увидеть вас до вашего отъезда.

— Не знаю, что может вам помешать. Эта проклятая история не сделает меня невидимым, — сказал он с горечью, — на это рассчитывать не приходится.

А потом, в момент расставания он начал бормотать, заикаться, нерешительно жестикулировать, явно колебаться. Да будет это прощено ему… Мне! Он вбил себе в голову, что я, пожалуй, не захочу пожать ему руку. Это было так ужасно, что я не находил слов. Кажется, я вдруг закричал на него, как кричат человеку, который на ваших глазах собирается шагнуть со скалы в пропасть. Помню наши повышенные голоса, жалкую улыбку на его лице, до боли крепкое рукопожатие, нервный смех. Свеча с шипением погасла; наконец закончилось наше свидание; снизу, из темноты донесся стон.

Джим ушел. Ночь поглотила его фигуру. Он был

ужасный путаник. Ужасный! Я слышал, как песок скрипел под его ногами. Он бежал. Действительно бежал, хотя ему некуда было идти. И ему не было еще двадцати четырех лет.

14

Я спал мало, быстро покончил с завтраком и, после недолгих колебаний, отказался от утреннего посещения своего судна. Поступок предосудительный, ибо мой старший помощник — во всех отношениях человек прекрасный — был жертвой своего воображения и, не получая вовремя письма от жены, сходил с ума от ревности и злобы, забывал о работе, ссорился с матросами и плакал в своей каюте, или приходил в такое бешенство, что мог довести команду до мятежа. Такое поведение всегда казалось мне необъяснимым: они были женаты тринадцать лет; один раз я мельком ее видел и, по чести, не мог представить себе человека, который впал бы в грех ради столь непривлекательной особы. Не знаю, правильно ли я поступал, скрывая свои соображения от бедняги Селвина: парень устроил себе ад на земле, это отражалось и на мне — и я страдал, но какая-то, несомненно ложная, деликатность сковывала мне язык. Супружеские узы моряков являются интересной темой, и я бы мог привести вам примеры… Однако сейчас не время и не ме-

сто, и мы заняты Джимом, который был холост. Если его чувствительная совесть или гордость, если все экстравагантные призраки и суровые тени — роковые спутники его юности — не позволяли ему бежать от плахи, то меня, которому, конечно, нельзя приписать таких спутников, непреодолимо влекло пойти и посмотреть, как покатится его голова.

Я отправился в суд. Я не ждал сильных впечатлений или ценных сведений, не думал, что буду заинтересован или испуган, хотя, пока жив человек, страх является дисциплиной спасительной, — но не ждал я и такого угнетенного состояния. Горечь его возмездия словно пропитала затхлый воздух в суде. Подлинный смысл преступления заключается в нарушении той веры, какой живет общество и человечество, и с этой точки зрения он не был низким предателем — казнь не была публичной. Не было ни высокого эшафота, ни алого сукна (имеется ли алое сукно на Тауэр-Хилл? Следовало бы его иметь!), ни пораженной ужасом толпы, которая возмущена его преступлением и тронута до слез его судьбой. Наказание не носило характера мрачного возмездия. Я шел в суд и видел яркий солнечный свет, блеск слишком яркий, чтобы он мог действовать

успокоительно, на улицах смешение красок, словно в испорченном калейдоскопе: желтой, зеленой, синей, ослепительно белой; коричневое обнаженное плечо; повозка с красным навесом, запряженная волом; отряд туземной пехоты, марширующий по улице, — темные головы, пыльные зашнурованные ботинки; туземный полисмен в темном узком мундире, подпоясанный лакированным поясом; он посмотрел на меня своими восточными скорбными глазами, словно его переселяющаяся душа бесконечно страдала от непредвиденного… как это называется?.. **аватар** — воплощения. В тени одинокого дерева во дворе суда деревенские жители, призванные по делу о нападении, сидели живописной группой, напоминая хромолитографию лагеря в книге о путешествии по Востоку. Не хватало только неизбежных клубов дыма на переднем плане да вьючных животных, пасущихся поодаль. Сзади, нависая над деревом, поднималась желтая стена, отражая солнечный свет. В зале суда было темно и как будто более просторно. Высоко в тусклом свете под потолком вертелись пунки. Кое-где между рядами незанятых скамей виднелась задрапированная фигура человека, неподвижного, словно погруженного в благочестивые размышления,

казавшегося карликом в этих голых стенах. Истец — тот, кого избили, — тучный, шоколадного цвета, с бритой головой и обнаженным жирным плечом, с ярко-желтым значком касты над переносицей, сидел напыщенный и неподвижный; только ноздри его раздувались, да глаза сверкали в полумраке. Брайерли тяжело опустился на стул; вид у него был изнуренный, как будто он провел ночь, бегая на корде. Благочестивый шкипер парусного судна, казалось, был возбужден и смущенно ерзал, словно сдерживая желание встать и пламенно призвать нас к молитве и раскаянию. Лицо председателя, бледное, — волосы были аккуратно зачесаны, — походило на лицо тяжелобольного, которого умыли, причесали и усадили на постели, подперев подушками. Он отодвинул вазу с цветами — пурпуровый букет, а над ним несколько длинных стеблей с розовыми цветками, — и, взяв обеими руками лист голубой бумаги, пробежал его глазами, оперся локтями о край стола и стал читать вслух ровным голосом, внятно и равнодушно.

Клянусь богом! Несмотря на мои глупые размышления об эшафоте и падающих головах, уверяю вас, это было несравненно хуже, чем гильотинирование. Нависло тяжелое предчувствие

конца без надежды на отдых и покой, какого ждешь за взмахом топора. В этой процедуре была холодная мстительность смертного приговора и жестокость изгнания. Вот как смотрел я на нее в то утро, и даже теперь я нахожу достаточные основания для такой обостренной реакции на эту процедуру. Можете себе представить, как остро воспринимал я ее в то время. Быть может, потому-то я и не мог примириться с неизбежным концом. Об этом деле я никогда не забывал, всегда жадно о нем размышляя, словно оценка его еще не была дана — оценка отдельных людей и всего человечества! Этого француза, например. Приговор его страны был вынесен в бесстрастной и строго определенной фразе, какую могла бы произнести машина, если бы умела говорить. Лицо председателя было наполовину скрыто бумагой; виднелся его лоб, белый, как алебастр.

Перед судом стояло несколько вопросов. Прежде всего — было ли судно во всех отношениях пригодно к плаванию? На это суд ответил: нет. Помню следующий вопрос: управляли ли судном надлежащим образом до момента катастрофы? На это они ответили: да, — одному богу известно, почему, — а затем заявили, что нет данных точно установить причину аварии. Должно быть, оно

наткнулось на плавучее разбитое судно. Помню, примерно в то время пропал без вести норвежский барк с грузом строевого леса; в шквал такого рода судно легко могло опрокинуться и в течение многих месяцев плавать верх килем, — нечто вроде морского вампира, во мраке подстерегающего суда. Такие скитающиеся трупы часто встречаются в северных водах Атлантического океана, где вас преследуют все чудища моря — туманы, ледяные горы, мертвые суда, одержимые злобными намерениями, и длительные, зловещие бури, которые цепляются за судно, как вампир, пока не иссякнут сила, мужество, даже надежда, и человек не почувствует себя опустошенным. Но там, в тех морях такое происшествие — редкость, и казалось, всю эту историю специально подстроило злостное провидение; дело это производило впечатление совершенно бессмысленной чертовщины, разве что провидение задалось целью убить кочегара и навлечь на Джима беду похуже смерти.

Эти мысли отвлекли мое внимание, и сначала я лишь смутно слышал голос председателя, но затем звуки стали складываться в отчетливые слова…

«…пренебрегли своим долгом», — читал он.

Следующей фразы я не разобрал. «…покинули в минуту опасности доверенных им людей и имущество…» — продолжал он и замолк. Глаза под белым лбом бросили мрачный взгляд поверх листа бумаги. Я поспешно стал разыскивать Джима, словно ждал, что он исчезнет. Нет, он сидел на своем месте неподвижный. Он сидел, розовый, белокурый и очень внимательный.

«Поэтому…» — выразительно начал голос. Джим, приоткрыв рот, ловил слова человека, сидевшего за столом. Эти слова врывались в тишину, нарушаемую лишь вертящимися пунками, а я, следя за тем, какое они производят на него впечатление, улавливал только отрывочные фразы приговора.

«Суд… Густав такой-то, шкипер… немец по происхождению… Джеймс такой-то… штурман… свидетельства аннулированы».

Наступило молчание. Председатель положил бумагу, оперся о ручку кресла и спокойно стал разговаривать с Брайерли. Публика двинулась к выходу, я тоже направился к дверям. Выйдя за дверь, я остановился, и, когда Джим проходил мимо меня, я поймал его за рукав и удержал. Взгляд, какой он бросил, расстроил меня, словно на мне лежала ответственность за его состояние:

он посмотрел на меня так, будто я был воплощением зла.

— Все кончено, — запинаясь, выговорил я.

— Да, — сказал он хрипло. — И теперь пусть ни один человек…

Он рванулся и высвободил руку. Я смотрел ему вслед. Улица была длинная, и я долго видел вдали его спину. Он шел медленно, широко расставляя ноги, словно ему трудно было идти по прямой линии. Перед тем как я потерял его из виду, мне показалось, что он пошатнулся.

— Человек за бортом! — раздался низкий голос за моей спиной. Оглянувшись, я увидел Честера из Западной Австралии, с которым был немного знаком. Он также смотрел вслед Джиму. Это был человек с необъятно широкой грудью, грубым, гладко выбритым лицом цвета красного дерева и двумя жесткими пучками серых, толстых, как проволока, волос на верхней губе. Он скупал жемчуг, приводил к берегу потерпевшие крушение суда, торговал, занимался, кажется, даже китобойным промыслом; по его словам, он испробовал все профессии, какие возможны на море, и не занимался только пиратством. Тихий океан на севере и на юге служил ему полем для охоты, но теперь он покинул свои владения в по-

исках дешевого парохода. Не так давно он, по его словам, открыл где-то остров с гуано, но доступ к нему был труден, а якорная стоянка, если таковая имелась, была отнюдь не безопасна.

— Дело богатое, не хуже золотой жилы! — воскликцал он. — Как раз среди рифов Уолпол, а если и правда, что якорь можно бросить лишь на глубине сорока сажень, — то что за беда? Бывают там и ураганы. Но дело — первый сорт. Не хуже золотой жилы. Лучше! Однако ни один из этих дураков не хочет за него взяться. Я не могу найти ни шкипера, ни судовладельца, которые согласились бы отправиться туда. Вот я и решил сам развозить свой товар.

Для этого ему нужен был пароход, и я знаю, что в то время он с энтузиазмом торговался с одной парской[16] фирмой, продававшей старую, оснащенную как бриг, развалину в девяносто лошадиных сил. Мы несколько раз встречались и разговаривали. Он многозначительно посмотрел вслед Джиму.

— Принимает близко к сердцу? — презрительно спросил он.

— Очень близко, — сказал я.

---

[16] Примечания: 16

парсы — индийцы, исповедующие религию древних персов — зороастризм

— Значит, он никуда не годится, — высказал свое мнение Честер. — Стоит ли волноваться из-за такого пустяка? Разве это мужчина! Вы должны брать вещи такими, как они есть; если этого не делаете, лучше сразу сдавайтесь. Все равно вы никогда ничего путного в этом мире не добьетесь. Посмотрите на меня. Я взял себе за правило ничего не принимать близко к сердцу.

— Да, — сказал я, — вы видите вещи такими, как они есть.

— Хотел бы я встретить сейчас моего компаньона, — пробормотал он. — Знаете моего компаньона? Старый Робинсон. Да, тот самый Робинсон. Как, вы не знаете? Известный Робинсон. Человек, который провез контрабандой больше опиума и в свое время захватил больше котиков, чем кто бы то ни было из нынешних парней. Говорят, он абордировал шхуны, охотившиеся за котиками у берегов Аляски, когда туман был такой густой, что только господь бог мог отличить одного человека от другого. Страшный Робинсон. Вот он кто такой. Он — мой компаньон в этом деле с гуано. Такой блестящий случай впервые выпал ему в жизни.

Он зашептал мне на ухо:

— Каннибал? Да, так его прозвали много лет

назад. Помните эту историю? Кораблекрушение у западного берега острова Стьюарта. Семь человек добрались до берега; кажется, они между собой не поладили. Иные люди бывают слишком привередливы… не видят лучшей стороны дела, не умеют брать вещи такими, как они есть… как они есть, приятель! А каковы результаты? Ясно. Неприятности, а может быть, и удар по голове; и это им на пользу. От таких людей больше проку, когда они мертвые. Рассказывают, что шлюпка с судна «Росомаха» нашла его стоящим на коленях среди водорослей; он был в чем мать родила и распевал какой-то псалом, а в то время падал снежок. Когда шлюпка подошла к берегу, он вскочил и убежал. Целый час гонялись они за ним по валунам, наконец один из матросов швырнул камень, который, по счастью, попал ему в голову за ухом, и парень упал без чувств. Один ли он был на острове? Конечно. Но это такое же темное дело, как и история со шхунами, занимавшимися охотой на котиков. Никому не известно, кто здесь прав, кто виноват. На катере расспросами не занимались. Они завернули его в брезент и поскорей отплыли, так как надвигалась ночь, погода была угрожающая, а судно через каждые пять минут давало сигналы из орудий.» Три неде-

ли спустя он был здоровехонек. Шум, поднятый по поводу этого дела, нимало его не расстроил; он только сжал губы и предоставил людям орать вволю. Достаточно скверно было потерять судно и все имущество, чтобы еще обращать внимание на ругательства, какими его осыпали. Вот это подходящий для меня человек.

Он поднял руку, подавая знак кому-то шедшему по улице.

— У него есть кое-какие средства; вот почему мне пришлось принять его в дело. Пришлось! Грешно было бы прозевать такую находку, а у меня в кармане было пусто. Меня это больно задело, но я беру вещи такими, как они есть, и, полагаю, если мне уже приходится с кем-то делиться, то подайте мне Робинсона. Я оставил его завтракать в отеле, а сам пошел в суд, так как мне пришло кое-что на ум… А, доброе утро, капитан Робинсон… Мой друг, капитан Робинсон.

Тощий патриарх — в белом тиковом костюме и в индийском, с зеленым ободком, шлеме на трясущейся от старости голове — рысцой, но волоча ноги, перебежал через улицу, подошел к нам и остановился, держась обеими руками за ручку зонтика. Белая борода, в которой запутались янтарные нити, спускалась до пояса. С

недоуменным видом он, моргая, смотрел на меня из-под морщинистых век.

— Как поживаете? Как поживаете? — любезно пискнул он и пошатнулся.

— Глуховат немного, — бросил мне Честер.

— Неужели вы тащили его за шесть тысяч миль, чтобы заполучить дешевый пароход? — спросил я.

— Я бы готов был два раза объехать с ним вокруг света! — энергично воскликнул Честер. — Пароход поставит нас на ноги, приятель. Разве моя вина в том, что все шкиперы и судовладельцы на этих островах Австралазии оказались круглыми дураками? Как-то раз я три часа говорил с одним человеком в Окленде.

«Пошлите судно, — сказал я, — пошлите судно. Я отдам вам даром половину первого груза, только чтобы начало было положено».

А он говорит: «Я бы этого не сделал, даже если бы не было на свете другого местечка, куда можно послать судно».

Форменный осел, конечно. Скалы, течения, нет якорной стоянки, приходится лежать в дрейфе у крутого утеса… ни одно страховое общество не пойдет на такой риск… за три года не удастся погрузиться. Осел! Я готов был на колени перед

ним упасть.

«Но посмотрите же на дело, как оно есть, — сказал я. — К черту скалы и ураганы! Разве не видите, что это за дело? Ведь там гуано! Говорю вам, в Куинсленде владельцы сахарных плантаций будут за него драться — драться на набережной…»

Но что поделаешь с таким дураком?

«Это, говорит, одна из ваших шуточек. Честер…»

Шуточка! Я чуть не заплакал. Вот спросите капитана Робинсона… Был еще один судовладелец в Уэллингтоне — жирный парень в белом жилете. Тот думал, кажется, что я хочу его надуть.

«Не знаю, какого дурака вы ищете, — сказал он, — но сейчас я слишком занят. До свиданья».

Мне хотелось схватить его обеими руками и вышвырнуть в окно его собственной конторы. Но я этого не сделал. Я был кроток, как священник.

«Подумайте об этом, — сказал я, — подумайте. Я зайду завтра».

Он проворчал, что его целый день не будет дома. На лестнице я готов был от досады биться головой об стенку. Вот капитан Робинсон может подтвердить. Ужасно было думать, что такое прекрасное гуано валяется зря, — ведь оно могло бы черт знает как поднять цены на сахарный

тростник. Ведь это был бы расцвет Куинсленда! А в Брисбене, куда я отправился, чтобы сделать последнюю попытку, меня назвали сумасшедшим. Идиоты! Я нашел только одного разумного человека — извозчика, который меня возил-по городу. Думаю, он когда-то знал лучшие времена. Эй! Капитан Робинсон! Помните, я вам рассказывал об извозчике в Брисбене? Парень удивительно умел вникать в суть дела. В одну секунду все понял. Истинное удовольствие было с ним разговаривать. Как-то вечером, после чертовского дня, проведенного с судовладельцами, я почувствовал себя так скверно, что сказал:

«Я должен напиться. Идем! Я должен напиться, иначе я сойду с ума».

«Я с вами, — говорит он, — вперед!»

Не знаю, что бы я без него делал. Эй! Капитан Робинсон!

Он ткнул в бок своего компаньона.

— Хи-хи-хи! — засмеялся старец, тупо глядя вдоль улицы; потом недоверчиво посмотрел на меня своими печальными тусклыми глазами. — Хи-хи-хи!..

Он тяжело оперся о зонтик и уставился в землю. Я думаю, нечего вам говорить, что я несколько раз пытался уйти, но Честер всякую попытку обрекал

на неудачу, попросту хватая меня за китель.

— Одну минуту. У меня есть кое-что на уме.

— Что еще там у вас на уме? — крикнул я наконец, не выдержав. — Если вы думаете, что я войду с вами в компанию…

— Нет, нет, приятель! Слишком поздно, даже если бы вы захотели. У нас есть пароход.

— У вас есть призрак парохода, — сказал я.

— Для начала и он будет хорош… Мы не занимаемся высокопарными бреднями. Этого у нас нет; что скажете, капитан Робинсон?

— Нет! Нет! Нет! — не поднимая глаз, прокаркал старик, и голова его старчески затряслась с какой-то свирепой решимостью.

— Кажется, вы знаете этого молодого человека, — сказал Честер, кивая в ту сторону, где давно уже скрылся из виду Джим. — Мне говорили, что вчера вечером он обедал с вами в «Малабаре».

Я отвечал, что это правда. Тогда он заявил, что и сам любит пожить на широкую ногу, со вкусом, но в настоящее время вынужден беречь каждый пенни…

— Деньги нужны для дела! Не так ли, капитан Робинсон? — сказал он, выпрямляясь и поглаживая свои щетинистые усы. А знаменитый Робинсон, покашливая, вцепился в ручку зон-

тика и, казалось, готов был рассыпаться в кучу старых костей.

— Видите ли, все деньги у старика, — конфиденциально шепнул Честер. — Я все просадил, стараясь организовать это проклятое дело. Но подождите, подождите. Скоро настанут хорошие времена…

Он как будто удивился, заметив, что я проявляю признаки нетерпения, и воскликнул:

— Ах, черт возьми! Я вам рассказываю о величайшем предприятии, какое когда-либо замышлялось, а вы…

— У меня деловое свидание с одним человеком, — кротко пояснил я.

— Ну так что ж? — спросил он с неподдельным изумлением. — Пусть подождет.

— Я и заставляю его ждать, — заметил я. — Вы лучше скажите, что вам от меня нужно.

— Купить двадцать таких отелей, — бормотал про себя Честер, — со всеми жильцами… двадцать и еще столько же…

Неожиданно он поднял голову.

— Мне нужен этот молодой человек.

— Не понимаю, — сказал я.

— Он никуда не годится, верно? — резко спросил Честер.

— Мне это неизвестно, — возразил я.

— Как… да ведь вы сами говорили, что он принимает это близко к сердцу, — пояснил Честер. — По моему мнению, парень, который… Во всяком случае, толку от него мало, но, видите ли, я как раз ищу сейчас человека, и у меня есть предложение, которое ему подойдет. Я ему дам работу на моем острове.

Он внушительно кивнул головой.

— Я собираюсь отправить туда сорок кули… хотя бы мне пришлось их украсть. Должен же кто-нибудь возиться с гуано! О, я решил устроить все как следует: деревянный сарай, крыши из рифленого железа… Я знаю одного человека в Хобарте, который согласится ждать шесть месяцев уплаты за материал. Я это сделаю, клянусь честью. А затем — снабжение водой. Нужно будет порыскать и поискать кого-нибудь, кто бы дал мне с полдюжины старых железных резервуаров. Собирать дождевую воду, а?.. Я готов дать ему место. Назначу его старшим надсмотрщиком над кули. Хорошая мысль, не правда ли? Что вы на это скажете?

— Да ведь на Уолполе по нескольку лет не бывает дождя, — сказал я, слишком изумленный, чтобы смеяться.

Он закусил губу и, казалось, был раздосадован.

— О, это вздор, я что-нибудь там для них придумаю… или буду доставлять воду. К черту! Не в этом дело.

Я молчал. Перед моими глазами неожиданно встало видение: Джим на залитом солнцем скалистом острове стоит по колена в гуано; пронзительные крики морских птиц; раскаленный добела шар солнца над головой; пустынное небо и пустынный океан, трепещущие, опаленные до самого горизонта.

— Я бы злейшему своему врагу не посоветовал… — начал я.

— Что с вами такое? — вскричал Честер. — Я думаю назначить ему хорошее жалованье… конечно, когда дело наладится. А работа пустяшная — попросту ничего не делать. Будет расхаживать с двумя шестизарядными револьверами у пояса… Имея при себе два револьвера, он может не бояться сорока кули: ведь он будет единственным вооруженным человеком. Дело значительно лучше, чем кажется. Я хочу, чтобы вы помогли мне его уговорить.

— Нет! — крикнул я.

Старый Робинсон уныло поднял на секунду свои тусклые глаза. Честер посмотрел на меня с

бесконечным презрением.

— Значит, вы бы не стали ему советовать? — медленно проговорил он.

— Конечно, нет, — ответил я с негодованием, словно он просил моей помощи, чтобы убить кого-то. — Кроме того, я уверен, что он бы не согласился. Он очень подавлен, но, поскольку мне известно, — в своем уме.

— Ведь он действительно ни на что не годен, — вслух размышлял Честер. — Мне бы он как раз подошел. Если бы вы только могли брать вещи, как они есть, вы бы поняли, что это самое подходящее для него дело. Помимо этого… Как! Да ведь это единственный в своем роде случай!

Вдруг он рассердился.

— Мне нужен человек. Слышите!..

Он топнул ногой; на лице его появилась неприятная усмешка.

— Во всяком случае, я могу поручиться, что остров не затонет… а парень, кажется, на этот счет чувствителен.

— До свидания, — коротко сказал я.

Он посмотрел на меня так, словно я был круглым дураком.

— Пора нам в путь, капитан Робинсон! — заорал он вдруг в самое ухо старику. — Эти парсы нас

ждут, чтобы заключить сделку.

Он решительно взял своего компаньона под руку, повернул его кругом, а затем неожиданно оглянулся на меня через плечо.

— Я хотел ему оказать услугу, — заявил он таким тоном, что я вскипел.

— Не благодарю вас — от его имени, — отозвался я.

— О, вы чертовски язвительны! — огрызнулся он. — Но вы такой же, как и все. Витаете в облаках. Посмотрим, что вы для него сделаете.

— Не знаю, есть ли у меня охота вообще что-нибудь для него делать.

— Не знаете? — захлебнулся он со злости. Седые усы его свирепо ощетинились, а подле него знаменитый Робинсон, опираясь на зонт, стоял, повернувшись ко мне спиной, терпеливый и неподвижный, словно заезженная извозчичья кляча.

— Я не нашел острова с гуано, — сказал я.

— Убежден, что вы бы его и не увидели, даже если бы вас подвели к нему за руку, — быстро парировал тот. — Здесь нужно сначала увидеть вещь, а потом ее использовать. Проникнуть в самую суть — вот что!

— И заставить других увидеть, — подсказал я,

бросив взгляд на согбенную спину Робинсона.

Честер набросился на меня:

— Не беспокойтесь, у него глаза хорошие. Он — не щенок.

— О господи, конечно! — сказал я.

— Идемте, капитан Робинсон! — заорал он, с грубоватой почтительностью заглядывая старику под шляпу.

Страшный Робинсон покорно подпрыгнул. Их ждал призрак парохода и богатство на том прекрасном острове! То была любопытная пара аргонавтов. Честер шагал не спеша, с видом победителя, широкоплечий, представительный, а Робинсон, долговязый, худой, согбенный, уцепился за его руку и отчаянно торопился, волоча тощие ноги.

15

Я не отправился тотчас на поиски Джима потому только, что мне действительно было назначено свидание, которым я не мог пренебрегать. Затем злая судьба подстроила так, что в конторе моего агента я наткнулся на одного парня, только что вернувшегося с Мадагаскара и задумавшего какое-то удивительное предприятие. Оно имело отношение к скоту, патронам и принцу Равонало, но стержнем всего являлась тупость какого-то адмирала, — кажется, адмирала Пьера. Все вертелось вокруг этого, и парень не мог найти слова достаточно убедительные, чтобы выразить свою уверенность в успехе. У него были круглые глаза, выпученные и блестевшие, как у рыбы, и шишки на лбу; волосы, длинные, без пробора, были зачесаны назад. С торжествующим видом он повторял свою излюбленную фразу:

— Минимум риска и максимум прибыли — вот мой девиз. А, что?

Он довел меня до головной боли, испортил мне завтрак, но вытянул из меня все, что ему было нужно. Отделавшись от него, я немедленно от-

правился к морю.

На набережной я увидел Джима; он стоял, перегнувшись через парапет. Три лодочника-туземца, спорившие из-за пяти анна, страшно шумели у него под боком. Он не слышал, как я подошел, но круто повернулся, словно легкое прикосновение моего пальца вывело его из оцепенения.

— Я смотрел… — пробормотал он.

Не помню, что я ему сказал, — во всяком случае, мне не пришлось потратить много слов, чтобы уговорить его идти со мной в отель.

Он последовал за мной, податливый как маленький ребенок, послушно, отнюдь не протестуя, словно ждал, что я приду и уведу его. Мне бы не следовало так удивляться его сговорчивости. На всем земном шаре, который одним кажется таким большим, а другие считают его меньше горчичного семени, не было места, где бы он мог… как это сказать?.. где бы он мог уединиться. Вот именно! Уединиться — остаться со своим одиночеством. Он шел подле меня очень спокойный, поглядывая по сторонам, а один раз повернул голову, чтобы посмотреть на кочегара в короткой куртке и желтоватых штанах; черное лицо кочегара лоснилось и блестело, как кусок антрацита. Я сомневаюсь, однако, видел ли он что-нибудь

и замечал ли мое присутствие, ибо если бы я не поворачивал его налево и не подталкивал направо, он, кажется, шел бы прямо вперед в любом направлении, пока не встала бы перед ним стена или какая-нибудь иная преграда. Я привел его в свою комнату и немедленно сел писать письма. Это был единственный уголок во всем мире (если не считать рифа Уолпол, но этого местечка не было под рукой), где Джим мог остаться наедине со своими мыслями, огражденный от остальной вселенной. Проклятая история — как он выразился — не сделала его невидимым, но я вел себя так, словно для меня он был невидим. Усевшись на стул, я тотчас же склонился над письменным столом, как средневековый писец, и сидел напряженно-неподвижный; только рука моя, сжимавшая перо, скользила по бумаге. Не могу сказать, что я был испуган; но я действительно притаился, словно в комнате находилось какое-то опасное существо, которое при первом моем движении готово на меня прыгнуть. Мебели в комнате было немного — вы знаете обстановку таких спален: что-то вроде кровати на четырех столбиках под сеткой от москитов, два-три стула, стол, за которым я писал; пол не был покрыт ковром. Стеклянная дверь выходила на верхнюю

веранду; Джим стоял, повернувшись к ней лицом, и в одиночестве переживал тяжелые минуты.

Спустились сумерки; я зажег свечу, по возможности избегая лишних движений и делая это с такой осторожностью, словно то была запретная процедура. Несомненно, ему было тяжело; скверно было и мне — скверно до такой степени, что, признаюсь, я мысленно посылал его к черту или хотя бы на риф Уолпол. Раза два мне приходило в голову, что в конце концов Честер, быть может, лучше всех сумел бы подойти к человеку, потерпевшему такое крушение. Этот странный идеалист, тотчас же и не задумываясь, нашел для него практическое применение. Могло показаться, что он и в самом деле умеет видеть подлинное существо вещей, которые человеку, не наделенному таким воображением, представляются таинственными или совершенно безнадежными.

Я писал и писал; я написал всем, с кем поддерживал переписку, а затем стал писать людям, которые не имели ни малейшего основания ждать от меня многословного письма, посвященного пустякам. Изредка я украдкой на него поглядывал. Он стоял, как будто пригвожденный к полу, но судорожная дрожь пробегала у него

по спине, а плечи тяжело поднимались. Он боролся, — но, казалось, почти все его усилия были направлены на то, чтобы ловить ртом воздух. Сгущенные тени, отбрасываемые в одну сторону прямым пламенем свечи, словно наделены были сумрачным сознанием; неподвижная мебель показалась мне настороженной. Не переставая усердно писать, я начал фантазировать; когда же на секунду перо мое приостанавливалось и в комнате воцарялась полная тишина, меня томило то смятение мыслей, какое вызывает сильный и грозный шум, — например, шторм. Кое-кто из вас поймет, быть может, что я имею в виду то смутное беспокойство, отчаяние и раздражение, тот нарастающий страх, в котором неприятно признаваться; но человек, справляющийся с такими чувствами, может похвастаться своею выносливостью. Я не вижу заслуги в том, что выдерживал напряжение эмоций Джима; я мог найти выход в писании писем; в случае необходимости я мог писать незнакомым людям.

Вдруг, доставая новый лист бумаги, я услышал слабый звук — первый, коснувшийся моего слуха в сумрачной тишине комнаты. Я застыл с опущенной головой. Те, кому приходилось бодрствовать у постели больного, слыхали такие

слабые звуки в тишине ночи, — звуки, исторгнутые у истерзанного тела и истомленной души. Он толкнул стеклянную дверь с такой силой, что стекла зазвенели; он вышел на веранду, а я затаил дыхание, напрягая слух и не зная, чего, собственно, я жду. Он действительно принимал слишком близко к сердцу пустую формальность, которая строгому критику Честеру казалась недостойной внимания человека, умеющего брать вещи, как они есть. Пустая формальность: кусок пергамента! Так, так! Что же касается недосягаемого гуано, то тут совсем другое дело. Из-за этого и разумный человек может терзаться.

Слабый гул голосов, смешанный со звоном серебра и посуды, поднимался снизу из столовой; тусклый свет моей свечи падал в открытую дверь на его спину. Дальше был мрак, он стоял на грани необъятной тьмы, словно одинокая фигура на берегу хмурого и безнадежного океана. Правда, был еще риф Уолпол — пятнышко в темной пустоте, соломинка для утопающего. Мое сочувствие к нему выразилось в такой мысли: не хотелось бы, чтобы его родные видели его в этот момент. Мне самому было нелегко. Дрожь, вызванная вздохами, уже не пробегала больше по его спине; он стоял прямой, как стрела, неподвижный, слабо

освещенный свечой; всем существом я проник в смысл этой неподвижности, и мне стало так тяжело, что на секунду я от всего сердца пожелал одного: чтобы мне пришлось заплатить за его похороны. Даже правосудие с ним покончило. Похоронить его — такая легкая услуга! Это соответствовало бы житейской мудрости, которая заключается в том, чтобы устранять все напоминания о нашем безумии, нашей слабости и смертности, — все, что ослабляет нашу силу, — воспоминания о наших неудачах, призрак ночного страха, тела наших умерших друзей. Быть может, он слишком близко принимал это к сердцу. А в таком случае предложение Честера… Тут я взял новый лист бумаги и решительно стал писать. Я один стоял между ним и темным океаном. Я чувствовал, что несу на себе ответственность. Если я заговорю — не прыгнет ли этот неподвижный, страдающий юноша во мрак… чтобы ухватиться за соломинку? Мне стало ясно, как трудно иной раз бывает заговорить. Есть какая-то жуткая сила в сказанном слове… А почему бы и нет, черт возьми! Настойчиво я задавал себе этот вопрос, продолжая писать. Вдруг на белом листе бумаги, у самого кончика пера, отчетливо начали вырисовываться две фигуры — Честера и

его дряхлого компаньона; ясно видел я их походку и жесты, словно они появились под стеклом какого-то оптического инструмента.

Некоторое время я за ними следил. Нет! Слишком они были призрачны и нелепы, чтобы играть роль в чьей-то судьбе. А слово уводит далеко — очень далеко, несет разрушение, пронизывая время, как пуля пронизывает пространство. Я ничего не сказал, а он, повернувшись спиной к свету, стоял неподвижный и молчаливый, словно все невидимые враги человека связали его и зажали ему рот.

16

Близилось время, когда мне предстояло увидеть его окруженным любовью, доверием, восхищением; легенда складывалась вокруг его имени, наделяя его силой и доблестью, словно он был рожден героем. Это правда, уверяю вас; это так же верно, как и то, что я сижу здесь, бесцельно рассказывая вам о нем. А он отличался той способностью сразу улавливать лик своих желаний и своих грез, без которой земля не знала бы ни любовников, ни искателей приключений. Он завоевал почет и аркадское счастье — не говорю невинность — в лесах, и ему это давало столько же, сколько дает другому человеку почет и аркадское счастье города. Блаженство, блаженство… как бы это сказать?.. Блаженство пьют из золотой чаши под всеми широтами: аромат его с вами — только с вами, — и вы можете им опьяняться, как вам будет угодно. Он был из тех, кто пьет большими глотками, — об этом вы можете судить по предыдущему. Когда я его увидел, он был если и не опьянен, то, во всяком случае, разгорячен чудесным эликсиром. Не сразу он ему достался.

Был, как вы знаете, период испытания среди проклятых судовых поставщиков: в этот период он страдал, а я беспокоился… беспокоился о своем подопечном… если можно так выразиться. Не знаю, окончательно ли я успокоился теперь, после того как созерцал его во всем блеске. Так видел я его в последний раз — при ярком свете, властвующего над окружающей его жизнью и в то же время в полной гармонии с ней — с жизнью лесов и с жизнью людей. Признаюсь, это произвело на меня впечатление, но должен сказать, что в конце концов впечатление не было длительным. Его защищало уединение: он был один, в близком общении с природой, которая при таких условиях не изменяет своим возлюбленным. Но в памяти я не могу закрепить его образ во дни его безопасности. Всегда я буду вспоминать его таким, каким видел в открытую дверь моей комнаты, когда он, быть может, слишком близко принимал к сердцу пустые последствия своей неудачи. Я рад, конечно, что мои страдания привели к кое-каким хорошим и даже блестящим результатам, но иногда мне кажется — лучше было бы для моего спокойствия духа, если бы я не встал между ним и чертовски великодушным предложением Честера. Интересно, что создала бы его

буйная фантазия из этого островка Уолпол — безнадежно заброшенной крошки земли на лоне вод. Но вряд ли я бы что-нибудь о нем услышал, ибо должен вам сказать, что Честер, заглянув в какой-то австралийский порт для починки своей оснащенной как бриг развалины, отплыл затем в Тихий океан с командой в двадцать два человека, и единственной вестью, имевшей, быть может, отношение к его таинственной судьбе, была весть об урагане, пронесшемся месяц спустя над Уолполскими отмелями. И с тех пор никто не слыхал об аргонавтах, — ни звука не донеслось из пустыни. Finis![17] Тихий океан — самый скрытный из всех горячих, вспыльчивых океанов; холодный Антарктический океан тоже умеет хранить тайну, но его скрытность подобна молчанию могилы.

Такая скрытность рождает предчувствие желанного конца, который все мы более или менее искренно готовы допустить — ибо что, как не это, позволяет примириться с мыслью о смерти? Конец! Finis! Властное слово, которое изгоняет из дома живых грозную тень судьбы. Вот чего мне не хватает — несмотря на то, что я его видел

---

[17] Примечания: 17
конец (лат.)

собственными своими глазами и слышал его серьезное уверение, — не хватает, когда я оглядываюсь на успех Джима. Пока длится жизнь, не иссякает надежда; но живет и страх. Я не хочу этим сказать, что сожалею о своем поступке; не стану утверждать, будто не сплю по ночам. Но невольно преследует мысль, что он слишком близко принимал к сердцу свое унижение, тогда как значение имела только его вина. Он был мне не совсем понятен. И возникает подозрение, что он и сам себя не понимал. Приходилось считаться с его утонченной восприимчивостью, его утонченными чувствами — с чем-то вроде возвышенного и идеализированного эгоизма. Он был — если вы мне разрешите так выразиться — очень утонченным, очень утонченным и очень несчастным. Натура чуть-чуть погрубее не знала бы такого надрыва; она заключила бы с собой сделку, и этой сделке сопутствовал бы вздох, ворчание или даже хохот; натура еще более грубая осталась бы неуязвимо тупой и никого бы не интересовала.

Но он был слишком интересен или слишком несчастен, — его нельзя было послать к черту или хотя бы к Честеру. Я это почувствовал, пока сидел, склонившись над бумагой, а он в моей

комнате вел жесткую молчаливую борьбу и задыхался, ловя воздух; я это чувствовал, когда он стремительно выбежал на веранду, словно хотел броситься вниз — и не бросился; и это чувство крепло во мне, пока он оставался там, слабо освещенный на фоне ночи, как будто стоял на берегу сумрачного и безнадежного моря.

Неожиданно раздался тяжелый грохот, и я поднял голову. Шум, казалось, унесся вдаль, и вдруг пронизывающий и ослепительный свет упал на слепой лик ночи. Сверкающие вспышки блестели непостижимо долго. Раскаты грома все усиливались, а я смотрел на черную фигуру Джима, твердо стоящего над морем света. После самой яркой вспышки с оглушительным треском спустилась тьма, и мои ослепленные глаза больше его не видели, словно он рассыпался на атомы. Пронесся шумный вздох; чьи-то злобные руки как будто ломали кустарник, потрясали верхушки деревьев, захлопывали двери, разбивали окна во всем доме.

Джим вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Я склонился над столом: мысль о том, что он сейчас скажет, пробудила во мне беспокойство, близкое к страху.

— Можно мне закурить? — спросил он.

Не поднимая головы, я подвинул коробку с сигаретами.

— Мне… мне нужно курить, — пробормотал он.

Я вдруг очень оживился.

— Сию минуту я кончаю, — любезно бросил я ему.

Он прошелся по комнате.

— Гроза пронеслась, — услышал я его голос. С моря, словно сигнал бедствия, донесся отдаленный удар грома.

— Рано начинаются в этом году муссоны, — произнес он где-то за моей спиной. Этот спокойный тон меня ободрил, и, адресовав последний конверт, я поспешил обернуться. Он стоял посреди комнаты и жадно курил; хотя он и слышал, что я пошевельнулся, но сначала не поворачивался ко мне лицом.

— Ну что ж! Я выпутался недурно, — сказал он, круто повернувшись. — Кое-что уплачено, немного. Интересно, что теперь будет.

На его лице не заметно было никаких признаков волнения, но оно слегка потемнело и как будто опухло, словно он сдерживал дыхание. Я молча смотрел на него, а он принужденно улыбнулся и продолжал:

— Все-таки я вам очень благодарен… Когда находишься в угнетенном состоянии… ваша комната… здесь очень удобно…

В саду журчал и бушевал дождь; шум в водосточной трубе под окном (должно быть, она была продырявлена) казался пародией на бурное горе со всхлипываньем и слезливыми жалобами, прерывавшимися неожиданной спазмой.

— …какое-нибудь убежище, — пробормотал он и умолк.

Вспышка слабой молнии ворвалась в черные рамы окон и угасла бесшумно. Я размышлял о том, как мне к нему подступиться — не хотелось снова встретить отпор, — как вдруг он тихонько засмеялся.

— Теперь я не лучше бродяги… — кончик сигареты тлел между его пальцами. — …нет ни одного, ни одного… — медленно заговорил он, — и однако…

Он замолчал; дождь полил еще сильнее.

— Когда-нибудь придет же случай вернуть все. Должен прийти! — прошептал он внятно, уставившись на мои ботинки.

Я даже не знал, что именно он так сильно хотел вернуть, чего ему так не хватало. Быть может, не было слов, чтобы это выразить. Кусок шагреневой

кожи, по мнению Честера… Он вопросительно взглянул на меня.

— Быть может… Если долго проживете, — с бессмысленной злобой пробормотал я сквозь зубы. — Не слишком на это рассчитывайте.

— Клянусь небом! Мне кажется, ничто уже меня не коснется, — сказал он с мрачной уверенностью. — Раз уже это дело не могло меня пристукнуть, нечего бояться, что не хватит времени выкарабкаться и…

Он посмотрел наверх.

Тут мне пришло в голову, что из таких, как он, вербуется великая армия покинутых и заблудших, — армия, которая марширует, опускаясь все ниже и ниже, заполняя все сточные канавы на земле. Как только Он выйдет из моей комнаты, покинет это «убежище», он займет свое место в рядах ее и начнет спуск в бездонную пропасть. У меня, во всяком случае, никаких иллюзий не было. Но в то же время я, я, который секунду назад был так уверен во власти слов, боялся теперь заговорить, — подобно тому, как человек, стоящий на льду, боится пошевельнуться из страха упасть. Лишь пытаясь помочь другому человеку, замечаем мы, как непонятны, расплывчаты и туманны эти существа, которые делят с нами сияние звезд

и тепло солнца. Кажется, будто одиночество является суровым и непреложным условием бытия; оболочка из мяса и крови, на которую устремлены наши взоры, тает, когда мы простираем к ней руку, и остается лишь капризный, безутешный и ускользающий призрак; нам он невидим, и ничья рука не может его коснуться. Страх потерять его и заставлял меня молчать, ибо во мне с неодолимой силой родилось убеждение, что я никогда не прощу себе, если дам ему ускользнуть во тьму.

— Так… Благодарю вас еще раз. Вы были необычайно… гм… право же, у меня нет слов выразить… И я не знаю, чем объяснить такое отношение… Боюсь, что я еще недостаточно вам благодарен, вся эта история так зверски меня придавила… И в глубине души… вы, вы сами… — Он запнулся.

— Возможно, — вставил я. Он нахмурился.

— Во всяком случае, человек несет ответственность. — Он следил за мной, как ястреб.

— И это правда, — сказал я.

— Ну что ж! Я выдержал до конца, и теперь никому не позволю ставить мне на вид… безнаказанно… — Он сжал кулак.

— Вы сами будете это делать, — сказал я с улыбкой — совсем не веселой, — но он посмотрел на меня угрожающе.

— Это мое дело, — сказал он. Выражение непреклонной решимости появилось на его лице и мгновенно исчезло. Через секунду он снова был похож на славного мальчика, попавшего в беду. Он швырнул сигарету.

— Прощайте, — сказал он торопливо, словно человек, замешкавшийся, когда его ждет срочная работа; потом секунду он стоял не шевелясь.

Дождь лил тяжелыми потоками, и в этом непрерывном шуме чудилось какое-то неудержимое бешенство; возникали воспоминания о смытых мостах, о вырванных с корнем деревьях, обвалах в горах. Ни один человек не мог противиться этому стремительному потоку, казалось, ворвавшемуся в тусклую тишину, где мы кое-как приютились, словно на островке. Продырявленная труба противно шипела, захлебывалась, плевалась, плескалась, как будто передразнивая пловца, борющегося за жизнь.

— Дождь идет, — возразил я, — и я…

— Дождь или солнце… — начал он резко, потом оборвал фразу и подошел к окну.

— Настоящий потоп, — пробормотал он немного погодя, прижавшись лбом к стеклу. — И темно.

— Да, очень темно, — сказал я.

Он повернулся на каблуках, пересек комнату и открыл дверь, выходящую в коридор, раньше, чем я успел вскочить со стула.

— Подождите! — крикнул я. — Я хочу, чтобы вы…

— Я не могу обедать с вами сегодня, — бросил он мне, уже перешагнув через порог.

— Я и не собирался вас приглашать! — заорал я.

Тут он сделал шаг назад, но недоверчиво застыл на пороге. Не теряя времени, я серьезно попросил его не глупить, войти и закрыть дверь.

17

Наконец он вошел, но, кажется, причиной тому был дождь; в тот момент он лил с невероятной силой и постепенно стал затихать, пока мы разговаривали. Джим был очень спокоен, сдержан, как молчаливый от природы человек, одержимый какой-то идеей. Я же говорил о материальной стороне его положения, преследуя одну-единственную цель: спасти его от падения, гибели и отчаяния, подстерегающих одинокого, бездомного человека. Я просил его принять мою помощь, я приводил разумные доводы; и всякий раз, взглядывая на это задумчивое лицо, такое серьезное и юное, я с тревогой чувствовал, что не только ему не помогаю, но скорее мешаю какому-то таинственному, необъяснимому порыву его израненной души.

Помню, я говорил раздраженно:

— Вероятно, вы намереваетесь и есть, и пить, и спать под крышей, как все люди. Вы заявляете, что не притронетесь к деньгам, какие вам следуют…

Он сделал жест, выражающий чуть ли не ужас.

(Ему как штурману «Патны» причиталось жалованье за три недели и пять дней.)

— Ну, во всяком случае, сумма слишком ничтожна, но что вы будете делать завтра? Куда вы пойдете? Должны же вы как-то жить…

— Не в этом дело, — вырвалось у него чуть слышно. Я не обратил внимания на его слова и продолжал сражаться с тем, что считал преувеличенной щепетильностью.

— Рассуждая здраво, — заключил я, — вы должны принять мою помощь.

— Вы не можете помочь, — сказал он очень просто и мягко, крепко цепляясь за какую-то идею; я ее не видел, я различал только ее мерцание, как мерцает в темноте пруд, и не надеялся к ней приблизиться настолько, чтобы в нее проникнуть. Я окинул взглядом его хорошо сложенную фигуру.

— Во всяком случае, — сказал я, — я могу помочь вам — такому, каким я вас вижу. На большее я и не претендую.

Не глядя на меня, он скептически покачал головой. Я разгорячился.

— Но я могу, — настаивал я. — Я могу сделать даже больше. И делаю. Я доверяю вам…

— Деньги… — начал он.

— Честное слово, вы заслуживаете, чтобы я

послал вас к черту! — вскричал я, умышленно преувеличивая свое негодование.

Он вздрогнул, улыбнулся, а я продолжал вести наступление.

— Речь идет вовсе не о деньгах. Вы слишком поверхностны, — сказал я, думая в то же время: «Клюет! А может быть, он и в самом деле поверхностный человек». — Взгляните на это письмо. Я хочу, чтобы вы его взяли. Я пишу человеку, к которому никогда еще не обращался с просьбой, пишу о вас в таких выражениях, к каким прибегают, говоря о близком друге. Я всецело отвечаю за вас. Вот что я делаю. И право же, если вы только поразмыслите немного о том, что это значит…

Он поднял голову. Дождь прошел; только водосточная труба продолжала проливать слезы, нелепо булькая под окном. В комнате было очень тихо; тени сгустились в углах, подальше от свечи, которая горела ровным пламенем, похожим на клинок кинжала. Вдруг мне показалось, что мягкий свет залил его лицо, словно отблеск загоравшейся зари.

— Боже мой! — воскликнул он. — Как это благородно!

Если бы он вдруг показал мне в насмешку язык, я бы не мог почувствовать большее унижение. Я

подумал: «Поделом! Нечего приставать…»

Глаза его ярко блеснули, но я заметил, что насмешки в них не было. Вдруг он стал порывисто двигаться, словно одна из тех плоских деревянных фигур, которые приводишь в движение, дергая за шнурок. Руки его поднялись и снова упали. Он показался мне совершенно другим человеком.

— А я ничего не замечал! — воскликнул он; потом вдруг закусил губы и нахмурился.

— Каким я был ослом… — произнес он очень медленно, благоговейным тоном; потом приглушенным голосом воскликнул: — Вы — молодчина!

Он схватил мою руку, словно в первый раз ее увидел, и сейчас же выпустил.

— Как! Да ведь это — то, чего я… вы… я… — забормотал он и вдруг по-старому, упрямо, я бы сказал — по-ослиному, произнес: — Я был бы теперь скотиной, если бы… — Тут голос его оборвался.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, испуганный этим проявлением чувств, вскрывавшим странное возбуждение. Случайно я дернул за шнурок, не совсем понимая устройство игрушки.

— Теперь я должен идти, — сказал он. — Боже, как вы мне помогли! Не могу сидеть спокойно…

То самое… — Он посмотрел на меня с недоуменным восхищением. — То самое…

Конечно, это было «то самое». Десять шансов против одного, что я его спас от голода — того голода, какому почти неизбежно сопутствует пьянство. Вот и все. На этот счет у меня не было иллюзий, но, глядя на него, я задумался над тем, какого, собственно, человека принял он в сердце свое за эти последние три минуты. Я дал ему возможность прилично продолжать серьезное дело жизни, получать пищу и кров, какими обычно пользуются люди, а его израненная душа, как птица с поломанным крылом, могла забиться в какую-нибудь щель, чтобы там спокойно умереть от истощения. Вот что я для него сделал — и в самом деле очень мало, и вдруг, если судить по тому, как он принял мои слова, это малое разрослось при тусклом свете свечи в огромную, расплывчатую, быть может опасную тень.

— Вы не сердитесь, что я ничего путного не могу сказать! — воскликнул он. — Нет слов, чтобы говорить об этом. Еще вчера вечером вы мне так помогли… Тем, что меня слушали. Честное слово, мне несколько раз казалось, что голова моя лопнет…

Он метался — буквально метался — по комнате,

засунул руки в карманы, снова их вытащил, надел на голову фуражку. Я и не подозревал, что он может быть таким легкомысленно оживленным. Я думал о сухом листе, подхваченном ветром; какое-то таинственное предчувствие, тяжелое неопределенное сомнение приковывало меня к стулу. Вдруг он застыл на месте, словно пораженный каким-то открытием.

— Вы подарили мне свое доверие, — объявил он серьезно.

— Ох, ради бога, дорогой мой, не нужно, — взмолился я, как будто он меня обидел.

— Хорошо. Я буду молчать. Но ведь вы не можете запретить мне думать… Ничего… я еще покажу…

Он быстро направился к двери, остановился, опустил голову и вернулся, шагая решительно.

— Я всегда думал о том, что если бы человек мог начать сначала… А теперь вы… до известной степени… да… сначала…

Я махнул ему рукой, и он вышел, не оглядываясь; звук его шагов замирал постепенно за дверью — решительная поступь человека, идущего при ярком дневном свете.

Что же касается меня, то, оставшись один у стола с одной-единственной свечой, я почему-то

не почувствовал себя просветленным. Я был уже не настолько молод, чтобы за каждым поворотом видеть сияние, какое маячит нам в добре и в зле. Я улыбнулся при мысли о том, что в конце концов из нас двоих сияние видел он. И мне стало грустно. Начать сначала, сказал он? Да разве начальное слово наших судеб не было высечено нестираемыми письменами на скале.

18

Шесть месяцев спустя мой друг — владелец рисовой фабрики, циничный пожилой холостяк, пользовавшийся репутацией сумасброда, — написал мне письмо и, решив на основании моей теплой рекомендации, что я не прочь услышать что-либо о Джиме, распространился об его достоинствах. Он оказался скромным и дельным.

«Не находя в своем сердце ничего, кроме покорной терпимости к представителям моей породы, я жил до настоящего времени один в доме, который даже в этом жарком климате может показаться слишком большим для одного человека. Не так давно я ему предложил жить со мной. Кажется, промаха я не сделал».

Читая это письмо, я подумал, что в отношении к Джиму мой друг проявил не только терпимость — нет, это было начало подлинной привязанности. Конечно, он приводил своеобразные доводы. Прежде всего Джим в этом климате не утратил своей свежести. Будь он девушкой, — писал мой друг, — можно было бы сказать, что он цветет, цветет скромно, как фиалка, а не как эти вульгар-

но крикливые тропические цветы. Джим прожил в доме полтора месяца, и ни разу еще не попытался хлопнуть его по спине, назвать «стариной» или дать понять ему, что он — дряхлое ископаемое. Не отличался Джим и несносной болтливостью, свойственной молодым людям. Характер хороший, говорить ему не о чем, отнюдь не умен, к счастью, — писал мой друг. Но, видимо, Джим был все же достаточно умен, чтобы спокойно ценить его остроумие и в то же время забавлять его своей наивностью.

«Молоко на губах у него еще не обсохло, и теперь, когда у меня появилась блестящая идея дать ему комнату в доме и обедать вместе, я себя чувствую не таким дряхлым. На днях ему пришло в голову встать и пройти по комнате с единственной целью открыть мне дверь: и я почувствовал себя ближе к человечеству, чем был все эти годы. Забавно, не правда ли? Конечно, я догадываюсь — есть тут какой-то ужасный маленький грешок, и вам о нем известно, но если он действительно ужасен, мне кажется, можно постараться его простить. Я лично заявляю, что не могу заподозрить его в проступке более серьезном, чем набег на фруктовый сад. Неужели дело обстоит более серьезно? Быть может, вам следовало бы мне ска-

зать; но мы оба давно ударились в святость, и вы, пожалуй, позабыли о том, что и мы в свое время грешили. Может случиться, что когда-нибудь я вас об этом спрошу, и тогда, надеюсь, вы мне скажете. Мне не хочется его расспрашивать, пока я не имею понятия о том, что это такое. Кроме того, сейчас еще слишком рано. Пусть он еще несколько раз откроет для меня дверь…»

Вот что писал мой друг. Я был очень доволен — подающим надежды Джимом, тоном письма, собственной своей проницательностью. Видимо, я знал, что делал: я разгадал его натуру и так далее… А что, если из этого выйдет что-нибудь неожиданное и чудесное? В тот вечер, отдыхая в шезлонге под тентом, на юте моего судна, стоявшего в гавани Гонконга, я заложил для Джима первый камень воздушного замка. Я сделал рейс на север, а когда вернулся, меня ждало еще одно письмо от моего друга. Этот конверт я вскрыл прежде всего.

«Насколько мне известно, столовые ложки не пропали, — так начиналось письмо. — Впрочем, я не поинтересовался об этом осведомиться. Он уехал, оставив на обеденном столе официальную записочку с извинениями, — записочку или очень глупую, или бессердечную. Быть может, и

то и другое, — а мне нет никакого дела. Разрешите вам сообщить, на случай, если у вас имеются в запасе еще какие-нибудь таинственные молодые люди, что я свою лавочку закрыл окончательно и навсегда. Это последнее сумасбродство, в каком я повинен. Не подумайте, что меня это задело, но на теннисных площадках очень о нем сожалеют, и я, в своих же интересах, придумал правдоподобное объяснение и сообщил в клубе…»

Я отбросил листок в сторону и стал разбирать кучу писем на своем столе, пока не наткнулся на почерк Джима. Можете вы этому поверить? Один шанс из сотни. Но всегда подвертывается этот сотый шанс. Вынырнул в более или менее жалком состоянии маленький второй механик с «Патны» и получил временную работу на рисовой фабрике — ему поручили смотреть за машинами.

«Я не мог вынести фамильярность этой скотины, — писал Джим из морского порта, отстоящего на семьсот миль к югу от того места, где он мог кататься как сыр в масле. — Сейчас я поступил к Эгштрему и Блэку — судовым поставщикам: временно служу у них — ну, скажем, курьером, если называть вещи их именами. Я сослался на вас — это была моя рекомендация: вас они, конечно, знают, и если вы можете написать словечко в

мою пользу, место останется за мной».

Я был придавлен развалинами своего замка, но, конечно, исполнил его просьбу и написал. В конце года мне пришлось отправиться в те края, и там я имел случай с ним повидаться.

Он все еще служил у Эгштрема и Блэка, и мы встретились в комнате, которую они называли «наша приемная». Комната сообщалась с лавкой. Джим только что вернулся с судна и, увидев меня, опустил голову, готовясь к стычке.

— Что вы имеете сказать в свое оправдание? — начал я, как только мы обменялись рукопожатием.

— То, что я вам писал, — ничего больше, — упрямо сказал он.

— Парень начал болтать? — спросил я.

Он взглянул на меня, смущенно улыбаясь.

— О нет! Он не болтал. Он держал себя так, словно нас связывает какая-то тайна. Напускал на себя чертовски таинственный вид всякий раз, как я приходил на фабрику; подмигивал мне почтительно, как будто хотел сказать: «Мы-то с вами знаем». Гнусно подлизывался, фамильярничал…

Он бросился на стул и уставился на свои ноги.

— Как-то раз мы остались вдвоем, и парень осмелился сказать: «Ну, мистер Джеймс, — меня

называли там мистером Джеймсом, словно я был сын хозяина. — Ну, мистер Джеймс, вот мы опять вместе. Здесь лучше, чем на старом судне, правда?»

Не возмутительно ли это? Я посмотрел на него, а он сделал глубокомысленную мину.

Не беспокойтесь, сэр, говорит. Я сразу могу узнать джентльмена и понимаю, как должен себя чувствовать джентльмен. Надеюсь все же, что вы оставите за мной это место. Мне тоже туго пришлось из-за скандала с этой проклятой старой «Патной».

Это было ужасно. Не знаю, что бы я сказал или сделал, если бы в это время не услышал голоса мистера Дэнвера, звавшего меня из коридора. Был час завтрака. Мы вместе с мистером Дэнвером прошли через двор и сад к бенгало. Он начал, по своему обыкновению, ласково подтрунивать надо мной… Кажется, он ко мне привязался…

Джим минутку помолчал.

— Да, я знаю — он ко мне привязался. Вот почему мне было так тяжело. И такой чудесный человек! В то утро он взял меня под руку… Он тоже был со мной фамильярен.

Джим отрывисто рассмеялся и опустил голову.

— Когда я вспомнил, как эта гнусная скотина

со мной разговаривала, — начал он вдруг дрожащим голосом, — мне невыносимо было думать о себе… Вы понимаете?

Я кивнул головой.

— Ведь он относился ко мне скорее как отец! — воскликнул он, и голос его оборвался. — Мне пришлось бы ему сказать. Я не мог это так оставить, не правда ли?

— Ну и что же? — прошептал я немного погодя.

— Я предпочел уйти, — медленно сказал он, — это дело нужно похоронить.

Из лавки доносился сварливый, напряженный голос Блэка, ругавшего Эгштрема. Много лет они вместе вели дело, и каждый день, с того момента как раскрывались двери и до последней минуты перед закрытием, Блэк, маленький человечек с прилизанными черными волосами и грустными глазами-бусинками, бранился неустанно, въедливо, с каким-то плаксивым бешенством. Эта вечная ругань была явлением самым обычным в их конторе; даже посетители очень скоро переставали обращать на нее внимание и лишь изредка бормотали: «Вот надоело!» — или вскакивали и закрывали дверь приемной. Эгштрем, угловатый, грузный скандинавец, суетливый, с огромными светлыми бакенбардами, отдавал

распоряжения, проверял фактуры, счета или писал письма за высокой конторкой в лавке и, не обращая внимания на крики, держал себя так, будто был абсолютно глух. Лишь время от времени он досадливо произносил: — Шш!.. — но это «шш» ни малейшего впечатления не производило, да он его и не ждал.

— Здесь ко мне очень прилично относятся, — сказал Джим. — Блэк — прохвост, но Эгштрем — славный парень.

Он поспешно встал и подошел размеренными шагами к окну, где стоял штатив с подзорной трубой, обращенной к рейду.

— Вон судно входит в порт: его застиг штиль, и оно все утро простояло за рейдом, — сказал он терпеливо. — Я должен отправиться на борт.

Мы молча пожали друг другу руку, и он пошел к двери.

— Джим! — крикнул я.

Он оглянулся, стоя у порога.

— Вы… вы, быть может, отказались от счастья.

Он снова подошел ко мне.

— Такой чудесный старик, — сказал он. — Но как я мог? Как я мог? — Губы его дрогнули. — Здесь это не имеет значения.

— О, вы… вы… — начал я; мне пришлось подыс-

кивать подходящее слово, а когда я убедился, что такого слова нет, он уже ушел. Из лавки донесся низкий ласковый голос Эгштрема, весело говорившего:

— Это «Сара Грэнджер», Джимми. Постарайтесь первым попасть на борт.

Тотчас же ввязался Блэк и завизжал, как разъяренный какаду:

— Скажите капитану, что у нас лежат его письма. Это его заманит сюда. Слышите, мистер… как вас там?

Джим поспешил ответить Эгштрему, и в тоне его было что-то мальчишеское:

— Ладно. Я устрою гонку.

Кажется, в этом тягостном деле он нашел хорошую сторону: можно было устраивать гонки.

В тот рейс я больше его не видел, но в следующий раз — мое судно было зафрахтовано на шесть месяцев — я опять направился в контору. В десяти шагах от двери я услышал брань Блэка, а когда я вошел, он бросил на меня грустный взгляд. Эгштрем, расплываясь в улыбке, направился ко мне, протягивая свою большую костлявую руку.

— Рад вас видеть, капитан… Шш… Так и думал, что вы скоро сюда заглянете. Что вы сказали, сэр? Шш… Ах, Джим! Он от нас ушел. Пойдемте

в приемную…

Когда захлопнулась дверь, напряженный голос Блэка стал доноситься слабо, как голос человека, отчаянно ругающегося в пустыне.

— И поставил нас в пренеприятное положение. Должен сказать — скверно с нами обошелся…

— Куда он уехал? Вам известно? — спросил я.

— Нет. И никакого смысла не было спрашивать, — сказал Эгштрем. Он стоял передо мной — любезный, неуклюже опустив руки; на помятом синем саржевом жилете протянулась тонкая серебряная часовая цепочка. — Такой человек не едет в определенное место.

Я был слишком озабочен новостью, чтобы спрашивать объяснения этой фразы. Эгштрем продолжал:

— Он от нас ушел… позвольте-ка, ушел в тот самый день, когда прибыл пароход с паломниками, возвращавшийся из Красного моря; две лопасти винта у него были сломаны. Это случилось три недели назад.

— Не было ли каких разговоров о происшествии с «Патной»? — спросил я, ожидая худшего.

Он вздрогнул и посмотрел на меня, словно я был волшебником.

— Да… были. Откуда вы знаете? Кое-кто гово-

рил об этом. Здесь собрались два-три капитана, управляющий технической конторой Ванло в порту, еще двое или трое и я. Джим тоже был здесь — стоял с сандвичем и стаканом пива в руке; когда мы заняты — вы понимаете, капитан, — нет времени завтракать по-настоящему. Он стоял вот у этого стола и ел сандвичи, а мы все столпились у подзорной трубы и смотрели, как этот пароход входит в гавань; тут управляющий от Ванло начал говорить о капитане «Патны»; когда-то он делал для него какой-то ремонт; затем он нам рассказал, какая это была старая развалина, и сколько денег он из нее выжимал. К слову он упомянул о последнем ее плавании, и тут мы все вступили в разговор. Один говорил одно, другой — другое… ничего особенного — то, что сказали бы и вы и всякий человек. Немного посмеялись. Капитан О'Брайн с «Сары Грэнджер», — он сидел вот в этом кресле и прислушивался к разговору, — вдруг как стукнет палкой по полу да как заорет:

«Негодяи!»

Мы все так и подпрыгнули. Управляющий от Ванло подмигивает нам и спрашивает:

«В чем дело, капитан О'Брайн?»

«В чем дело! В чем дело! — Тут старик раскри-

чался. — Над чем смеетесь? Это дело не шуточное. Позор для всего рода человеческого — вот что это такое! Я бы застыдился, если бы меня увидели в одной комнате с кем-нибудь из этих парней. Да, сэр!»

Он встретил мой взгляд, и из вежливости я вынужден был сказать:

«Негодяи! Ну, конечно, капитан О'Брайн, мне бы самому не хотелось видеть их здесь, так что в этой комнате вы находитесь в полной безопасности. Не хотите ли выпить чего-нибудь прохладительного?»

«К черту ваше прохладительное, Эгштрем!» — кричит он, сверкая глазами. — Если я захочу пить, я и сам потребую. Нужно отсюда уходить. Воздух здесь сейчас скверный».

Тут все не выдержали — расхохотались и один за другим последовали за стариком. И вот, сэр, этот проклятый Джим кладет сандвич, который он держал в руке, обходит стол и направляется ко мне; его стакан с пивом стоит нетронутый.

«Я ухожу», — говорит — и больше ни слова.

«Еще нет и половины второго, — говорю я, — можете урвать минутку и покурить».

Я думал, он говорит, что пора ему отправляться на работу. Когда же я понял, что он задумал, тут у

меня руки так и опустились. Знаете ли, не всякий день повстречаешь такого человека; парусной лодкой управлял, как черт; готов был в любую погоду выходить в море навстречу судам. Не раз, бывало, какой-нибудь капитан зайдет сюда и первым делом говорит:

«Где вы это раздобыли такого морского агента, Эгштрем? Сумасшедший сорви-голова! На рассвете я еле-еле нащупывал дорогу, как вдруг, смотрю, летит из тумана прямо мне под ноги лодка, полузалитая водой. Брызги перелетают через мачту, два перепуганных туземца сидят на дне шлюпки, а какой-то черт у румпеля орет: «Эй! Эй! Судно! Алло! Капитан! Эй! Эй! Агент Эгштрема и Блэка первым говорит с вами! Эй! Эй! Эгштрем и Блэк. Алло! Эй!» Расталкивает туземцев, кричит во все горло, позади рифы, налетает шквал, а он орет мне, чтобы я ставил паруса, он введет меня в гавань. Не человек, а черт. Никогда в жизни не видал, чтобы так обращались со шлюпкой. И ведь не пьян, а? А когда поднимется на борт, — вижу, такой тихий, вежливый парень… и краснеет, как девушка…»

Говорю вам, капитан Морлоу, когда Джим выходил в море навстречу незнакомому судну, никто не мог с нами соперничать. Остальным по-

ставщикам только и оставалось, что удерживать старых покупателей, и…

Эгштрем, видимо, был сильно расстроен.

— Да, сэр. Похоже было на то, что он готов отправиться в море за сто миль в старой калоше, чтобы заполучить судно для фирмы. Если бы фирма принадлежала ему и нужно было ее еще на ноги поставить, он и то не мог бы сделать большего… А теперь вдруг… совсем неожиданно. Вот я и подумал: «Ого! Хочет прибавки жалованья… вот в чем тут дело».

«Ладно, — говорю я, — незачем поднимать шум, Джимми. Скажите — сколько вы хотите. Всякое разумное требование будет удовлетворено».

Он поглядел на меня так, словно старался проглотить что-то застрявшее у него в горле.

«Я не могу оставаться у вас».

«Что за дурацкая шутка?» — спрашиваю я.

Он покачал головой, а я по глазам его увидел, что он как будто уже ушел. Тут я на него накинулся и стал ругать.

«От кого это вы бежите? — спрашиваю. — Кто вам пришелся не по вкусу? Что вас задело? Да у вас ума меньше, чем у крысы, — крыса и та не побежит с хорошего судна. Где вы думаете получить лучшее место, такой-сякой?»

Уверяю вас, я его здорово отделал.

«Эта фирма не потонет», — говорю. А он вдруг как подскочит.

«Прощайте, — говорит и кивает мне головой, словно какой-нибудь лорд, — вы не плохой парень, Эгштрем. Даю вам слово, если бы вы знали причину, вы бы не стали меня задерживать».

«Это, — говорю, — дурацкая ложь. Я знаю, чего хочу».

Он так меня взбесил, что я даже расхохотался.

«Неужели не можете подождать хоть минутку, чтобы выпить этот стакан пива, чудак человек?»

Не знаю, что это на него нашло; он как будто дверь едва мог найти; уверяю вас, капитан, забавное было зрелище. Я сам выпил его пиво.

«Ну уж коли вы так спешите, пью за ваше здоровье из вашего же стакана, — сказал я ему. — Только попомните мои слова: если будете продолжать эту игру, вы скоро убедитесь, что земля для вас слишком мала, — вот и все».

Он бросил на меня мрачный взгляд и выбежал из комнаты, а лицо у него было такое, что хоть ребят пугай.

Эгштрем с горечью фыркнул и расчесал узловатыми пальцами белокурые бакенбарды.

— С тех пор так и не могу найти порядочного

человека. Одни неприятности. А разрешите спросить, капитан, как это вы на него наткнулись?

— Он был штурманом на «Патне» в то плавание, — сказал я, чувствуя, что обязан дать какое-то объяснение.

С минуту Эгштрем сидел неподвижно, запустив пальцы в бакенбарду, а потом разразился:

— А кому какое до этого дело, черт возьми?

— Полагаю, что никому… — начал я.

— И чего он, черт возьми, добивается, проделывая такие штуки?

Вдруг он засунул в рот левую бакенбарду и, пораженный какою-то мыслью, воскликнул:

— Черт! А ведь я ему сказал, что земля окажется слишком мала для него.

19

Я вам рассказал эти два эпизода, желая продемонстрировать, что он с собой проделывал на новом этапе своей жизни. Таких эпизодов было много, — больше, чем можно пересчитать по пальцам.

Все они были равно окрашены той высокомерной нелепостью, какая делает их глубоко трогательными. Бросать свой хлеб насущный, чтобы руки были свободны для борьбы с призраком, — это может быть актом прозаического героизма. Люди поступали так и раньше (хотя мы, пожившие на своем веку, знаем прекрасно, что не истерзанная душа, но голодное тело делает человека отщепенцем), а те, что были сыты и намеревались быть сытыми всю жизнь, аплодировали такому похвальному безумию. Он действительно был несчастен, ибо никакое безрассудство не могло его увести от нависшей тени. Всегда его храбрость оставалась под сомнением. Да, по-видимому, нельзя уничтожить призрак факта. Вы можете ему противостоять или избегать его, а мне приходилось встречать

людей, которые подмигивали знакомым теням. Видимо, Джим был не из тех, что подмигивают; но я так никогда и не мог решить, какова его линия поведения — бежит ли он от своего призрака, или ему противостоит. Я изощрял свою проницательность и в результате обнаружил лишь то, что различие меж тем и другим слишком неясно; как бывает и со всеми нашими поступками — определенного решения быть не могло. Здесь, пожалуй, было и бегство и своеобразная манера вести борьбу. Людям заурядным он вскоре стал известен, как непоседа, ибо то была самая забавная сторона его поведения; спустя некоторое время о нем знали все, он, несомненно, пользовался известностью в круге своих скитаний, — а диаметр этого круга равнялся приблизительно трем тысячам миль, — так знает вся округа какого-нибудь сумасброда. Например, в Бангкоке, где он нашел место у братьев Юкер, фрахтовщиков и торговцев тиковым деревом, жалко было смотреть, как он разгуливает при свете дня, лелея свою тайну, которая была известна всем, вплоть до бревен на реке. Шомберг, содержатель отеля, где жил Джим, волосатый эльзасец с мужественной осанкой и складочное место всех скандальных сплетен, сообщал, бывало, опершись обоими локтями о

стол, приукрашенную версию истории Джима какому-нибудь посетителю, который жаждал новостей наравне с более дорогими напитками.

— И заметьте, он чудеснейший парень, какого только можно встретить, — великодушно заканчивал эльзасец свой рассказ, — выдающийся человек.

В пользу случайных посетителей заведения Шомберга говорит тот факт, что Джим ухитрился прожить в Бангкоке целых шесть месяцев. Я заметил, что люди, совершенно его не знавшие, привязывались к нему, как привязываешься к милому ребенку. Он всегда был сдержан, но, казалось, самая его внешность, его волосы, глаза, улыбка завоевывали ему друзей, где бы он ни появлялся. И, конечно, он был не дурак. Я слышал, как Зигмунд Юкер (уроженец Швейцарии) — кроткое создание, измученное жестокой диспепсией и так сильно хромавшее, что голова его склонялась градусов на сорок пять в сторону при каждом его шаге, — заявил одобрительно, что для такого молодого человека он отличается большими способностями.

— Почему не послать его в глубь страны? — с тревогой намекнул я: братья Юкер владели концессиями и тиковыми лесами внутри страны. —

Если, как вы говорите, у него есть способности, он справится с работой. И физически он к этому приспособлен. Здоровье у него превосходное.

— Ах! Великое дело в этой стране уберечься от диспепсии! — завистливо вздохнул бедный Юкер и украдкой поглядел на свой больной живот. Когда я уходил от него, он задумчиво барабанил пальцами по столу и бормотал:

— Это идея! Это идея!

К несчастью, в тот самый вечер в отеле произошел неприятный инцидент.

Не могу сказать, чтобы я сильно порицал Джима, но инцидент поистине был прискорбный. Это была жалкая трактирная ссора; противником Джима был косоглазый датчанин — один из тех парней, что пишут на визитных карточках под своей незаконно присвоенной фамилией: «Старший лейтенант Королевского Сиамского Флота». Парень, конечно, не умел играть на бильярде, но, кажется, не любил быть битым. Выпил он достаточно, чтобы разозлиться после шестой партии, и сделал какое-то презрительное замечание по адресу Джима. Большая часть присутствовавших этих слов не слыхала, а у тех, кто слышал, воспоминания как будто улетучились под влиянием страшных событий, не замедлив-

ших последовать. Счастье для датчанина, что он умел плавать, ибо дверь выходила на веранду, а внизу протекал Менам — река очень широкая и черная. Лодка с китайцами, отправлявшимися, вероятно, в какую-то воровскую экспедицию, выудила офицера короля сиамского, а Джим около полуночи явился без шляпы на борт моего судна.

— Все в комнате как будто знали, — сказал он, еще не успев отдышаться после поединка.

Принципиально он, пожалуй, сожалел о происшедшем, но заявил, что в данном случае «выбора не было». А привел его в ужас тот факт, что всем и каждому известна его тайна, словно он разгуливал, таская все время за спиной свое бремя. Понятно, что после этого он не мог остаться в Бангкоке. Его единогласно осуждали за зверское насилие, столь неподобающее человеку в его щекотливом положении; одни утверждали, что он был в то время вдрызг пьян; другие ставили ему на вид отсутствие такта. Даже Шомберг был сильно раздражен.

— Он очень славный молодой человек, — говорил мне хозяин отеля, — но и лейтенант — молодчина парень. Он, знаете ли, каждый день обедает за моим табльдотом. И кий сломан. Этого я не могу допустить. Сегодня утром я первым де-

лом пошел к лейтенанту извиняться и, кажется, уломал его. Но вы подумайте только, капитан, вдруг каждый начнет выкидывать такие штуки! Ведь парень мог утонуть. А я не могу сбегать в соседнюю лавку и купить новый кий. Мне приходится выписывать их из Европы. Нет, нет! Такой характер ни к черту не годится!..

Шомберг был сильно раздосадован.

То был самый печальный инцидент за время его… его изгнания. Никто не мог об этом сожалеть больше, чем сожалел я. И хотя кое-кто и говорил о Джиме: «О, да, я его знаю! Он рыскал в этих краях», — но до сих пор ему удавалось избегать неприятных инцидентов. Однако это последнее происшествие не на шутку меня встревожило, ибо, если чрезмерная чувствительность будет доводить его до трактирных драк, он потеряет свою репутацию безобидного, хотя и несносного безумца, и прослывет заурядным бродягой. Несмотря на все мое доверие к нему, я невольно думал, что в таких случаях от слова до дела один шаг. Полагаю, вы поймете, что к тому времени я уже не мог умыть руки. Я увез его из Бангкока на своем судне, и переезд был томителен для нас обоих. Грустно было смотреть, как он замкнулся в себе. Моряк, даже на положении простого пассажира, инте-

ресуется судном, критически и с удовольствием всматривается в окружающую его обстановку, так же как смотрит, например, художник на картину товарища. В прямом и переносном смысле слова, моряк всегда «на палубе», но мой Джим большей частью скрывался внизу, словно ехал на судне зайцем. Он на меня действовал так, что я избегал говорить на профессиональные темы, которые, естественно, возникают между двумя моряками во время плавания. По целым дням мы не обменивались ни единым словом; в его присутствии я с большой неохотой отдавал распоряжения моим помощникам. Часто, оставаясь вдвоем на палубе или в кают-компании, мы не знали, куда девать глаза.

Я поместил его, как вам известно, у Де Джонга, радуясь, что хоть как-нибудь его устроил; однако я был убежден в том, что положение его становится невыносимым. Он потерял ту гибкость, какая помогла ему занимать после каждого поражения независимую позицию. Однажды, сойдя с корабля, я увидел его на набережной; воды рейда и моря на горизонте сливались воедино; суда, стоявшие на якоре за рейдом, казалось, неподвижно парили в небе. Он ждал свою шлюпку, которую нагружали у наших ног свертками мелких това-

ров для какого-то судна, готового к отплытию. Обменявшись приветствиями, мы молча стояли друг подле друга.

— Боже! — воскликнул он вдруг. — Это убийственная работа.

Он улыбнулся мне; должен сказать, что обычно ему всегда удавалось улыбнуться. Я ничего не ответил. Я знал прекрасно, что он намекает не на свои обязанности; у Де Джонга работой его не обременяли. Тем не менее, как только он замолчал, я окончательно убедился, что эта работа убийственная. Я даже не взглянул на него.

— Не хотите ли покинуть эти края? — спросил я. — Переехать в Калифорнию или на Западный Берег? Я попытаюсь что-нибудь сделать.

Он перебил меня с легким презрением:

— Какая разница?..

Я сразу почувствовал, что он прав.

Разницы не было бы никакой, — он искал не облегчения; кажется, я смутно понимал: то, чего он искал, то, чего он ждал, не так-то легко поддавалось определению; пожалуй, он ждал какого-то благоприятного случая. Я дал ему немало таких случаев, но они сводились лишь к возможности зарабатывать себе на пропитание. А что же еще можно было сделать? Положение казалось мне

безнадежным, и вспомнились слова бедняги Брайерли: «Пусть он зароется на двадцать футов в землю и там остается». Лучше это, думал я, чем ожидание невозможного на земле. Однако даже и в этом нельзя было быть уверенным. Не успела его шлюпка отплыть от набережной, как я уже принял решение пойти и посоветоваться вечером с Штейном.

Этот Штейн был богатый и пользующийся уважением торговец. Его «фирма» (ибо то была фирма «Штейн и Кь», включавшая также и компаньона, который, по словам Штейна, «ведал делами на Молуккских островах») вела торговлю с островами; немало торговых станций, собиравших местные продукты, было основано в самых отдаленных местечках. Его богатство и респектабельность не являлись, в сущности, причиной, которая побуждала меня искать у него совета. Я хотел поделиться с ним своими затруднениями, ибо он был достоин доверия больше, чем кто-либо из тех, кого я знал. Мягкой, простодушной, какой-то неиссякаемой и умной добротой светилось его лицо, — лицо длинное, лишенное растительности, изборожденное глубокими морщинами и бледное, как у человека, который всегда вел сидячий образ жизни; чего на самом

деле не было. Его жидкие волосы были зачесаны назад, открывая массивный высокий лоб. Казалось, в двадцать лет он должен был выглядеть почти так же, как выглядел теперь в шестьдесят. То было лицо ученого; только брови, почти совсем седые, густые и косматые, да твердый проницательный взгляд не гармонировали — если можно так выразиться — с его ученым видом. Он был высокого роста, но казался развинченным; привычка слегка горбиться и наивная улыбка придавали ему такой вид, словно он всегда готов благосклонно вас выслушать; руки у него были длинные, с большими бледными кистями; жесты скупые, обдуманные, словно он на что-то указывал, разъяснял. Я останавливаюсь на нем так долго потому, что этот прямой и снисходительный человек с наружностью ученого отличался неустрашимым духом и физической храбростью. Такая храбрость совершенно бессознательна, и ее можно было бы назвать безрассудством, если бы она не была свойственна человеку, подобно естественной функции организма — хорошему пищеварению, например.

Говорят иногда, что человек держит жизнь в своих руках. Такая поговорка к нему неприменима; в течение раннего периода жизни на Востоке

он играл в мяч со своей судьбой.

Все это было в прошлом, но я знал историю его жизни и происхождение его богатства. Он был также и натуралистом, пользовавшимся некоторой известностью, — или, вернее, ученым коллекционером. Его специальностью была энтомология. Его коллекция жуков, отвратительных маленьких чудовищ, которые казались злобными даже теперь — мертвые и неподвижные, — и коллекция бабочек, красивых, простерших безжизненные крылья под стеклянной крышкой ящиков, завоевали себе широкую известность. Имя этого торговца, искателя приключений и советника одного малайского султана (его он называл не иначе, как «мой бедный Мохаммед Бонзо»), стало известно ученым Европы благодаря нескольким бушелям собранных им насекомых, но европейские ученые понятия не имели о его жизни и характере, да это их и не интересовало. Я же, зная его, считал, что с ним больше, чем с кем бы то ни было другим, можно поговорить о затруднениях Джима, равно как и моих собственных.

20

Поздно вечером я вошел в его кабинет, миновав предварительно огромную, но пустую и очень тускло освещенную столовую. В доме было тихо. Мне показывал дорогу пожилой и мрачный слуга яванец в белой куртке и желтом саронге. Распахнув дверь, он воскликнул негромко: «О господин!» — и, отступив в сторону, скрылся таинственно, словно был призраком, лишь на секунду воплотившимся именно для этой услуги. Штейн, сидевший на стуле, повернулся, а очки как будто сами поднялись на лоб. Он приветствовал меня, по своему обыкновению, спокойно и весело. Лишь один угол большой комнаты — угол, где стоял его письменный стол, — был ярко освещен лампой под абажуром, все остальное пространство растворялось в бесформенном мраке, напоминая пещеру. Узкие полки с одноцветными темными ящиками одинаковой формы тянулись вдоль стен, не от пола до потолка, но темным поясом фута четыре в ширину. Катакомбы жуков. Деревянные таблички висели наверху, отделенные неправильными промежутками. Свет падал

на одну из них, и слово Coleoptera, написанное золотыми буквами, мерцало таинственно в полумраке. Стеклянные ящики с коллекцией бабочек выстроились тремя длинными рядами на маленьких столиках с тонкими ножками. Один из таких ящиков стоял на письменном столе, который был усеян продолговатыми листками бумаги, исписанными мелким почерком.

— Вот за каким делом вы меня застаете, — сказал он.

Рука его коснулась стеклянного ящика, где в своем одиноком великолепии бабочка распростерла темные бронзовые крылья примерно семи дюймов в длину; крылья были прорезаны белыми жилками и окаймлены роскошным бордюром из желтых пятнышек.

— Только один такой экземпляр имеется у вас в Лондоне, а больше нет нигде. Моему маленькому родному городу я завещаю эту коллекцию. Частицу меня самого. Лучшую.

Он наклонился и напряженно всматривался, опустив голову над ящиком. Я стоял за его спиной.

— Чудесный экземпляр, — прошептал он и как будто позабыл о моем присутствии.

История его любопытна. Он родился в Баварии

и двадцатидвухлетним юношей принял активное участие в революционном движении 1848 года. Сильно скомпрометированный, он бежал и сначала нашел приют у одного бедного республиканца, часовых дел мастера в Триесте. Оттуда он пробрался в Триполи с запасом дешевых часов для уличной продажи. Начало не блестящее, но Штейну посчастливилось; там он наткнулся на путешественника голландца, пользовавшегося, кажется, известностью (фамилию его я позабыл). Это и был тот самый натуралист, который пригласил его в качестве своего помощника и увез на Восток. Больше четырех лет они вместе и порознь путешествовали по Архипелагу, собирая насекомых и птиц. Затем натуралист вернулся на родину, а Штейн, не имевший родины, куда бы можно было вернуться, — остался с одним старым торговцем, которого встретил во время своих путешествий в глубь острова Целебес, — если допустить, что Целебес имеет какую-то глубь. Этот старый шотландец — единственный белый, которому разрешили проживать в то время в этой стране, — был привилегированным другом главного правителя государства Уаджо; в ту пору этим правителем была женщина.

Я часто слышал рассказ Штейна о том, как

старик, половина тела которого была слегка парализована, представлял его ко двору, а вскоре после этого новый удар прикончил старика. То был грузный человек с патриархальной белой бородой и внушительной осанкой. Он вошел в зал совета, где собрались все раджи, пангераны и старшины, а королева — жирная, морщинистая женщина (по словам Штейна, очень бойкая на язык) — возлежала на высоком ложе под балдахином. Старик, опираясь на палку, волочил ногу. Схватив Штейна за руку, он подвел его к самому ложу.

— Смотри, королева, и вы, раджи, это — мой сын! — возвестил он громогласно. — Я торговал с вашими отцами, а когда я умру, он будет торговать с вами и сыновьями вашими.

Благодаря этой простой формальности Штейн унаследовал привилегированное положение шотландца, а также его запас товаров и дом-крепость на берегу единственной судоходной реки в стране. Вскоре после этого старая королева, столь бойкая на язык, умерла, и страна заволновалась, так как появились многочисленные претенденты на престол. Штейн присоединился к партии младшего сына, — того самого, которого он тридцать лет спустя называл не иначе, как «мой бедный

Мохаммед Бонзо». Они совершили бесчисленные подвиги; оба были искателями приключений; в течение месяца они с горсточкой приверженцев выдерживали осаду в доме шотландца против целой армии. Кажется, туземцы и по сей день толкуют об этой войне.

Тем временем Штейн, кажется, не упускал случая захватить бабочку или жука всякий раз, как они ему попадались под руку. После восьми лет войны, переговоров, ненадежных перемирий, внезапных восстаний и предательств, когда мир, казалось, окончательно установился, его «бедный Мохаммед Бонзо» был убит у ворот своей собственной королевской резиденции, — его убили в тот самый момент, когда он в прекрасном настроении слезал с коня, вернувшись после удачной охоты на оленя. Это событие сделало положение Штейна крайне ненадежным; быть может, он бы все-таки остался, если бы спустя некоторое время не умерла сестра Мохаммеда — «моя дорогая жена-принцесса», как торжественно говаривал он. От нее у него была дочь — мать и ребенок умерли в три дня от какой-то злокачественной лихорадки. Он покинул страну, где ему невыносимо было оставаться после такой тяжелой потери. Так закончился первый, авантюристический

период его существования. Последующая жизнь была настолько иной, что если бы не подлинная скорбь, никогда его не покидавшая, этот странный период скорее походил бы на сон.

У него было немного денег; он начал жизнь заново и с течением времени сколотил значительное состояние. Сначала он много путешествовал по островам, но вот подкралась старость, в последнее время он редко покидал свой поместительный дом, находившийся в трех милях от города. К дому примыкал большой сад, вокруг находились конюшни, конторы и бамбуковые коттеджи для слуг и подчиненных, каковых у него было немало. Каждое утро он ездил в своем кабриолете в город, в контору, где клерками у него были белые и китайцы. Ему принадлежала маленькая флотилия шхун и туземных судов; в широком масштабе он вел торговлю всем, чем богаты были острова. Мизантропом он не был, но жил уединенно со своими книгами и коллекциями, классифицируя экземпляры, переписываясь с европейскими энтомологами, составляя описательный каталог своих сокровищ.

Такова история человека, к которому я, не питая никакой определенной надежды, пришел посоветоваться о деле Джима. Даже услышать то,

что он может сказать, казалось мне облегчением. Я был очень встревожен, но отнесся с уважением к этой напряженной, почти страстной сосредоточенности, с какой он смотрел на бабочку: казалось, в бронзовом мерцании этих легких крыльев, в белых линиях, в ярких пятнах он мог увидеть что-то иное — образ чего-то хрупкого и презирающего разрушение так же, как эти нежные и безжизненные ткани, великолепные и не запятнанные смертью.

— Чудесный экземпляр! — повторил он, поднимая на меня глаза. — Посмотрите! Красота… но это ничто… обратите внимание на точность, гармонию. Эта бабочка такая хрупкая! И такая сильная! И гармоничная! Такова Природа — равновесие колоссальных сил. И каждая звезда так гармонична… и каждая былинка… и могучий космос в совершенном своем равновесии производит вот эту бабочку. Это чудо, этот шедевр Природы — великого художника.

— Никогда не слыхал таких речей от энтомолога, — весело заметил я. — Шедевр! Что же вы скажете о человеке?

— Человек — удивительное создание, но он отнюдь не шедевр, — ответил он, глядя на стеклянный ящик. — Быть может, художник был

немного помешан. А? Как вы думаете? Иногда мне кажется, что человек явился туда, где он не нужен, где нет для него места; иначе — зачем бы ему требовать себе всю землю? Зачем ему метаться повсюду, шуметь, толковать о звездах, тревожить былинки?..

— Ловить бабочек, — вставил я.

Он улыбнулся, откинулся на спинку стула и вытянул ноги.

— Садитесь, — сказал он. — Я сам поймал этот редкий экземпляр в одно чудесное утро. И я испытал большое волнение. Вы не знаете, что значит для коллекционера заполучить такой редкий экземпляр. Вы не можете знать.

Я улыбнулся, удобно устроившись в качалке. Казалось, он глядел куда-то вдаль, сквозь стену, в которую уставился. Он рассказывал, как явился к нему ночью вестник от «бедного Мохаммеда», который призывал его в свою «резиденцию», отстоявшую на девять-десять миль от его дома; дорога туда шла по вьючной верховой тропе, прорезавшей возделанную равнину и лесные участки. Рано поутру он выехал из своего укрепленного дома, расцеловав предварительно маленькую Эмму и передав бразды правления «жене-принцессе». Он рассказал, как она прово-

дила его до ворот; она шла, положив руку на шею его лошади; на ней была белая куртка, золотые шпильки в волосах, а через левое плечо спускался коричневый кожаный ремень с револьвером.

— Она говорила, как говорят все женщины, — сказал он, — просила меня быть осторожным и вернуться домой до темноты, жаловалась, что приходится мне ехать одному. Шла война, и в стране было неспокойно: мои люди закрывали окна дома щитами, защищавшими от пуль, и заряжали ружья, а она просила меня за нее не бояться, — она сумеет защитить дом до моего возвращения. Я засмеялся от радости. Мне приятно было видеть ее такой смелой, молодой и сильной. Я тоже был тогда молод. У ворот она взяла мою руку, пожала ее и отошла назад. Я остановил лошадь и ждал, пока не задвинули засовы у ворот. В то время по соседству бродил со своей бандой великий мой враг — человек знатного рода и большой негодяй к тому же. Я проехал легким галопом четыре или пять миль; ночью шел дождь, но теперь туман рассеялся, и лик земли был ясен; она раскинулась передо мной улыбающаяся, свежая и невинная, словно маленький ребенок. Вдруг раздался залп — мне показалось, что прозвучало по меньшей мере

двадцать выстрелов. Я слышал свист пуль, и шляпа моя съехала на затылок. То была, видите ли, маленькая хитрость. Они заставили моего бедного Мохаммеда послать за мной, а затем устроили засаду. В одну секунду я это понял и подумал: «Нужно и мне пойти на хитрость». Мой пони захрапел, подпрыгнул и остановился, а я медленно сполз вперед, уткнувшись головой в его гриву. Пони пошел шагом, а я одним глазом увидел слабое облачко дыма над бамбуковой зарослью слева. «Ага, друзья мои, — подумал я, — почему вы поторопились стрелять? Ваше дело еще не выгорело. О нет!» Правой рукой я потихоньку вытащил револьвер. В конце концов этих негодяев было только семеро. Они вышли из травы и, подоткнув свои саронги, побежали, размахивая над головой копьями. На бегу они кричали, что надо поймать лошадь, так как я мертв. Я дал им подойти совсем близко, а затем выстрелил три раза — все три пули попали в цель. Еще раз я выстрелил, целясь в спину человека, но промахнулся; он был уже слишком далеко. Тогда я выпрямился в седле, — я был один, ясный лик земли улыбался мне; тут валялись трое нападавших. Один лежал, свернувшись в клубок; другой растянулся на спине, опустив руку на глаза, словно заслоняясь от солн-

ца, третий очень медленно согнул ногу, а потом судорожно ее вытянул. Сидя на лошади, я следил за ним пристально, но больше он не шевелился — bleibt ganz ruhig — застыл неподвижно. И пока я всматривался в его лицо, стараясь подметить признаки жизни, легкая тень скользнула по его лбу. То была тень этой бабочки. Посмотрите на форму крыльев! Эти бабочки летают высоко и с силой рассекают воздух. Я поднял глаза и увидел, как она упорхнула прочь. Я подумал — возможно ли? А потом она скрылась из виду. Я слез с седла и очень медленно пошел вперед, ведя за собой лошадь и сжимая в руке револьвер. Я бросал взгляды направо, налево, вверх, вниз, всюду. Наконец я ее увидел — она сидела на кучке грязи футах в десяти от меня. Сердце у меня быстро забилось. Я отпустил лошадь и, держа в одной руке револьвер, другой рукой сорвал с головы мягкую войлочную шляпу. Сделал один шаг. Остановился. Еще шаг. Хлоп! Поймал! Поднявшись на ноги, я дрожал от волнения, как лист, а когда я расправил эти великолепные крылья и увидел, какой редкий и безукоризненный экземпляр мне достался, голова у меня закружилась и ноги подкосились, так что я вынужден был опуститься на землю. Собирая коллекцию для профессора,

я страстно желал заполучить такой экземпляр. Я предпринимал далекие путешествия и подвергался тяжким лишениям; я грезил об этой бабочке во сне, и вдруг теперь я держал ее в своей руке — она была моя. Говоря словами поэта (он произносил «боэт»):

> *«So halt' ich's endlich denn in meinen Handen,*
> *Und nenn'es in gewissem Sinne mein».*[18]

На последнем слове он сделал ударение, внезапно понизил голос и медленно отвел взгляд от моего лица. Молча и деловито он начал набивать трубку с длинным мундштуком, потом, опустив большой палец в отверстие чашечки, посмотрел на меня многозначительно.

— Да, дорогой мой друг. В тот день мне нечего было желать: я разбил замысел своего злейшего врага; я был молод, силен; имел друга и любовь женщины; имел ребенка. Сердце мое было полно, — и даже то, о чем я грезил во сне, лежало на моей ладони!

Он чиркнул спичкой, вспыхнул яркий огонек. Судорога пробежала по его спокойному задум-

---

[18] Примечания: 18
Итак я наконец держал ее в руках. И мог назвать моей (нем.)

чивому лицу.

— Друг, жена, ребенок, — медленно проговорил он, глядя на маленькое пламя, потом дунул: спичка погасла. Он вздохнул и снова повернулся к стеклянному ящику. Хрупкие прекрасные крылья слабо затрепетали, словно его дыхание на секунду вернуло к жизни то, о чем он так грезил.

— Работа, — заговорил он вдруг своим мягким веселым тоном и указал на разбросанные листки, — работа подвигается хорошо. Я описывал этот редкий экземпляр… Ну, а какие у вас новости?

— Сказать вам правду. Штейн, — начал я с усилием, меня самого удивившим, — я пришел, чтобы описать вам один экземпляр…

— Бабочку? — быстро спросил он, недоверчиво улыбаясь.

— Нет, экземпляр отнюдь не столь совершенный, — ответил я, чувствуя, как угнетают меня сомнения. — Человека.

— Ach so![19] — прошептал он, и его улыбающееся лицо стало серьезным. Поглядев на меня секунду, он медленно сказал: — Ну что ж, я тоже человек.

---

[19] Примечания: 19
Ах так! (нем.)

Вы видите, каков он был, он умел так великодушно ободрить, что совестливый человек начинал колебаться на грани признания. Но если я и колебался, то это продолжалось недолго.

Он сидел, положив ногу на ногу, и слушал. Иногда голова его исчезала в огромном облаке дыма, и из этого дыма вырывалось сочувственное ворчание. Когда я кончил, он вытянул ноги, положил трубку и наклонился ко мне, опираясь локтями о ручку кресла и переплетая пальцы.

— Я прекрасно понимаю. Он — романтик.

Он поставил диагноз, и сначала я был поражен этим простым определением. Действительно, наш разговор так походил на медицинскую консультацию, — Штейн, со своим ученым видом, сидящий в кресле перед столом, я, озабоченный, в другом кресле напротив, — что естественным казался вопрос:

— Какие же меры принять?

Он поднял длинный указательный палец.

— Есть только одно средство. Только одно лекарство может исцелить нас: чтобы мы перестали быть собой!

Палец резко щелкнул по столу. Болезнь, которой он дал такое простое определение, вдруг показалась мне еще проще и совсем безнадеж-

ной. Последовало молчание.

— Да, — сказал я, — собственно говоря, вопрос не в том, как излечиться, но как жить.

Он одобрительно и как будто печально кивнул головой.

— Ja! Ja! Пользуясь словами вашего великого поэта — «Вот в чем вопрос…»

Сочувственно покачивая головой, он продолжал:

— Как жить? Да, как жить?

Он встал, опираясь о стол кончиками пальцев.

— Мы так по-разному хотим жить, — заговорил он снова. — Эта великолепная бабочка находит кучу грязи и преспокойно на ней сидит; но человек не будет сидеть спокойно на своей куче грязи. Он хочет жить то так, то этак…

Штейн поднял руку, потом опустил ее.

— Хочет быть святым и хочет быть дьяволом. А закрывая глаза, он всякий раз видит себя; и он самому себе представляется замечательным парнем, каким он на самом деле быть не может… видит себя в мечтах…

Штейн опустил стеклянную крышку: резко щелкнул автоматический замок. Взяв ящик обеими руками, он, словно священнодействуя, понес его на прежнее место; из яркого круга,

освещенного лампой, он вступил в пояс более слабого света — и наконец в бесформенную мглу. Создавалось странное впечатление — словно эти несколько шагов вывели его из реального мира. Его высокая фигура, как бы лишенная субстанции, наклоняясь, двигаясь бесшумно, парила над невидимыми предметами, и, казалось, он выполняет там какие-то таинственные, нематериальные обязанности, а голос, доносившийся оттуда, не был теперь резок, но звучал мощно и серьезно, смягченный расстоянием:

— А так как вы не всегда можете держать глаза закрытыми, то наступает реальное несчастье… сердечная тоска… мировая скорбь. Говорю вам, друг мой, тяжело убедиться в том, что не можешь осуществить свою мечту, ибо у тебя не хватает сил или ума… Ja!.. А ведь ты такой замечательный парень! Wie? Was? Gott im Himmel![20] Может ли это быть?.. Ха-ха-ха!

Тень, бродившая среди могил бабочек, громко расхохоталась.

— Да! Это забавная и страшная штука. Человек, рождаясь, отдается мечте, словно падает в море. Если он пытается выкарабкаться из воды, как

---

[20] Примечания: 20
Как? Что? Боже праведный! (нем.)

делают неопытные люди, он тонет, nicht war?..[21] Нет, говорю вам! Единственный способ — покориться разрушительной стихии и, делая в воде движения руками и ногами, заставить море, глубокое море поддерживать вас на поверхности. Итак, если вы меня спрашиваете — как быть?..

Голос его вдруг зазвучал очень громко, словно там, в полумраке, он услышал вдохновляющий шепот мудрости.

— Я вам скажу! Здесь тоже есть один лишь путь.

Быстро зашлепав туфлями, он вступил в пояс слабого света и внезапно очутился в ярком круге, освещенном лампой. Его вытянутая рука была направлена в упор в мою грудь, словно пистолет; глубоко запавшие глаза, казалось, пронизывали меня насквозь, но с подергивающихся губ не сорвалось ни одного слова, и экзальтация суровой убежденности, охватившая его во мраке, исчезла. Рука, тянувшаяся к моей груди, упала и, приблизившись на шаг, он мягко положил ее на мое плечо. Есть вещи, — грустно сказал он, — которых, пожалуй, не выскажешь, но он так долго жил один, что иногда об этом забывает… забывает.

---

[21] Примечания: 21
не правда ли?.. (нем.)

Свет уничтожил ту уверенность, какая вдохновляла его в полумраке. Он сел и, опершись обоими локтями о стол, потер себе лоб.

— Однако это правда… правда… Погрузиться в разрушительную стихию…

Он говорил заглушенным голосом, не глядя на меня, прижимая ладони к лицу.

— Вот путь. Следовать за своей мечтой… идти за ней… и так всегда… ewig… usque ad finera…[22]

Его убежденный шепот как будто раскрыл передо мной широкое туманное пространство, словно сумеречную равнину на рассвете… или, пожалуй, перед наступлением ночи. Не было мужества решить; но то был чарующий и обманчивый свет, неосязаемым тусклым покровом поэзии окутывающий западни… могилы. Жизнь его началась с восторженной жертвы во имя великих идей; он странствовал много, по разным дорогам, по странным тропам; и какую бы цель он ни преследовал — шаг его был тверд, и потому не возникало ни стыда, ни раскаяния. В этом он был прав. Несомненно, то был путь. И, несмотря на это, великая равнина, по которой люди странствуют среди западней и могил, оставалась

---

[22] Примечания: 22
вечно… (нем.) до самого конца… (лат.)

унылой под неосязаемым поэтическим покровом сумеречного света; затененная в центре, она была обведена ярким поясом, словно пропастью с языками пламени. Наконец я прервал молчание и заявил, что ни один человек не может быть более романтичен, чем он.

Он медленно покачал головой и посмотрел на меня терпеливым, вопрошающим взглядом.

— Стыдно, — сказал он. — Вот мы сидим и болтаем, словно два мальчика, вместо того чтобы поразмыслить и найти какое-то практическое средство… лекарство против зла… великого зла, — повторил он с ласковой и снисходительной улыбкой.

Тем не менее наша беседа не порождала практических выводов. Мы избегали произносить имя Джима, словно Джим был заблудшим духом, страдающей и безыменной тенью.

— Ну, — сказал Штейн, вставая, — сегодня вы переночуете здесь, а утром мы придумаем что-нибудь практическое… практическое.

Он зажег канделябр и направился к дверям. Мы миновали пустынные темные комнаты; нас сопровождали отблески свечей, которые нес Штейн. Отблески скользили по натертому полу, проносились по полированной поверхности

стола, загорались на мебели или вспыхивали и гасли в далеких зеркалах; на секунду появлялись две человеческие фигуры и два огненных языка, крадущиеся бесшумно в глубинах кристальной пустоты. Он шел медленно, на шаг впереди меня, сгорбленный, учтивый, глубокое и настороженное спокойствие было разлито на его лице; длинные белокурые жидкие пряди, прорезанные белыми нитями, спускались на его слегка согнутую шею.

— Он — романтик, — повторил Штейн. — И это очень плохо, очень плохо… И очень хорошо, — добавил он.

— Но романтик ли он? — усомнился я.

— Gewiss![23] — сказал он и, не глядя на меня, остановился с поднятым канделябром. — Несомненно! Что заставляет его так мучительно познавать себя? Что делает его существование реальным для вас и для меня?

В тот момент трудно было поверить в существование Джима, начавшееся в доме деревенского священника, заслоненное толпами людей, словно облаками пыли, заглушенное громкими требованиями жизни и смерти в материаль-

---

[23] Примечания: 23
Конечно! (нем.)

ном мире, — но его непреходящую реальность я воспринял с непреодолимой силой! Я увидел ее отчетливо, словно пробираясь по высоким молчаливым комнатам среди скользящих отблесков света, внезапно озаряющих две фигуры, которые крадутся с колеблющимися язычками пламени в бездонной и прозрачной глубине, мы ближе подошли к абсолютной Истине; а Истина, подобно самой Красоте, плавает, ускользающая, неясная, полузатонувшая в молчаливых неподвижных водах тайны.

— Быть может, и так, — согласился я с легким смехом, и неожиданно громкое эхо тотчас же заставило меня понизить голос, — но я уверен, что вы — романтик.

Опустив голову и высоко держа канделябр, он снова пошел вперед.

— Что ж… я тоже существую, — сказал он.

Он шел впереди. Я следил за его движениями, но видел я не главу фирмы, не желанного гостя на вечерних приемах, не корреспондента ученых обществ, не хозяина, принимающего заезжих натуралистов, — я видел реальную его судьбу, и по этой тропе он умел идти твердыми шагами; его жизнь началась в скромной обстановке, он познал великодушие, энтузиазм, дружбу, любовь

— все восторженные элементы романтизма. У двери моей комнаты он повернулся ко мне.

— Да, — сказал я, словно продолжая начатый спор, — и, между прочим, вы безумно мечтали об одной бабочке; но когда в одно прекрасное утро мечта встала на вашем пути, вы не упустили блестящей возможности. Не правда ли? Тогда как он…

Штейн поднял руку.

— А знаете ли вы, сколько блестящих возможностей я упустил? Сколько утратил грез, возникавших на моем пути?

Он с сожалением покачал головой.

— Кажется мне, что иные мечты могли быть прекрасны, если бы я их осуществил. Знаете ли вы, сколько их было? Быть может, я и сам не знаю.

— Были ли его мечты прекрасны, или нет, — сказал я, — во всяком случае, он знает ту одну, которую упустил.

— Каждый человек знает об одной или двух пропущенных возможностях, — отозвался Штейн, — и в этом беда… великая беда.

На пороге он пожал мне руку и, высоко держа канделябр, заглянул в мою комнату.

— Спите спокойно. А завтра мы должны при-

думать какой-нибудь практический выход… практический…

Хотя его комната находилась дальше моей, но я видел, как он пошел назад. Он возвращался к своим бабочкам.

21

— Думаю, никто из вас не слыхал о Патюзане? — заговорил Марлоу после долгой паузы, в течение которой он старательно раскуривал свою сигару. — Это не имеет значения; много есть небесных тел, сверкающих ночью над нашими головами, и о них человечество никогда не слыхало, ибо они находятся вне сферы его деятельности. До них нет дела никому, кроме астрономов, которым платят за то, чтобы они говорили о составе, весе и стезе небесных тел, об их уклонениях с пути, об аберрации света — своего рода научные сплетни. Так же обстоит дело и с Патюзаном. О нем упоминали в правительственных кругах Батавии, а название его известно немногим, очень немногим в коммерческом мире. Однако никто там не был, а я подозреваю, что никто и не хотел туда ехать; так же точно, мне кажется, всякий астроном серьезно воспротивился бы переселению на далекое небесное тело, где, лишенный земных выгод, он, ошеломленный, созерцал бы незнакомое небо. Однако и небесные тела, и астрономы никакого отношения к Патюзану не имеют. Отправился ту-

да Джим. Я хочу только пояснить вам: устрой ему Штейн переселение на звезду пятой величины — перемена не могла быть более разительной. Он оставил позади свои земные ошибки и ту репутацию, какую приобрел, и попал в совершенно иные условия, открывавшие простор его творческой фантазии. Совершенно иные и поистине замечательные! И проявил себя в них тоже замечательно.

Штейн знал о Патюзане больше, чем кто бы то ни было другой. Больше, думаю, чем было известно в правительственных кругах. Не сомневаюсь, что он там побывал или в дни охоты за бабочками, или позднее, когда, оставаясь неисправимым, пытался приправить щепоткой романтизма жирные блюда своей коммерческой кухни. Очень мало было уголков Архипелага, где бы он не побывал на рассвете их бытия, раньше чем свет — и электричество — был доставлен туда во имя более высокой морали… и… и более крупных барышей. Наутро после нашей беседы о Джиме он упомянул за завтраком о Патюзане, когда я процитировал слова бедного Брайерли:

«Пусть он зароется на двадцать футов в землю и там остается».

Заинтересованный, он посмотрел на меня вни-

мательно, словно я был редким насекомым.

— Что ж, и это можно сделать, — заметил он, прихлебывая кофе.

— Похоронить его как-нибудь, — пояснил я. — Конечно, занятие не из приятных, но это — лучшее, что можно придумать для него — такого, как он есть.

— Да, он молод, — отозвался Штейн.

— Самое юное человеческое существо, — подтвердил я.

— Schon![24] У нас есть Патюзан, — продолжал он тем же тоном. — …А женщина теперь умерла, — добавил он загадочно.

Конечно, я не знаю этой истории, я могу лишь догадываться, что некогда Патюзан был уже использован, как могила для какого-то греха, провинности или несчастья. Нельзя заподозрить Штейна. Единственная женщина, когда-либо для него существовавшая, была малайская девушка, которую он называл «моя жена-принцесса» или, реже, в минуты откровенности, — «мать моей Эммы». Кто была та женщина, о которой он упомянул в связи с Патюзаном, я не могу сказать; но по его намекам я понял, что она была красива и

---

[24] Примечания: 24
Прекрасно! (нем.)

образованна — наполовину голландка, наполовину малайка — с историей трагической, а быть может, только печальной; самым прискорбным фактом в этой истории был, несомненно, ее брак с малаккским португальцем, клерком какой-то коммерческой фирмы в голландских колониях. От Штейна я узнал, что этот человек был во многих отношениях личностью неприятной, пожалуй, даже отталкивающей. Единственно ради жены Штейн назначил его заведующим торговой станцией «Штейн и Кь» в Патюзане; но, с коммерческой точки зрения, назначение было неудачно — во всяком случае для фирмы, — и теперь, когда женщина умерла. Штейн не прочь был отправить туда другого агента. Португалец — его звали Корнелиус — считал себя особой достойной, но обиженной, заслуживающей с его способностями лучшего положения. Этого человека должен был сменить Джим.

— Но вряд ли португалец оттуда уедет, — заметил Штейн. — Меня это не касается. Только ради женщины я… Но, кажется, осталась дочь, и, если он не захочет уехать, я разрешу ему жить в старом доме.

Патюзан — отдаленный округ самостоятельного туземного государства, и главный поселок

носит то же название. Удалившись на сорок миль от моря, вы замечаете с того пункта на реке, где видны первые дома, вершины двух круглых холмов, вздымающиеся над лесами; они почти примыкают одна к другой, и кажется, что их разделяет глубокая щель — словно гора раскололась от мощного удара. В действительности долина между холмами является лишь узким ущельем: со стороны поселка виден один конический холм, расщепленный надвое, и эти две половины слегка отклонились друг от друга. На третий день после полнолуния луна, показавшаяся как раз перед домом Джима (когда я его навестил, он занимал очень красивый дом, построенный в туземном стиле), поднялась из-за этих холмов; под ее лучами две массивные глыбы казались сгущенно-черными и рельефными, а затем почти совершенный диск, ярко сверкающий, поднялся между стенами пропасти и всплыл над вершинами, словно с тихим торжеством ускользнул от зияющей могилы.

— Удивительная картина, — сказал Джим, стоявший подле меня. — Стоит посмотреть — не правда ли?

В этом вопросе прозвучала нотка гордости, которая заставила меня улыбнуться, словно он

принимал участие в устройстве этого исключительного зрелища. Он столько дел уладил в Патюзане! А эти дела, казалось, так же недоступны были его контролю, как движение месяца и звезд.

Это было непостижимо. Вот отличительная черта той жизни, куда Штейн и я неумышленно его втолкнули, преследуя одну лишь цель — убрать его с дороги, — с его же собственной дороги, заметьте. Такова была наша основная мысль, хотя, признаюсь, был еще один мотив, который слегка на меня повлиял. Я собирался съездить на родину и — быть может, сильнее, чем сам о том подозревал — желал устроить Джима до своего отъезда. Я ехал на родину, а ведь он пришел ко мне оттуда со своей бедой, со своими призрачными требованиями, словно человек, задыхающийся в тумане под тяжестью ноши. Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь видел его ясно, даже теперь, после того как взглянул на него в последний раз, но мне казалось, что чем меньше я понимаю, тем крепче я связан с ним во имя того сомнения, какое неотделимо от нашего знания. Я знал немногим больше и о себе самом. А затем, повторяю, я ехал на родину, — на родину такую далекую, что все ее домашние очаги казались

как бы единым родным очагом, у которого самый смиренный из нас имеет право отдохнуть.

Нас тысячи странствующих по лицу земли, прославленных и никому не ведомых, мы добываем за морями нашу славу, деньги или только корку хлеба, но мне кажется, что каждый из нас, возвращаясь на родину, как бы дает отчет. Мы возвращаемся на родину, чтобы встретить там людей, которые выше нас, — наших родственников, наших друзей, — тех, кому мы повинуемся и тех, кого любим. Но даже люди, у которых нет никого, люди самые свободные, одинокие, безответственные и не связанные узами, — те, у кого нет на родине ни дорогого лица, ни знакомого голоса, — даже они встретят некоего духа, обитающего в стране, под ее небом, в воздухе, в долинах и на холмах, в полях, в воде и в листве деревьев, — немого друга, судью и вдохновителя. Говорите, что хотите, но чтобы почувствовать радость, вдохнуть мир, познать истину, нужно вернуться с чистой совестью. Все это может вам показаться пустой сентиментальностью, и, действительно, лишь немногие из нас наделены волей или способностью сознательно вглядываться в глубь знакомых эмоций. Там, на родине, девушки, которых мы любим, мужчины, выше

нас стоящие, нежность, дружба, удачи, радости! Но… вы должны взять награду чистыми руками, иначе в ваших руках она превратится в сухие листья и тернии.

Думаю, одинокие, не имеющие своего очага и привязанностей, те, что возвращаются не в дом свой, а в свою страну, к ее бесплотному, вечному и незыблемому духу, — они лучше всех понимают ее суровую спасительную силу, милость ее извечного права на нашу верность, наше повиновение. Да, немногие из нас понимают, но все мы это чувствуем, я говорю «все», не делая никаких исключений, ибо те, что не чувствуют, — в счет не идут. Каждая былинка имеет свое место на земле, из которой она черпает жизнь и силы, и человек корнями прикреплен к той стране, из которой черпает свою веру вместе с жизнью.

Я не знаю, много ли понимал Джим, но знаю, что он чувствовал, чувствовал смутно, но глубоко, требование этой истины или этой иллюзии — называйте, как хотите, — разница так невелика и так несущественна. Домой он никогда не вернулся бы. Никогда. Будь он способен на бурное проявление эмоций, он содрогнулся бы при этой мысли и вас заставил бы содрогнуться. Но он был не из этой породы, хотя, по-своему, умел

быть красноречивым. При мысли о возвращении домой он замыкался в себе, сидел неподвижно, в оцепенении, понурив голову и выпятив губы; его честные голубые глаза мрачно сверкали из-под насупленных бровей, словно перед ним вставало что-то невыносимое. Воображение работало под этим крепким черепом, обрамленным густыми волнистыми волосами.

Что же касается меня, то я лишен воображения (в противном случае я бы с большей уверенностью говорил сегодня о Джиме). И я не утверждаю, будто рисовал себе духа страны, который поднимается над белыми утесами Дувра и вопрошает меня, вернувшегося, так сказать, с неполоманными костями, что я сделал со своим юным братом. Такое заблуждение было для меня немыслимо. Я знал прекрасно, что Джим — один из тех, о ком никаких вопросов задавать не будут: я видывал лучших людей, которые уходили, исчезали, скрывались из виду, не вызвав ни проблеска любопытства или сожаления. Дух страны, как и подобает властелину великих начинаний, не заботится о бесчисленных жизнях. Горе отставшим! Мы существуем лишь до тех пор, пока держимся вместе. Он же отстал, оторвался, но сознавал это так мучительно, что казался трогательным: так

напряженная жизнь человека делает его смерть более трогательной, чем смерть дерева. Я случайно оказался под рукой и случайно растрогался. Вот все, что можно об этом сказать. Я был озабочен, как он выкарабкается. Мне было бы больно, начни он, например, пить. Земля так мала, что я боялся, как бы в один прекрасный день не подстерег меня грязный бродяга с мутными глазами и опухшим лицом, в парусиновых ботинках без подметок и с лохмотьями, болтающимися на локтях; и этот бродяга, на правах старого знакомого, попросит у меня пять долларов. Вам известна отвратительная развязность этих пугал, приходящих к вам из благопристойного прошлого, их хриплый, беспечный голос, бесстыдный взгляд… такие встречи тяжелы для человека, который верит в людскую солидарность.

Сказать вам по правде, это была единственная опасность, какую я предвидел для него и для себя, но в то же время я не доверял своему слабому воображению. Могло случиться и кое-что похуже, что я не в силах был предугадать. Он не давал мне забыть о том, каким он наделен воображением, а вы — люди с воображением — можете зайти далеко в любом направлении, словно вам отпущен более длинный канат на беспокойной якорной

стоянке жизни. Такие люди заходят далеко. Они также начинают пить. Быть может, своими опасениями я преуменьшал его достоинства. Откуда мне было знать? Даже Штейн мог сказать о нем только то, что он романтик. Я же знал, что он один из нас. И зачем ему было быть романтиком?

Я останавливаюсь так долго на своих эмоциях и недоуменных размышлениях, ибо очень мало остается сказать о нем. Он существовал для меня, и в конце концов только через меня он существует для вас. Я вывел его за руку; я выставил его напоказ перед вами. Были ли мои заурядные опасения неоправданы? Не могу сказать — не могу сказать даже сейчас. Быть может, вы рассудите лучше, — пословица говорит, что зрителям игра виднее. Во всяком случае они были излишни. Он не сбился с пути — о нет! Наоборот, он неуклонно продвигался вперед, и на него можно было положиться, — это показывает, что у него была и выдержка и запал.

Я должен быть в восторге, ибо в этой победе я принимал участие, но я не испытываю того удовольствия, какого следовало бы ждать. Я спрашиваю себя, вырвался ли он действительно из того тумана, в котором блуждал, — фигура занятная, если и не очень крупная, с расплывчатыми

очертаниями — отставший воин, безутешно тоскующий по своему скромному месту в строю. А кроме того, последнее слово еще не сказано — и, быть может, никогда не будет сказано. Разве наша жизнь не слишком коротка для той полной цельной фразы, какая в нашем лепете является, конечно, единственной и постоянной целью? Я перестал ждать этих последних слов, которые — будь они произнесены — потрясли бы небо и землю. Никогда не остается времени сказать наше последнее слово — последнее слово нашей любви, нашего желания, веры, раскаяния, покорности, мятежа. Не должны быть потрясены небо и земля. Во всяком случае — не нами, знающими о них столько истин.

Немного слов мне остается сказать о Джиме. Я утверждаю, что он достиг величия; но в рассказе — вернее, в глазах слушателей — его достижение покажется не весьма большим. Откровенно говоря, не своим словам я не доверяю, а вашей способности воспринимать. Я бы мог быть красноречивым, если бы не боялся, что вы заморили голодом свою фантазию, чтобы питать тело. Я не хочу вас обидеть; почтенное дело — не иметь иллюзий… безопасное… выгодное и… скучное. Однако было же время, когда и в вас жизнь била

через край, когда и вы знали тот чарующий свет, какой вспыхивает в суете каждого дня, такой же удивительный, как блеск искр, выбитых из холодного камня, — и такой же, увы, недолговечный!

22

Завоевание любви, почестей, доверия людей, гордость и власть, дарованные завоеванием, — вот тема для героического рассказа; но на нас производит впечатление внешняя сторона такого успеха, а поскольку речь идет об успехах Джима, то никакой внешней стороны не было. Тридцать миль леса скрыли его завоевание от взоров равнодушного мира, а шум белого прибоя вдоль побережья заглушил голос славы. Поток цивилизации, как бы разветвляясь на суше в ста милях к северу от Патюзана, посылает одну ветвь на восток, а другую — на юго-восток, покидая Патюзан, его равнины и ущелья, старые деревья и древнее человечество, — Патюзан заброшенный и изолированный, словно незначительный островок между двумя рукавами могучей, разрушительной реки.

Вы часто встречаете название этой страны в описаниях путешествий далекого прошлого. Торговцы семнадцатого века отправлялись туда за перцем, ибо страсть к перцу, подобно любовному пламени, горела в сердцах голландских и англий-

ских авантюристов времен Иакова I. Куда только не отправлялись они за перцем! Ради мешка перцу они готовы были перерезать друг другу горло и продать дьяволу душу, о которой обычно так заботились; странное упорство этого желания заставляло их презирать смерть, явленную в тысяче образов: неведомые моря, незнакомые и отвратительные болезни, раны, плен, голод, чума и отчаяние. Желание делало этих людей великими! Клянусь небом, оно их делало героичными и в то же время трогательными в их безумном торге с неумолимой смертью, налагающей пошлину на молодых и старых. Немыслимым кажется, что одна лишь жадность могла вызвать у людей такое упорство в преследовании цели, такую слепую настойчивость в усилиях и жертвах. И действительно, те, что ставили на карту свою жизнь, рисковали всем ради скудной награды. Они оставляли свои кости на далеких берегах для того, чтобы богатства стекались к живым на родине. Нам, менее искушенным их преемникам, они представляются не торговыми агентами, но орудиями судьбы; они уходили в неизвестное, повинуясь внутреннему голосу, импульсу, трепетавшему в их крови, и мечте о будущем. Они вызывали изумление; и нужно признать — они

были готовы к встрече с чудесным. Они снисходительно отмечали его в своих страданиях, в лике моря, в обычаях чуждых народов, в славе блестящих вождей.

В Патюзане они нашли много перца, и на них произвело впечатление величие и мудрость султана; но почему-то, спустя столетие, торговля с этой страной понемногу замирает. Быть может, уже не стало больше перца. Как бы то ни было, но теперь никому не было до нее дела; слава угасла, султан — юный идиот с двумя большими пальцами на левой руке и мизерными средствами, высосанными из жалкого населения и украденными у него многочисленными дядьями.

Эти сведения я, конечно, получил от Штейна. Он назвал мне имена людей и дал краткое описание жизни и характера каждого. Он переполнен был данными о туземном государстве, словно официальный отчет, — с той разницей, что его сведения были гораздо занимательнее. Кому и знать, как не ему. Он торговал со многими округами, а в иных — как, например, в Патюзане — одна только его фирма получила от голландского правительства специальное разрешение основать торговую станцию. Правительство доверяло его благоразумию, и предполагалось, что весь риск

он берет на себя. Люди, которых он нанимал, тоже это понимали, но, видимо, он платил им столько, что рисковать стоило.

Утром, за завтраком, он говорил со мной вполне откровенно. Поскольку ему было известно (по его словам, последние новости были получены тринадцать месяцев назад), жизнь и собственность в Патюзане подвергались постоянной опасности — то были нормальные условия. Там была междоусобица, и во главе одной из партий стоял раджа Алланг, самый злобный из дядьев султана, правитель реки, занимавшийся вымогательством и кражей и угнетавший местных жителей малайцев, которым грозило полное истребление: совершенно беззащитные, они не имели даже возможности эмигрировать — «ибо, — как заметил Штейн, — куда им было идти и как они могли уйти?» Несомненно, у них не было даже желания уйти. Мир, обнесенный высокими непроходимыми горами, находился в руках высокорожденного, а этого раджу они знали: он происходил из их королевской династии.

Позже я имел удовольствие встретиться с этим господином. То был маленький, грязный, дряхлый старик с недобрыми глазами и безвольным ртом, через каждые два часа глотавший шарик

опиума; презирая правила приличия, он ходил с непокрытой головой, и растрепанные жирные космы спускались на его сморщенное угрюмое лицо. Во время аудиенции он взбирался на что-то напоминающее узкие подмостки, возведенные в зале, похожем на старый сарай с прогнившим бамбуковым полом, сквозь щели которого вы могли созерцать на глубине двенадцати футов кучи мусора и всевозможных отбросов, сваленные под домом. Вот где он принимал нас, когда, в сопровождении Джима, я явился к нему с официальным визитом.

В комнате находилось человек сорок, и, быть может, втрое больше толпилось внизу во дворе. За нашими спинами люди все время входили и уходили, толкались и перешептывались. Несколько юношей, таращивших глаза издали, были в пестрых шелках; остальные — рабы и смиренные подданные — были полуобнажены, в рваных саронгах, перепачканные золой и грязью.

Я никогда не видел Джима таким серьезным, сдержанным, непроницаемым, внушительным. Среди темнолицых людей его стройная фигура в белом костюме и блестящие светлые кудри, казалось, притягивали солнечные лучи, про-

сачивавшиеся в щели закрытых ставней этого мрачного зала со стенами из циновок и с тростниковой крышей. Он производил впечатление существа совершенно иной породы. Если бы они не видели, как он приплыл в каноэ, они могли бы подумать, что он спустился к ним с облаков. Однако он прибыл в старом челноке и всю дорогу просидел неподвижно, с плотно сжатыми коленями, опасаясь перевернуть свой челн: сидел на жестяном ящике, который я ему дал, а на коленях держал револьвер морского образца, полученный от меня при прощании. Этот револьвер, по воле провидения, или благодаря какой-то сумасбродной идее, или в силу подсознательной проницательности, он решил оставить незаряженным. Вот так-то поднялся Джим по реке Патюзан. Нельзя себе представить прибытия более прозаического и более опасного, более необычного и случайного, и прибыл он совершенно один. Странно, что все его поступки носили какой-то фатальный характер бегства, импульсивного бессознательного дезертирства — прыжка в неизвестное.

Именно случайность всего этого и производит на меня особенно сильное впечатление. Ни Штейн, ни я не имели ясного представления о

том, что находится по другую сторону, когда мы, выражаясь метафорически, схватили его и перебросили без всяких церемоний через стену. В тот момент я желал только завершить его исчезновение. Характерно, что Штейн руководствовался сентиментальным мотивом. Ему казалось, что он уплачивает (добром, я полагаю) старый долг, о котором никогда не забывал. Действительно, всю свою жизнь он особенно дружелюбно относился к людям, приехавшим с Британских островов. Правда, его покойный благодетель был шотландец и даже именовался Александр Мак-Нейл, а родная деревня Джима лежала значительно южнее реки Твид; но на расстоянии шести или семи тысяч миль Великобритания если и не уменьшается, то укорачивается в перспективе даже для своих чад, и такие детали теряют всякое значение. Намерения Штейна были столь великодушны, что я самым серьезнейшим образом попросил его временно их скрывать. Я чувствовал, что никакие соображения о личной выгоде не должны влиять на Джима; не следовало даже подвергать его риску такого влияния. Нам приходилось иметь дело с иного рода реальностью. Он нуждался в убежище, и убежище, купленное ценою опасности, следовало ему предоставить

— и только.

Во всем остальном я был с ним совершенно откровенен и — как мне в то время казалось — даже преувеличил опасность предприятия. В действительности же я ее недооценил: его первый день в Патюзане едва не стал последним, — и оказался бы последним, не будь Джим так безрассуден или так суров к себе и снизойди он до того, чтобы зарядить револьвер. Когда я излагал ему наш план, помню, как его упрямая и тоскливая покорность постепенно уступала место удивлению, любопытству, восторгу и мальчишескому оживлению. О таком случае он мечтал. Он не мог понять, чем он заслужил мое… Пусть его повесят, если он понимает, чему обязан… А Штейн, этот Штейн, торговец, который… но, конечно, меня он — Джим — должен благодарить… Я его оборвал. Он говорил бессвязно, а его благодарность причиняла мне невыразимую боль. Я ему сказал, что если он кому-нибудь обязан, то этот кто-то — старый шотландец, о котором он никогда не слыхал, этот шотландец умер много лет назад, и после него осталось только воспоминание о его громовом голосе и грубоватой честности. Следовательно, благодарить ему некого. Штейн оказывает молодому человеку помощь, какую сам получил в

молодости, а я всего-навсего назвал его имя. Тут Джим покраснел и, вертя в руке какой-то клочок бумаги, робко заметил, что я всегда ему доверял.

Я с этим согласился и, помолчав, высказал пожелание, чтобы ему удалось последовать моему примеру.

— Вы думаете, я себе не доверяю? — с замешательством спросил он, а затем пробормотал о том, что раньше ему нужно себя показать. Лицо его просветлело, и громким голосом он заявил, что у меня не будет случая раскаиваться в том доверии, какое… какое…

— Не заблуждайтесь, — перебил я. — Не в вашей власти заставить меня в чем-либо раскаиваться.

Сожалений у меня быть не могло; а если бы они и были, то это мое личное дело; с другой стороны, я бы желал ему внушить, что этот замысел — этот эксперимент — дело его рук: он и только он будет нести ответственность.

— Как! Да ведь это как раз то самое, чего я… — забормотал он.

Я попросил его не глупить, а у него вид был недоумевающий. Он стоял на пути к тому, чтобы сделать жизнь для себя невыносимой…

— Вы так думаете? — спросил он взволнованно, а через секунду доверчиво прибавил: — Но ведь я

пробивался вперед. Разве нет?

Невозможно было на него сердиться. Я невольно улыбнулся и сказал ему, что в былые времена люди, которые пробивались таким путем, становились отшельниками в пустыне.

— К черту отшельников! — воскликнул он с увлечением. Конечно, против пустыни он не возражал.

— Рад это слышать, — сказал я. Ведь именно в пустыню он и отправлялся. Я рискнул посулить, что там жизнь не покажется ему скучной.

— Да, да, — подтвердил он рассудительно.

Он выразил желание, неумолимо продолжал я, уйти и закрыть за собой дверь.

— Разве? — перебил он угрюмо, и мрачное настроение, казалось, окутало его с головы до ног, как тень проходящего облака. В конце концов он умел быть удивительно выразительным. Удивительно! — Разве? — повторил он с горечью. — Вы не можете сказать, что я поднимал из-за этого шум. И я мог терпеть… только, черт возьми, вы показываете мне дверь…

— Отлично. Ступайте туда, — сказал я. Я мог дать ему торжественное обещание, что дверь за ним закроется плотно. О его судьбе, какой бы она ни была, знать не будут, ибо эта страна, несмотря

на переживаемый ею период гниения, считалась недостаточно созревшей для вмешательства в ее дела. Раз попав туда, он словно никогда и не существовал для внешнего мира. Ему придется стоять на собственных ногах, и, вдобавок, он должен сначала найти опору для ног.

— Никогда не существовал — вот именно! — прошептал он, впиваясь в мое лицо; глаза его сверкали.

Если он понял все условия, заключил я, ему следует нанять первую попавшуюся гхарри и ехать к Штейну, чтобы получить последние инструкции. Он вылетел из комнаты раньше, чем я успел закончить фразу.

23

Он вернулся лишь на следующее утро. Его оставили обедать и предложили переночевать. Никогда он не встречал такого замечательного человека, как мистер Штейн. В его кармане лежало письмо к Корнелиусу («тому парнишке, который получает отставку», — пояснил он и на секунду задумался). С восторгом показал он серебряное кольцо — такие кольца носят туземцы, — стертое от времени и сохранившее слабые следы резьбы.

То была его рекомендация к старику Дорамину — одному из самых влиятельных людей в Патюзане, важной особе; Дорамин был другом мистера Штейна в стране, где тот нашел столько приключений. Мистер Штейн назвал его «боевым товарищем». Хорошо звучит — боевой товарищ! Не так ли? И не правда ли — мистер Штейн удивительно хорошо говорит по-английски? Сказал, что выучил английский на Целебесе. Ужасно забавно, правда? Он говорит с акцентом — гнусавит, — заметил ли я? Этот парень Дорамин дал ему кольцо. Расставаясь в последний раз,

они обменялись подарками. Что-то вроде обета вечной дружбы. Джиму это понравилось — а мне нравится? Им пришлось наутек бежать из страны, когда этот Мохаммед… Мохаммед… как его звали?.. был убит. Мне, конечно, известна эта история? Гнусное предательство, не правда ли?

В таком духе он говорил без умолку, позабыв о еде, держа в руке нож; и вилку, — он застал меня за завтраком; щеки его слегка раскраснелись, а глаза потемнели, что являлось у него признаком возбуждения. Кольцо было чем-то вроде верительной грамоты («об этом читаешь в книжках», — одобрительно вставил он), и Дорамин сделает для него все, что может. Мистер Штейн однажды спас этому парню жизнь; чисто случайно, как сказал мистер Штейн, но он — Джим — остается при особом мнении. Мистер Штейн — человек, который ищет таких случаев. Неважно! Случайно или умышленно, но ему — Джиму — это сослужит хорошую службу. Он надеется от всей души, что славный старикашка еще не отправился к праотцам. Мистер Штейн не знает. Больше года он не имел никаких сведений. Они без конца дерутся между собой, а доступ по реке закрыт. Это чертовски неудобно, но не беда! Он — Джим — найдет щелку и пролезет.

Он произвел на меня впечатление, пожалуй, даже испугал своей возбужденной болтовней. Он был разговорчив, как мальчишка накануне долгих каникул, открывающих простор всевозможным шалостям, а такое настроение у взрослого человека и при таких обстоятельствах казалось чем-то ненормальным, чуточку сумасшедшим и небезопасным. Я уже готов был взмолиться, прося его отнестись к делу посерьезнее, как вдруг он положил нож и вилку (он начал есть… или, вернее, бессознательно глотать пищу) — и стал шарить около своей тарелки. Кольцо! Кольцо! Где, черт возьми… Ах, вот оно… Он зажал его в кулак и ощупал один за другим все свои карманы. Как бы не потерять эту штуку… Он серьезно размышлял, глядя на сжатый кулак. Не повесить ли кольцо на шею… И тотчас же он этим занялся: извлек кусок веревки, которая походила на шнурок от башмака. Так! Теперь будет крепок. Черт знает, что получилось бы, если бы… Тут он как будто в первый раз заметил выражение лица моего и немного притих. Должно быть, я не понимаю, — сказал он с наивной серьезностью, — какое значение он придает этому подарку. Для него кольцо было залогом дружбы, — хорошее дело иметь друга. Об этом ему кое-что известно.

Он выразительно кивнул мне головой, а когда я жестом отклонил эти слова, он подпер лицо рукой и некоторое время молчал, задумчиво перебирая хлебные крошки на скатерти.

— Захлопнуть дверь — хорошо сказано! — воскликнул он и, вскочив, зашагал по комнате; поворот его головы, плечи, быстрые неровные шаги напомнили мне тот вечер, когда он так же шагал, исповедуясь, объясняя, — называйте, как хотите, — жил передо мной, в тени набежавшего на него облачка, и с бессознательной проницательностью извлекая утешение из самого источника горя. Это было то же самое настроение и — вместе с тем — иное: так ветреный товарищ сегодня ведет вас по верному пути, а назавтра безнадежно собьется с дороги, хотя глаза у него все те же, все та же поступь, все те же побуждения… Походка его была уверенной, блуждающие потемневшие глаза словно искали чего-то в комнате. Казалось, одна его нога ступает тяжелее, чем другая, — быть может, виноваты были башмаки: вот почему походка была как будто неровной. Одну руку он глубоко засунул в карман, другой жестикулировал, размахивая над головой.

— Захлопнуть дверь! — вскричал он. — Я этого ждал. Я еще покажу… Я… Я готов ко всему… О

таком случае я мечтал… Боже мой, выбраться отсюда! Наконец-то удача!.. Вот увидите!.. Я…

Он бесстрашно вскинул голову, и, признаюсь, в первый и последний раз за все время нашего знакомства я неожиданно почувствовал к нему неприязнь. К чему это парение в облаках? Он шагал по комнате, нелепо размахивая рукой и то и дело нащупывая кольцо на груди. Какой смысл ликовать, если человек назначен торговым агентом в страну, где вообще нет никакой торговли? Зачем бросать вызов вселенной? Не с таким настроением следовало подходить к новому делу; такое настроение, сказал я, не подобает ему… да и всякому другому.

Он остановился передо мной. Я действительно так думаю? — спросил он, отнюдь не утихомирившись, и в его улыбке мне вдруг почудилось что-то дерзкое. Но ведь я на двадцать лет старше его. Молодость дерзка: это ее право, ее потребность; она должна утвердить себя, а всякое самоутверждение в этом мире сомнений является вызовом и дерзостью.

Он отошел в дальний угол, а затем вернулся, чтобы — выражаясь образно — меня растерзать. Я, мол, говорил так потому, что даже я, который был так добр к нему, — даже я помнил… помнил

о том, что с ним случилось. Что же тут говорить об остальных… о мире? Что удивительного, если он хочет уйти… убраться отсюда навсегда? А я толкую о подобающем настроении!

— Дело не в том, что помню я или помнит мир, — крикнул я. — Это вы — вы помните!

Он не сдавался и с жаром продолжал:

— Забыть все… всех, всех… — Понизив голос, он добавил: — Но вас?

— Да, и меня тоже, если это вам поможет, — так же тихо сказал я.

После этого мы еще несколько минут сидели безмолвные и вялые, словно опустошенные. Потом он сдержанно сообщил мне, что мистер Штейн советовал ему подождать месяц, чтобы выяснить — сможет ли он там остаться, раньше чем начинать постройку нового дома; таким образом он избегнет «бесполезных трат». Мистер Штейн иногда употреблял такие забавные выражения… «Бесполезные траты» — это очень хорошо… Остаться? — Ну конечно! Он останется. Только бы попасть туда — и конец делу. Он ручался, что останется. Никогда не уйдет. Ему нетрудно там остаться.

— Не будьте безрассудны, — сказал я, встревоженный его угрожающим тоном. — Если вы

проживете долго, вам захочется вернуться.

— Вернуться — куда? — рассеянно спросил он, уставившись на циферблат стенных часов.

Помолчав, я спросил:

— Значит, никогда?

— Никогда, — повторил он задумчиво, не глядя на меня; потом вдруг встрепенулся: — О боги! Два часа, а в четыре я отплываю!

Это была правда. Бригантина Штейна уходила в тот день на запад, Джим должен был ехать на ней, а никаких распоряжений отсрочить отплытие дано не было. Думаю, Штейн позабыл. Джим стремительно побежал укладывать вещи, а я отправился на борт своего судна, куда он обещал заглянуть, когда отплывет на бригантину, стоявшую на внешнем рейде. Он явился запыхавшись, с маленьким кожаным чемоданом в руке. Это не годилось, и я ему предложил свой старый жестяной сундук; считалось, что он не пропускает воды или, во всяком случае, сырости. Вещи Джим переложил очень просто: вытряхнул содержимое чемодана, как вытряхивают мешок пшеницы. Я заметил три книги: две маленькие, в темных переплетах, и толстый зеленый с золотом том — полное собрание сочинений Шекспира, цена два с половиной шиллинга.

— Вы это читаете? — спросил я.

— Прекрасно поднимает настроение, — быстро сказал он.

Меня поразила такая оценка, но некогда было начинать разговор о Шекспире. На столе лежал тяжелый револьвер и две маленькие коробки с патронами.

— Пожалуйста, возьмите это, — сказал я. — Быть может, он поможет остаться там.

Не успел я выговорить эти слова, как уже понял, какой зловещий смысл можно им придать.

— Поможет вам добраться туда, — с раскаянием поправился я.

Однако он не размышлял о темном значении слов; с жаром поблагодарив меня, он выбежал из каюты, бросив через плечо:

— Прощайте!

Я услышал его голос за бортом судна: он торопил своих гребцов; выглянув в иллюминатор на корме, я видел, как шлюпка обогнула подзор. Он сидел на носу и, крича и жестикулируя, подгонял гребцов; в руке он держал револьвер, словно целясь в их головы; в моей памяти навсегда останутся перепуганные лица четырех яванцев: с бешеной силой налегли они на весла, и видение исчезло из поля моего зрения. Тогда я повернулся,

и первое, что я увидел, были две коробки с патронами, лежавшие на столе. Он позабыл их взять.

Я приказал немедленно приготовить мне гичку; но гребцы Джима, убежденные, что жизнь их висит на волоске, пока в шлюпке сидит этот помешанный, неслись с невероятной быстротой; я не успел покрыть и половины расстояния между двумя судами, как Джим уже перелезал через поручни, и его ящик поднимали наверх. Бригантина была готова к отплытию, грот поставлен, и брашпиль застучал, когда я ступил на палубу; капитан — юркий, маленький полукровка, лет сорока, в синем фланелевом костюме, с круглым лицом цвета лимонной корки, с живыми глазами и редкими черными усиками, свисающими на толстые темные губы, — улыбаясь, пошел мне навстречу. Несмотря на его самодовольный и веселый вид, он оказался человеком, измученным заботами. Когда Джим на минутку спустился вниз, он сказал в ответ на какое-то мое замечание:

— О да! Патюзан.

Он доставит джентльмена до устья реки, но подниматься по реке «ни за что не станет». Его бойкие английские фразы, казалось, почерпнуты были из словаря, составленного сумасшедшим.

Пожелай мистер Штейн, чтобы он поднялся, он бы «почтительнейше» (вероятно, он хотел сказать «вежливо», а, впрочем, черт его знает!) привел возражения, «имея в виду безопасность имущества». В случае отказа он бы «отставил себя». Год назад он побывал там в последний раз, и хотя мистер Корнелиус «многими приношениями добивался милости» раджи Алланга и «коренного населения» на условиях, которые для торговли были «как полынь во рту», однако судно, спускаясь по реке, подверглось обстрелу со стороны «безответственного населения», скрывавшегося в лесу; а матросы, спасая свою шкуру, попрятались в укромные местечки, и бригантина едва не наскочила на мель, где ей «грозила гибель, не поддающаяся описанию».

Злоба, проснувшаяся при этом воспоминании, и гордость, с какой он прислушивался к своей плавной речи, поочередно отражались на его широком простоватом лице. Он и хмурился и улыбался и с удовольствием следил, какое впечатление производит на меня его фразеология. Темные морщины быстро избороздили гладь моря, и бригантина с поднятым марселем и поставленной поперек грот-реей, казалось, недоуменно застыла в морской ряби.

Затем он, скрежеща зубами, сообщил мне, что раджа был «сметной гиеной» (не знаю, почему ему пришла в голову гиена), а кто-то другой оказался «хитрее крокодила». Искоса следя за командой, работавшей на носу, он дал волю своему красноречию и сравнил Патюзан с «клеткой зверей, взбесившихся от долгого нераскаяния». (Вероятно, он хотел сказать — безнаказанность.)

Он не намеревался, вскричал он, «умышленно подвергать себя ограблению». Протяжные крики людей, бравших якорь на кат, смолкли, и он понизил голос.

— Хватит с меня Патюзана! — энергично заключил он.

Как я впоследствии слышал, он однажды был настолько неосторожен, что его привязали за шею к столбу, стоявшему посредине грязной ямы перед домом раджи. В таком неприятном положении он провел большую часть дня и всю ночь, но есть основания предполагать, что над ним хотели просто подшутить. Кажется, он призадумался над этим жутким воспоминанием, а потом ворчливо обратился к матросу, который шел к штурвалу. Снова повернувшись ко мне, он заговорил рассудительно и бесстрастно. Он отвезет джентльмена к устью реки у Бату-Кринг — «город Патюзан, —

заметил он, — находится на расстоянии тридцати миль, внутри страны». По его мнению, продолжал он вялым убежденным тоном, сменившим прежнюю болтливость, джентльмен в данный момент уже «подобен трупу».

— Что? Что вы говорите? — переспросил я.

Он принял грозный вид и в совершенстве изобразил, как наносят удар ножом в спину.

— Все равно что покойник, — пояснил он с невыносимым самодовольством, радуясь своей проницательности. За его спиной я увидел Джима, который молча мне улыбался и поднял руку, удерживая готовое сорваться с моих губ восклицание.

Затем, пока полукровка с важностью выкрикивал приказания, пока поворачивались с треском реи и поднималась тяжелая цепь, Джим и я, оставшись одни с подветренной стороны грота, пожали друг другу руку и торопливо обменялись последними словами. В сердце моем уже не было того тупого недовольства, какое не оставляло меня наряду с интересом к его судьбе. Нелепая болтовня полукровки придала больше реальности опасностям на его пути, чем заботливые предостережения Штейна. На этот раз что-то формальное, всегда окрашивавшее наши беседы,

исчезло, кажется, я назвал его «дорогим мальчиком», а он, выражая свою благодарность, назвал меня «старина», словно риск, на который он шел, уравнивал наш возраст и чувства. Была секунда подлинной и глубокой близости — неожиданной и мимолетной, как проблеск какой-то вечной, спасительной правды. Он старался меня успокоить, словно из нас двоих он был более зрелым.

— Хорошо, хорошо, — торопливо и с чувством говорил он. — Я обещаю быть осторожным. Да, рисковать я не буду. Никакого риска. Конечно, нет. Я хочу пробиться. Не беспокойтесь. Я чувствую себя так, словно ничто не может меня коснуться. Как! Да ведь есть в этом слове «Иди!» большая удача. Я не стану портить такой прекрасный случай…

Прекрасный случай! Что ж, случай был прекрасен, но ведь случаи создаются людьми, — а как я мог знать? Он сам сказал: даже я… даже я помнил, что его… несчастье говорит против него. Это была правда. И лучше всего для него уйти.

Моя гичка попала в кильватер бригантины, и я отчетливо его видел: он стоял на корме в лучах клонившегося к западу солнца, высоко поднимая над головой фуражку. Донесся неясный крик:

— Вы… еще… обо мне… услышите!

«Обо мне» или «от меня» — хорошенько не знаю. Кажется, он сказал — «обо мне». Меня слепил блеск моря у его ног, и я плохо мог его разглядеть. Всегда я обречен его видеть неясно, но уверяю вас, ни один человек не мог быть менее «подобен трупу», как выразилась эта каркающая ворона. Я разглядел лицо маленького полукровки, по форме и цвету похожее на спелую тыкву; оно высовывалось из-под локтя Джима. Он тоже поднял руку, словно готовился нанести удар. Absit omen![25]

[25] Примечания: 25
Да не будет это предзнаменованием! (лат.)

24

Берег Патюзана — я увидел его года два спустя — прямой и мрачный и обращен к туманному океану. Красные тропы, похожие на водопады ржавчины, тянутся под темно-зеленой листвой кустарника и ползучих растений, одевающих низкие утесы. Болотистые равнины сливаются с устьями рек, а за необъятными лесами встают зазубренные голубые вершины. Недалеко от берега цепь островов — темных осыпающихся глыб — резко вырисовывается в вечной дымке, пронизанной солнечным светом, словно остатки стены, пробитой волнами.

У Бату-Кринг — одного из рукавов устья — находится рыбачья деревушка. Река, так долго оставшаяся недоступной, была в ту пору открыта для плавания, и маленькая шхуна Штейна, на которой я прибыл, за тридцать шесть часов поднялась вверх по течению, не подвергаясь обстрелу со стороны «безответственного населения». Такие обстрелы уже отошли в область далекого прошлого, если верить старшине рыбачьей деревушки, который в качестве лоцмана

явился на борт шхуны. Он разговаривал со мной — вторым белым человеком, какого видел за всю свою жизнь — доверчиво, и преимущественно о первом виденном им белом. Он называл его Тюан Джим, и тон его произвел на меня впечатление странным сочетанием фамильярности и благоговения. Они — жители этой деревушки — находились под особым покровительством белого господина: это свидетельствует о том, что Джим не помнил зла. Он предупреждал, что я о нем услышу, и слова его оправдались. Да, я о нем услышал. Возникла уже легенда, будто прилив начался на два часа раньше, чтобы помочь ему подняться вверх по течению реки. Болтливый старик сам управлял каноэ и подивился такому феноменальному явлению. Вдобавок вся слава досталась его семье. Гребли его сын и зять; но они были неопытными юнцами и не заметили быстрого хода каноэ, пока старик не обратил их внимания на этот изумительный факт.

Прибытие Джима в эту рыбачью деревушку было благословением; но для них, как и для многих из нас, благословению предшествовал ужас. Столько поколений сменилось с тех пор, как последний белый человек посетил реку, что даже традиции были позабыты. Появление этого

существа, словно с неба на них свалившегося и неумолимо потребовавшего, чтобы отвезли его в Патюзан, вызвало тревогу; его настойчивость пугала; щедрость казалась более чем подозрительной. То было неслыханное требование, не имевшее прецедента в прошлом. Что скажет на это раджа? Как он с ними расправится? Большая часть ночи прошла в совещании, но непосредственный риск навлечь на себя гнев этого странного человека был столь велик, что наконец они приготовили жалкий челнок. Женщины горестно завопили, когда они отчалили. Бесстрашная старая колдунья прокляла незнакомца.

Он сидел, как я вам уже сказал, на своем жестяном ящике, держа на коленях незаряженный револьвер. Он сидел настороженный, — такое напряжение сильнее всего утомляет, — и так прибыл в страну, где ему суждено было прославиться своими подвигами от голубых вершин до белой ленты прибоя у берега. За первым поворотом реки он потерял из виду море с его неутомимыми волнами, которые вечно вздымаются, падают и исчезают, чтобы снова подняться, — вечный символ борющегося человечества. Перед собой он увидел неподвижные леса, ушедшие корнями глубоко в землю, стремящиеся навстречу

солнечному свету, вечные, как сама жизнь, в темном могуществе своих традиций. А счастье его, окутанное покрывалом, сидело подле, словно восточная невеста, которая ждет, чтобы рука господина сорвала с нее вуаль. Он тоже был наследником темной и могущественной традиции!

Однако он мне сказал, что никогда еще не чувствовал себя таким подавленным и усталым, как в этом каноэ. Он не смел шевелиться и только потихоньку протягивал руку за скорлупой кокосового ореха, плававшей у его ног, и с величайшей осторожностью вычерпывал воду. Тут он понял, какое твердое сиденье представляет крышка жестяного ящика. У него было богатырское здоровье, но несколько раз в продолжение этого путешествия он испытывал головокружение, а в промежутках тупо размышлял о том, каков-то будет волдырь на его спине от солнечного ожога. Для развлечения он стал смотреть вперед, на какой-то грязный предмет, лежавший у края воды, и старался угадать — бревно это или аллигатор. Но вскоре бросил это развлечение.

Ничего забавного не было: предмет всегда оказывался аллигатором. Один из них бросился в реку и едва не перевернул каноэ. Через минуту он забыл и этот случай. Затем после долгого пу-

ти он радостно приветствовал стайку обезьян, спустившихся к самому берегу и провожавших лодку возмутительными воплями. Вот каким путем шел он к величию, — подлинному величию, какого когда-либо достигал человек. Он страстно ждал захода солнца, а тем временем три гребца готовились привести в исполнение задуманный план — выдать его радже.

— Должно быть, я одурел от усталости или задремал, — сказал он. Неожиданно он заметил, что каноэ подходит к берегу. Тут он обнаружил, что леса остались позади, вдали виднеются первые дома, а налево — частокол; его гребцы выпрыгнули на низкий берег и пустились наутек. Инстинктивно он бросился за ними. Сначала он подумал, что они неизвестно почему дезертировали, но потом услышал возбужденные крики, распахнулись ворота, и толпа двинулась ему навстречу. В то же время лодка с вооруженными людьми появилась на реке и, поравнявшись с его пустым каноэ, отрезала ему таким образом путь к отступлению.

— Я был, знаете ли, слишком изумлен, чтобы оставаться хладнокровным, и будь этот револьвер заряжен, я бы кого-нибудь пристрелил, — быть может, двоих или троих, — и тогда мне пришел

бы конец. Но револьвер был не заряжен…

— Что ж, может, надо было и пристрелить.

— Не мог же я сражаться со всем населением: я не хотел идти к ним так, словно боялся за свою жизнь, — сказал он, и в глазах его вспыхнуло мрачное упорство.

Я промолчал о том, что им-то неизвестно было, заряжен револьвер или нет.

— Как бы то ни было, но револьвер был не заряжен, — повторил он добродушно. — Я остановился и спросил их, в чем дело. Они как будто онемели. Я видел, как несколько человек уносили мой ящик. Этот длинноногий старый негодяй Кассим — завтра я вам его покажу — выбежал вперед и забормотал, что раджа желает меня видеть. Я сказал: «Ладно». Я тоже хотел видеть раджу; я попросту вошел в ворота и… и вот я здесь.

Он засмеялся и вдруг с неожиданным возбуждением спросил:

— А знаете, что лучше всего? Я вам скажу. Сознание, что в проигрыше остался бы Патюзан, если бы меня отсюда выгнали!

Так говорил он со мной перед своим домом в тот вечер, о котором я упомянул, когда мы следили, как луна поднималась над пропастью между холмами, словно призрак из могилы; лунное сия-

ние спускалось, холодное и бледное, как мертвый солнечный свет. Есть что-то жуткое в свете луны; в нем вся бесстрастность невоплощенной души и какая-то непостижимая тайна. По отношению к нашему солнечному свету, который — что бы вы ни говорили — есть все, чем мы живем, лунный свет — то же, что эхо по отношению к звуку: печальна нота или насмешлива — эхо остается обманчивым и неясным. Лунный свет лишает все материальные формы — среди которых в конце концов мы живем — их субстанции и дает зловещую реальность одним лишь теням. А тени вокруг нас были очень реальны, но Джим, стоявший подле меня, казался очень сильным, словно ничто — даже оккультная сила лунного света — не могло лишить его реальности в моих глазах. Быть может, и в самом деле ничто не могло его теперь коснуться, раз он выдержал натиск темных сил. Все было безмолвно, все было неподвижно; даже на реке лунные лучи спали, словно на глади пруда. В это время прилив был на высшем уровне — это был момент полной неподвижности, подчеркивающий изолированность этого затерянного уголка земли. Дома, толпившиеся вдоль широкой сияющей полосы, не тронутой рябью или отблесками, — подступали к воде, словно ряд

теснящихся, расплывчатых, серых, серебристых глыб, сливающихся с черными тенями; они походили на призрачное стадо бесформенных тварей, пробивающихся вперед, чтобы испить воды из призрачного и безжизненного потока. Кое-где за бамбуковыми стенами поблескивал красный огонек, теплый, словно живая искра, наводящий на мысль о человеческих привязанностях, о пристанище и отдыхе.

Он признался мне, что часто наблюдает, как гаснут один за другим эти крохотные теплые огоньки; ему нравится следить, как отходят ко сну люди, уверенные в безопасности завтрашнего дня.

— Спокойно здесь, правда? — спросил он. Он не отличался красноречием, но глубоко значительны были следующие его слова: — Посмотрите на эти дома. Нет ни одного дома, где бы мне не доверяли. Я вам говорил, что пробьюсь. Спросите любого мужчину, женщину, ребенка… — Он приостановился. — Ну что ж, во всяком случае, я на что-то годен.

Я поспешил заметить, что в конце концов он должен был прийти к такому заключению. Я был в этом уверен, добавил я. Он покачал головой.

— Были уверены? — Он слегка пожал мне ру-

ку повыше локтя. — Что ж... значит, вы были правы!

Окрыленность, гордость, чуть ли не благоговение слышались в этом тихом восклицании.

— И подумать только, что это для меня значит! — Снова он сжал мне руку. — А вы меня спрашивали — думаю ли я уехать. Боже! Мне уехать! Особенно теперь, после того, что вы мне сказали о мистере Штейне... Уехать! Как! Да ведь этого-то я и боялся. Это было бы... тяжелее смерти. Нет, клянусь честью! Не смейтесь. Я должен чувствовать — каждый раз, когда открываю глаза, — что мне доверяют... что никто не имеет права... вы понимаете? Уехать! Куда? Зачем? Чего мне добиваться?

Я сообщил ему — в сущности, это и было целью моего визита — о намерении Штейна подарить ему дом и запас товаров на таких условиях, что сделка будет вполне законной и имеющей силу. Сначала он стал фыркать и брыкаться.

— К черту вашу деликатность! — крикнул я. — Это вовсе не Штейн. Вам дают то, чего вы сами добились. И, во всяком случае, приберегите ваши замечания для Мак-Нейла... когда встретите его на том свете. Надеюсь, это случится не скоро.

Ему пришлось принять мои доводы, ибо все

его завоевания — доверие, слава, дружба, любовь — сделали его не только господином, но и пленником. Глазами собственника смотрел он на тихую вечернюю реку, дома, на вечную жизнь лесов, на жизнь древних племен, на тайны страны, на гордость своего сердца; в действительности же это они им владели, сделали его своею собственностью вплоть до самых сокровенных его мыслей, вплоть до биения крови и последнего его вздоха.

Было чем гордиться! Я тоже гордился — гордился им, хотя и не был так уверен в баснословных выгодах сделки. Это было удивительно. Не о бесстрашии его я думал. Странно, как мало значения я ему придавал, словно оно являлось чем-то слишком условным, чтобы стать самым главным. Нет, больше поразили меня другие таланты, которые он проявил. Он доказал свое умение стать господином положения, он доказал свою интеллектуальную остроту в его оценке. А изумительная его готовность! И все это проявилось у него внезапно, как острое чутье у породистой ищейки. Он не был красноречив, но его молчание было исполнено достоинства, и великой серьезностью дышали его нескладные речи. Он все еще умел по-старому краснеть. Но иногда

сорвавшееся слово или фраза показывали, как глубоко, как торжественно относится он к тому делу, какое дало ему уверенность в оправдании. Вот почему, казалось, любил он эту страну и этих людей, — любил с каким-то неукротимым эгоизмом, со снисходительной нежностью.

25

— Вот где меня держали в плену три дня, — шепнул он мне в день нашего посещения раджи, когда мы медленно пробирались сквозь благоговейно шумливую толпу подданных, собравшихся во дворе Тунку Алланга. — Грязное местечко, не правда ли? А есть мне давали, только когда я поднимал шум, да и то я получал всего-навсего мисочку риса да жареную рыбку, чуть побольше корюшки... черт бы их побрал! Ну и голоден же я был, когда бродил в этом вонючем загоне, а эти парни шныряли около меня! Я отдал ваш револьвер по первому же требованию. Рад был от него отделаться. Глупый у меня был вид, пока я разгуливал, держа в руке незаряженный револьвер.

Тут нас провели к радже, и в присутствии человека, у которого он побывал в плену, Джим стал невозмутимо серьезен и любезен. О, он держал себя великолепно! Мне хочется смеяться, когда я об этом вспоминаю. И, однако, Джим показался мне внушительным. Старый негодяй Тунку Алланг не мог скрыть свой страх (он отнюдь не был героем, хотя и любил рассказывать о своей

буйной молодости), но в то же время относился к бывшему пленнику с серьезным доверием. Заметьте! Ему доверяли даже там, где должны были сильнее всего ненавидеть. Джим — поскольку я мог следить за разговором — воспользовался случаем, чтобы прочесть нотацию. Несколько бедных поселян были задержаны и ограблены по дороге к дому Дорамина, куда они несли камедь или воск, которые хотели обменять на рис.

— Это Дорамин — вор! — крикнул раджа. Словно бешенство вселилось в это дряхлое, хрупкое тело. Он извивался на своей циновке, жестикулировал, подергивал ногами, потряхивал своей спутанной гривой — свирепое воплощение ярости. Люди вокруг нас таращили глаза и трепетали. Джим заговорил. Довольно долго он, решительный и хладнокровный, развивал ту мысль, что не следует мешать человеку честно добывать еду себе и своим детям. Раджа сидел на помосте, словно портной на столе, ладони он опустил на колени, низко склонил голову и пристально, сквозь космы седых волос, падавших ему на глаза, смотрел на Джима. Когда Джим замолчал, наступила глубокая тишина. Казалось, никто не дышал; не слышно было ни звука. Наконец старый раджа слабо вздохнул, поднял голову

и быстро сказал:

— Ты слышишь, мой народ! Чтобы этого больше не было!

Приказ был принят к сведению в глубоком молчании. Довольно грузный человек, видимо пользовавшийся доверием раджи, с неглупыми глазами, скуластым, широким и очень темным лицом, веселый и услужливый (позже я узнал, что он был палачом), поднес нам две чашки кофе на медном подносе, который взял из рук слуги.

— Вам не нужно пить, — быстро пробормотал Джим.

Сначала я не понял смысла этих слов и только поглядел на него. Он сделал большой глоток и сидел невозмутимый, держа в левой руке блюдце. Тут меня охватило сильное раздражение.

— Зачем, черт возьми, — прошептал я, любезно ему улыбаясь, — вы меня подвергаете такому нелепому риску?

Конечно, выхода не было, и я выпил кофе, а Джим ничего мне не ответил, и вскоре после этого мы ушли. Пока мы в сопровождении неглупого и веселого палача шли по двору к нашей лодке, Джим сказал, что он очень сожалеет. Конечно, риска было мало. Лично он не боялся яда. Почти никакого риска. Он уверял меня, что его считают

в значительно большей степени полезным, чем опасным, а потому...

— Но раджа ужасно боится вас. Всякий может это заметить, — доказывал я, признаюсь, довольно брюзгливо, и все время я с беспокойством ожидал начала страшных колик. Я был очень возмущен.

— Если я хочу принести здесь пользу и сохранить свое положение, — сказал он, садясь рядом со мной в лодку, — я должен идти на риск: я это делаю по крайней мере раз в месяц. Многие верят, что я пойду на это — ради них. Боится меня! Вот именно. По всем вероятиям, он боится меня, потому что я не боюсь его кофе.

Затем Джим показал мне местечко в северном конце частокола, где заостренные концы нескольких кольев были сломаны.

— Здесь я перепрыгнул через частокол на третий день моего пребывания в Патюзане. Они до сих пор еще не вбили новых кольев. Недурной прыжок, а?

Секунду спустя мы миновали устье грязной речонки.

— А здесь я сделал второй прыжок. Я бежал и с разбегу прыгнул, но не допрыгнул. Думал — тут мне и конец. Потерял башмаки, выкарабкива-

ясь из грязи. И все время думал о том, как будет скверно, если меня заколют этим проклятым длинным копьем, пока я здесь барахтаюсь. Помню, как меня мутило, когда я корчился в тине. Тошнило по-настоящему, словно я проглотил кусок какой-то гнили.

Вот как обстояло дело, — а счастье его бежало подле него, прыгало через частокол, барахталось в грязи… и все еще было закутано в покрывало. Вы понимаете — только потому, что он так неожиданно появился, его не закололи тотчас же копьями, не бросили в реку. Он был в их руках, но они словно завладели оборотнем, привидением, знамением. Что означало его появление? Как следовало с ним поступить? Не слишком ли поздно идти на примирение? Не лучше ли убить его без лишних проволочек? Но что за этим последует? Старый негодяй Алланг чуть с ума не сошел от страха и колебаний, какое решение принять. Несколько раз совещание прерывалось, и советники опрометью кидались к дверям и выскакивали на веранду. Говорят, один даже прыгнул вниз, на землю с высоты пятнадцати футов и сломал себе ногу. У царственного правителя Патюзана были странные причуды: в горячий спор он всякий раз вводил хвастливые рапсодии,

понемногу приходил в возбуждение и, наконец, размахивая копьем, срывался со своего помоста. Но, за исключением таких перерывов, прения о судьбе Джима продолжались день и ночь.

Тем временем он бродил по двору. Иные его избегали, другие таращили глаза, но все за ним следили, и, собственно говоря, он находился во власти первого встречного оборванца, вооруженного топором. Джим завладел маленьким полуразвалившимся сараем, чтобы там спать; испарения, поднимавшиеся над грязью и гнилью, отравляли ему жизнь, но, видимо, аппетита он не потерял, ибо, по его словам, все время был голоден. Время от времени какой-нибудь «суетливый осел», присланный из залы совещания, подбегал к нему и медовым голосом предлагал изумительные вопросы:

— Собираются ли голландцы завладеть страной? Не хочет ли белый человек отправиться обратно вниз по реке? С какой целью прибыл он в такую жалкую страну? Раджа желает знать, может ли белый человек починить часы?

Они действительно притащили ему никелированный будильник американской работы, и от нестерпимой скуки он им занялся, пытаясь починить. Видимо, возясь в своем сарае над этим

будильником, он внезапно понял, какая серьезная опасность ему угрожает. Он бросил часы, «словно горячую картофелину», и быстро вышел, не имея ни малейшего представления о том, что он сделает, или, вернее, что он в силах сделать. Он знал только, что положение невыносимо.

Он бесцельно бродил за каким-то ветхим строением, напоминавшим маленький амбар на сваях, и тут взгляд его остановился на поломанных кольях частокола; тогда, по его словам, он сразу, ни о чем не размышляя и нимало не волнуясь, занялся своим спасением, словно выполнял план, созревавший в течение месяца. С беззаботным видом он отошел подальше, чтобы хорошенько разбежаться, а когда огляделся, то увидел подле себя какого-то туземного сановника в сопровождении двух копьеносцев, собиравшегося обратиться к нему с вопросом. Он ускользнул «из-под самого его носа» и, «словно птица», перемахнул через частокол на другую сторону; от тяжелого падения все кости затрещали, и ему показалось, что череп его раскололся. Тотчас же он вскочил на ноги. В то время он решительно ни о чем не думал; по его словам, он помнил только, что поднялся громкий вой. Первые дома Патюзана находились на расстоянии четырехсот ярдов; он увидел речонку

и инстинктивно побежал быстрее. Ноги его как будто не касались земли. Добежав до последнего сухого местечка, он прыгнул, почувствовал, как взлетел на воздух, а затем, без всякого толчка, опустился прямо на ноги, на очень мягкую и вязкую грязевую отмель. Тут только, попытавшись высвободить ноги и убедившись, что не может это сделать, он, по собственному его выражению, «пришел в себя». Тогда он стал думать о «проклятых длинных копьях».

В действительности, принимая во внимание, что люди, находившиеся за частоколом, должны были добежать до ворот, спуститься к причалу, сесть в лодки и обогнуть мыс, — он опередил их на значительно большее расстояние, чем предполагал. Кроме того, был отлив, в речонке не было воды, хотя и сухой ее не назовешь, и Джим временно находился в безопасности и мог опасаться лишь дальнобойного ружья. Твердая земля была в шести футах от него.

— А все-таки я думал, что мне придется тут умереть, — сказал он.

Он отчаянно извивался, цеплялся руками и добился лишь того, что отвратительный, лоснящийся, холодный ил облепил ему грудь, втянул его до самого подбородка. Ему казалось, что он

хоронит себя заживо, и тогда он, обезумев, стал колотить грязь кулаками. Она падала ему на голову, на лицо, в глаза, в рот. Он говорил мне, что вспомнил внезапно двор раджи, как вспоминаешь место, где ты был счастлив много лет назад. Ему страстно хотелось снова быть там и сидеть за починкой часов. За починкой часов — вот именно! Он делал отчаянные усилия, от которых глаза его, казалось, вот-вот выскочат из орбит; он переставал видеть и, задыхаясь, всхлипывая, напрягал все силы, чтобы выкарабкаться из грязи, очистить от нее свое тело. Наконец он почувствовал, что ползет по берегу. Затем, словно счастливая догадка, мелькнула мысль, что сейчас он заснет. Он настаивает на том, что действительно заснул; минуту он спал или секунду — он не знает, но отчетливо помнит, как, судорожно вздрогнув, проснулся. С минуту он лежал неподвижно, а потом встал, грязный с головы до ног, и подумал о том, что он — один, совсем один; сотни миль отделяют его от тех людей, среди которых он жил, и не от кого ждать ему, словно загнанному животному, помощи, сочувствия, жалости. Первые дома находились не дальше двадцати ярдов от него; отчаянный вопль испуганной женщины, пытавшейся унести ребенка,

заставил его снова побежать со всех ног. Он мчался в носках, облепленный грязью, потеряв всякое подобие человеческое. Он миновал большую часть поселка. Женщины, как более проворные, разбегались направо и налево; мужчины, менее подвижные, роняли то, что было у них в руках, и, пораженные ужасом, застывали с отвисшей челюстью. Он походил на какое-то страшное чудовище. Он помнит, как маленькие дети пытались убежать, падали на животик и колотили ногами. Проскочив между двумя домами, он стал карабкаться по склону, в отчаянии перелез через баррикаду из поваленных деревьев (в то время в Патюзане ни одна неделя не проходила без сражения), пробился сквозь изгородь в маисовое поле, где перепуганный мальчик швырнул в него палку, выскочил на тропинку и с разбегу налетел на кучку изумленных людей. У него едва хватило сил выговорить:

— Дорамин! Дорамин!

Он помнит, как его волокли, поддерживая, на вершину холма и на широком дворе, обсаженном пальмами и фруктовыми деревьями, подвели к стулу, на котором восседал грузный человек, а вокруг стояла возбужденная, взбудораженная толпа. Джим стал шарить руками, нащупывая под

своей грязной одеждой кольцо, и вдруг очутился на спине, недоумевая, кто его повалил. Видите ли — они просто перестали его поддерживать, а он не мог устоять на ногах. У подножия холма раздалось несколько выстрелов, — стреляли наобум, и над поселком поднялся глухой изумленный вой. Но Джим был в безопасности. Люди Дорамина баррикадировали ворота и лили воду ему в глотку: старая жена Дорамина, суетливая, исполненная сострадания, пронзительным голосом отдавала распоряжения своим девушкам.

— Старуха, — сказал он мягко, — так-хлопотала, словно я был родным ее сыном. Они положили меня на огромное ложе — ее парадное ложе, — а она то входила, то выходила, утирала глаза и похлопывала меня по спине. Должно быть, у меня был жалкий вид. Не знаю, сколько времени я пролежал, как бревно.

По-видимому, он сильно привязался к старой жене Дорамина. И она полюбила его, как мать. У нее было круглое коричневое мягкое лицо, все в мелких морщинах, толстые ярко-красные губы (она усердно жевала бетель) и прищуренные, мигающие, добродушные глаза. Постоянно она находилась в движении, суетилась, отдавала приказания толпе молодых женщин со светло-

коричневыми лицами и большими серьезными глазами, — своим дочерям, служанкам, рабыням. Вы знаете, как обстоит дело в таких домах: обычно разницу невозможно уловить. Она была очень худощава, и даже в своей широкой одежде, скрепленной спереди драгоценными застежками, производила впечатление тощей. Она надевала на босу ногу желтые соломенные туфли китайской выделки. Я сам видел, как она носилась по дому, а ее удивительно густые, длинные седые волосы рассыпались по спине. Она изрекала простые, мудрые слова, происходила из благородной семьи и была эксцентрична и властна. После полудня она садилась в очень большое кресло против своего супруга и пристально глядела в широкое отверстие в стене, откуда открывался вид на поселок и реку.

Усаживаясь, она неизменно поджимала под себя ноги, но старый Дорамин сидел прямо, внушительный, словно гора посреди равнины. Он был всего лишь из рода торговцев, или **накхода,** но удивительно, каким почетом он пользовался и с каким достоинством себя держал. Он был вторым по силе вождем в Патюзане. Переселенцы с Целебеса (около шестидесяти семей, которые вместе со своими приверженцами могли выставить

до двухсот человек, «владеющих копьем») много лет назад избрали его своим предводителем. Люди этого племени смышлены, предприимчивы, мстительны, но более мужественны, чем остальные малайцы, и не примиряются с гнетом. Они образовали партию, враждебную радже.

Конечно, споры шли из-за торговли. То была основная причина враждебных стычек и внезапных восстаний, наполнявших ту или иную часть поселка дымом, пламенем, громом выстрелов и воплями. Сжигали деревни, людей тащили во двор раджи, чтобы там их убить или подвергнуть пытке в наказание за то, что они торговали с кем-нибудь другим, кроме раджи. Лишь за день или за два до прибытия Джима несколько старейшин той самой рыбачьей деревушки, которую впоследствии Джим принял под особое свое покровительство, были сброшены с утесов, ибо на них пало подозрение в том, что они собирали съедобные птичьи гнезда для какого-то торговца с Целебеса.

Раджа Алланг считал своим правом быть единственным торговцем в стране, и карой за нарушение монополии была смерть; но его представление о торговле соответствовало самым простейшим формам грабежа. Его жестокость и

жадность ограничивались лишь его трусостью; он боялся людей с Целебеса, но — до прибытия Джима — страх был недостаточно силен, чтобы его утихомирить. Он наносил им удары через своих подданных и вдохновенно верил в свое право.

Положение осложнялось еще и тем, что заезжий чужестранец, араб-полукровка, кажется из чисто религиозных побуждений, поднял восстание среди племен, обитавших в глубине страны (Джим называл их «люди лесов»), и укрепился в лагере на вершине одного из холмов-близнецов. Он навис над городом Патюзаном, словно ястреб над птичником, но опустошал внутренние районы. Целые деревни, покинутые, гнили на почерневших сваях у берегов чистых потоков, роняя в воду пучки травы со стен и листья с крыш; казалось, они умирали естественной смертью, словно были какими-то растениями, подгнившими у самого корня.

Две партии в Патюзане не были уверены, какую из них этот партизан предпочитает ограбить. Раджа пытался интриговать. Некоторые поселенцы буги, которым надоела постоянная опасность, не прочь были его призвать. Те, что были помоложе, горячились, советовали «вызвать шерифа Али с его дикарями и изгнать из страны раджу Аллан-

га». Дорамин с трудом их удерживал. Он старел, и, хотя влияние его не уменьшалось, справиться с создавшимся положением он не мог. Так обстояло дело, когда Джим, перепрыгнув через частокол раджи, предстал перед вождем буги, предъявил кольцо и был принят, так сказать, в самое сердце общины.

26

Дорамин был одним из самых замечательных людей своей расы, какого я когда-либо видел. Для малайца он был неимоверно толст, но не казался жирным; он был внушителен, монументален. Это неподвижное тело, облеченное в богатые материи, цветные шелка, золотые вышивки; эта огромная голова, обернутая красным с золотом платком; плоское, большое, широкое лицо, изборожденное морщинами; две полукруглые глубокие складки, начинающиеся у широких раздутых ноздрей и окаймляющие рот с толстыми губами; бычья шея; высокий морщинистый лоб над пристальными гордыми глазами — все вместе производило такое впечатление, что — раз увидев этого человека — нельзя было его забыть. Его неподвижность (опустившись на стул, он редко шевелился) казалась исполненной достоинства. Никогда не слыхали, чтобы он повысил голос. Он говорил хриплым властным шепотом, слегка заглушенным, словно доносившимся издалека. Когда он шел, два невысоких коренастых молодца, обнаженные до пояса, в белых саронгах

и черных остроконечных шапках, сдвинутых на затылок, — поддерживали его под локти; они опускали его на стул и стояли за его спиной, пока он не выражал желания подняться; медленно, словно с трудом, он поворачивал голову направо и налево, и тогда они его подхватывали под мышки и помогали встать. Несмотря на это, он нимало не походил на калеку, — наоборот, во всех его медленных движениях проявлялась какая-то могучая, спокойная сила. Считалось, что по вопросам общественным он советовался со своей женой, но, поскольку мне известно, никто не слыхал, чтобы они когда-нибудь обменялись хотя бы одним словом. Они молчали, когда торжественно восседали друг против друга перед широким отверстием. Внизу, в лучах заходящего солнца, они могли видеть широко раскинувшуюся страну лесов — темное спящее зеленое море, простирающееся до фиолетовой и пурпурной цепи гор, — сверкающие извивы реки, похожей на огромную серебряную букву S, коричневую ленту домов вдоль обоих берегов, вздымающиеся над ближними верхушками деревьев два холма-близнеца.

Они были удивительно непохожи друг на друга: она — легкая, хрупкая, худощавая, живая,

словно маленькая колдунья, матерински суетливая даже в минуты отдыха; он — огромный и грузный, словно фигура человека, грубо высеченная из камня, великодушный и жестокий в своей неподвижности. Сын этих двух стариков был замечательный юноша.

Он родился у них под старость. Быть может, в действительности он был старше, чем казался. В двадцать четыре — двадцать пять лет человек не так уж молод, если в восемнадцать он стал отцом семейства. Входя в большую, высокую комнату, стены и пол которой были обиты тонкими циновками, а потолок затянут белым холстом, — в комнату, где восседали его родители, окруженные почтительной свитой, — он направлялся прямо к Дорамину, чтобы поцеловать величественно протянутую руку, а потом занимал свое место возле кресла матери. Я думаю, можно сказать, что они его боготворили, но ни разу не заметил я, чтобы они подарили его взглядом. Правда, то были официальные приемы. Обычно комната бывала битком набита. У меня не хватает слов описать торжественную процедуру приветствий и прощаний, глубокое уважение, выражавшееся в жестах, в лицах, в тихом шепоте.

— Стоит на это посмотреть, — уверял меня

Джим, когда мы переправлялись обратно через реку.

— Они — словно люди из книжки, не правда ли? — торжествующе сказал он. — А Даин Уорис, их сын, — лучший друг, какой у меня когда-либо был, не говоря о вас. Мистер Штейн назвал бы его хорошим «боевым товарищем». Мне повезло. Ей-богу, мне повезло, когда я, выбившись из сил, наткнулся на них…

Он задумался, опустив голову, потом встрепенулся и добавил:

— Конечно, и я не прозевал своего счастья, но… — Он приостановился и прошептал: — Казалось, оно ко мне пришло. Я сразу понял, что должен делать…

Несомненно, счастье пришло к нему и пришло через войну, что вполне естественно, ибо власть, доставшаяся ему, была властью творить мир. Только потому, что это в их силах, она может быть оправдана. Не думайте, что он сразу увидел свой путь. Когда он появился в Патюзане, община буги находилась в самом критическом положении.

— Все они боялись, — сказал он мне, — и каждый боялся за себя; а я прекрасно понимал, что им следует немедленно что-то предпринять, если они не хотят погибнуть один за другим от руки

раджи или этого бродяги шерифа.

Но мало было только понять. Когда он овладел своей идеей, ему пришлось внедрять ее в умы упорствующих людей, пробивая заграждения, воздвигнутые страхом и эгоизмом. Наконец он ее внедрил. Но и этого было мало. Он должен был измыслить средства. Он их измыслил — выработал дерзкий план; но дело его лишь наполовину было сделано. Свою веру он должен был вдохнуть в людей, которые, по каким-то скрытым и нелепым основаниям, колебались; ему пришлось примирить глупых завистников, доводами сломить бессмысленное недоверие. Если бы не авторитет Дорамина и пламенный энтузиазм его сына, Джим потерпел бы неудачу. Даин Уорис, юноша замечательный, первый в него поверил; между ними завязалась дружба — та странная, глубокая, редкая дружба между цветным и белым, когда расовое различие как будто теснее сближает двух людей благодаря таинственному ферменту симпатии. О Даине Уорисе его народ с гордостью говорил, что он умеет честно сражаться. Это была правда; он отличался именно такой храбростью — я бы сказал, храбростью бесхитростной, и склад ума у него был европейский. Вам приходится иногда встречать таких людей, и вы удивляетесь,

неожиданно подметив знакомый ход мысли, ясный ум, настойчивое стремление к цели, проблеск альтруизма.

Маленького роста, но сложенный на редкость пропорционально, Даин Уорис держал себя гордо, вежливо и свободно, а темперамент у него был очень горячий. Его смуглое лицо с большими черными глазами было выразительно, а в минуты отдыха задумчиво. Он был молчалив; твердый взгляд, ироническая улыбка, учтивые сдержанные манеры, казалось, свидетельствовали о большом уме и силе. Такие люди открывают пришельцам с Запада, часто не проникающим за поверхность вещей, скрытые возможности тех рас и стран, над которыми нависла тайна неисчислимых веков.

Он не только доверял Джиму, он его понимал, — в это я твердо верю. Я заговорил о нем, ибо он меня пленил. Его, если можно так сказать, язвительное спокойствие и разумное сочувствие стремлениям Джима произвели на меня впечатление. Мне казалось, что я созерцаю самые истоки дружбы. Если Джим верховодил, то Даин Уорис захватил в плен своего главаря. Действительно, Джим-главарь был во всех отношениях пленником. Страна, народ, дружба, любовь были ревностными его

стражами. Каждый день прибавлял новое звено к цепи этой странной свободы. В этом я убеждался по мере того, как узнавал его историю.

История! Разве я о ней не слышал? Я слушал его рассказы и на стоянках и во время путешествия (Джим заставил меня обойти всю страну в поисках невидимой дичи). Большую часть этой истории рассказал он мне на одной из двух вершин-близнецов, куда мне пришлось взбираться последние сто футов на четвереньках. Наш кортеж — от деревни до деревни нас сопровождали добровольные спутники — расположился тем временем на ровной площадке, на полдороге до вершины холма, и в неподвижном вечернем воздухе поднимался снизу запах лесного костра и нежно щекотал наши ноздри, словно какой-то изысканный аромат. Поднимались и голоса, удивительно отчетливые и бесплотно ясные. Джим сел на ствол срубленного дерева и, вытащив свою трубку, закурил. Вокруг нас пробивалась новая молодая трава и кусты; под колючим валежником виднелись следы производившихся здесь земляных работ.

— Все началось отсюда, — сказал Джим после долгого молчания.

На расстоянии двухсот ярдов от нас, на другом

холме, отделенном мрачной пропастью, я увидел проглядывавшие кое-где высокие почерневшие колья — остатки неприступного лагеря шерифа Али.

И все же лагерь был взят. Такова была идея Джима. Он втащил на вершину этого холма старую артиллерию Дорамина: две ржавые железные семифунтовые пушки и много маленьких медных пушек. Но медные пушки знаменуют собою не только богатство: если дерзко забить им в жерло ядро, они могут послать его на небольшое расстояние. Трудность заключалась в том, как поднять их наверх.

Джим показал мне, где он укрепил канаты, объяснил, как он устроил грубый ворот из выдолбленного бревна, вращавшегося на заостренном колу, наметил трубкой линию, где шли земляные работы. Особенно труден был подъем на высоту последних ста футов. Вся ответственность лежала на нем: в случае неудачи он поплатился бы головой. Он заставил военный отряд работать всю ночь. Вдоль всего склона пылали огромные костры, «но здесь, наверху, — пояснил Джим, — людям приходилось бегать в темноте». С вершины люди, двигавшиеся по склону холма, казались суетливыми муравьями. В ту ночь Джим то и дело

спускался вниз и снова карабкался наверх, как белка, распоряжаясь, ободряя, следя за работой вдоль всей линии. Старый Дорамин приказал внести себя вместе с креслом на холм. Они спустили его на ровную площадку на склоне, и здесь он сидел, освещенный большим костром.

— Удивительный старик, настоящий старый вождь, — сказал Джим. — Глазки у него маленькие, острые; на коленях он держал пару огромных кремневых пистолетов. Великолепное оружие — из эбенового дерева, в серебряной оправе, с чудесными замками, а по калибру они похожи на старые мушкетоны. Кажется, подарок Штейна… в обмен за то кольцо. Раньше они принадлежали старому Мак-Нейлу. Одному богу известно, где старик их раздобыл. Там Дорамин сидел совершенно неподвижно; сухой валежник ярко пылал за его спиной; люди бегали вокруг, кричали, тянули канат — а он сидел торжественно, — самый внушительный важный старик, какого только можно себе представить. Немного было бы у него шансов спастись, если бы шериф Али послал на нас свое проклятое войско и растоптал моих ребят. А? Как бы то ни было, но он поднялся сюда, чтобы умереть, если дело обернется скверно. Да, вот что он сделал! Я содрогался, когда видел его

здесь, неподвижного, как скала. Но, должно быть, шериф считал нас сумасшедшими и не потрудился пойти и посмотреть, что мы тут делаем. Никто не верил, что можно это сделать. Я думаю, даже те парни, которые, обливаясь потом, тянули канат, тоже не верили! Честное слово, я не думаю, чтобы они верили…

Он стоял выпрямившись, сжимая в руке тлеющую трубку; на губах его блуждала улыбка, мальчишеские глаза сверкали. Я сидел на пне, у его ног, а внизу раскинулась страна — великие леса, мрачные под лучами солнца, волнующиеся, как море, поблескивали изгибы рек, кое-где виднелись серые пятнышки деревень и просеки, словно островки света среди темных волн листвы. Угрюмый мрак лежал над этим широким и однообразным пейзажем; свет падал на него, как в пропасть. Земля поглощала солнечные лучи; а вдали, у берега, пустынный океан, гладкий и полированный, за слабой дымкой, казалось, вздымался к небу стеной из стали.

А я был с ним, высоко, в солнечном свете, на вершине его исторического холма. Джим возвышался над лесом, над вековым мраком, над древним человечеством. Он стоял, словно статуя, воздвигнутая на пьедестале; его непреклонная

юность олицетворяла мощь и, быть может, добродетели рас, которые никогда не стареют, которые возникли из мрака. Не знаю, справедливо ли было по отношению к нему вспоминать инцидент, который дал новое направление его жизни, но в тот самый момент я вспомнил его отчетливо. То была тень на свету.

27

Легенда уже наделила его сверхъестественной силой. Да, — так гласила она, — были хитро натянуты веревки и воздвигнуто странное сооружение, которое приводилось в движение усилиями многих людей, и каждая пушка медленно поднималась, раздвигая кусты, словно дикая свинья, пробивающая себе путь сквозь заросли, но... и тут мудрейшие покачивали головами. Несомненно, во всем этом было что-то таинственное: ибо что такое — сила веревок и рук человеческих? Мятежная душа заключена в вещах, и нужно ее преодолеть могущественными чарами и заклинаниями. Так рассуждал старый Сура, пользующийся уважением житель Патюзана, с которым я как-то вечером вел тихую беседу. Однако Сура был также профессиональным колдуном, которого призывали туземцы, жившие на расстоянии многих миль, чтобы он присутствовал при посеве и сборе риса и укрощал строптивую душу вещей. Это занятие он, казалось, считал очень трудным, и, быть может, души вещей более строптивы, чем души человеческие.

Что же касается простолюдинов из близлежащих деревень — они верили и говорили, словно то была самая естественная вещь на свете, что Джим на своей спине втащил пушки на холм — по две за раз.

Это заставляло Джима гневно топать ногами и раздраженно восклицать со смешком:

— Что поделаешь с таким дурачьем? Они готовы просидеть полночи, болтая всякий вздор; и чем нелепее выдумка, тем больше она им как будто нравится.

В этом раздражении вы можете подметить тонкое влияние окружавшей его обстановки. То был один из признаков его пленения. Он опровергал легенду с такой забавной серьезностью, что под конец я сказал:

— Дорогой мой, ведь вы же не допускаете, что я этому верю?

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Ну конечно, не допускаю, — сказал он и разразился гомерическим хохотом. — Как бы то ни было, а пушки очутились там, и залп был сделан на восходе солнца. Эх, если б вы видели, как полетели щепки! — воскликнул он.

Даин Уорис, сидевший подле него и слушавший со спокойной улыбкой, опустил глаза и поше-

вельнул ногой.

Видимо, когда пушки были подняты, успех вселил в людей Джима такую уверенность, что он рискнул оставить батарею на попечение двух пожилых буги, видавших на своем веку сражения, а сам присоединился к Даину Уорису и штурмовому отряду, скрывавшимся в ущелье. Перед рассветом они поползли наверх и, сделав две трети пути, залегли в сырой траве, ожидая восхода солнца, служившего условным сигналом. Он рассказал мне, с какой нетерпеливой тревогой следил за быстро надвигающимся рассветом; как, разгоряченный работой и восхождением, он чувствовал, что стынет от холодной росы; как он боялся, что начнет дрожать и трястись, как лист, раньше чем пробьет час наступления.

— То были самые долгие тридцать минут во всей моей жизни, — объявил он.

Постепенно на фоне неба стал вырисовываться над ним частокол. Люди, рассыпавшиеся по склону, прятались за темными камнями и мокрыми от росы кустами. Даин Уорис лежал, распластавшись на земле, подле него.

— Мы переглянулись, — сказал Джим, ласково опуская руку на плечо своего друга. — Он, как ни в чем не бывало, весело улыбнулся мне, а я не

смел разжать губы, боясь, как бы меня не охватила дрожь. Честное слово, это правда! Я обливался потом, когда мы карабкались по холму, так что вы можете себе представить…

Он сказал, — и я ему верю, — что никаких опасений за исход кампании у него не было. Он беспокоился только, удастся ли ему сдержать дрожь. Исход его не тревожил. Он должен был добраться до вершины этого холма и остаться там, что бы ни случилось. Отступления для него быть не могло. Эти люди слепо ему доверились. Ему! Одному его слову…

Помню, как он приумолк и посмотрел на меня.

Насколько ему известно, сказал он, у них еще не было случая пожалеть об этом. Не было. И он от всей души надеется, что такого случая никогда не будет. А пока что — ему не везет! Они привыкли со всякими затруднениями идти к нему. Мне бы и в голову не пришло… Как, да ведь только на днях какой-то старый дуралей, которого он никогда в глаза не видел, пришел из деревни, находящейся за много миль отсюда, спросить, разводиться ли ему с женой. Факт! Честное слово! Вот как обстоят дела… Он бы этому не поверил. А я бы поверил? Старик уселся на веранде, поджав под себя ноги, жует бетель, вздыхает и плюется;

просидел больше часу, мрачный, как гробовщик, пока он, Джим, бился над этой проклятой задачей. Это совсем не так забавно, как кажется. Что было ему сказать? Хорошая жена? Да. Жена хорошая, хотя старая; и пошел рассказывать бесконечную историю о каких-то медных горшках. Жили вместе пятнадцать лет… двадцать лет… не может сказать точно. Долго, очень долго. Жена хорошая. Бил ее помаленьку — не сильно — немного поколачивал, когда она была молода. Должен был бить, чтобы поддержать свой престиж. Вдруг на старости лет она идет и отдает три медных горшка жене сына своей сестры и начинает каждый день ругать его во всю глотку. Враги его скалят зубы; лицо у него совсем почернело. Горшков нет как нет. Ужасно это на него подействовало. Невозможно разобраться в такой истории. Отослал его домой и обещал прийти и уладить дело. Вам хорошо смеяться, но возня была препротивная. Целый день пришлось пробираться через лес, а следующий день ушел на улещивание дураков, чтобы добраться до сути дела. Дело могло дойти до кровопролития. Каждый идиот стал на сторону той или другой семьи, и половина деревни готова была вступить в рукопашный бой с другой половиной.

— Честное слово, я не шучу!.. И это вместо того, чтобы заниматься своими посевами.

Он раздобыл ему, конечно, эти проклятые горшки и всех утихомирил. Это было совсем не трудно. Мог положить конец смертельной вражде — стоило только пошевельнуть мизинцем. Беда в том, что трудно добраться до правды. И по сей день он не уверен, со всеми ли поступил справедливо. Это его беспокоило. А разговоры! Нельзя было разобрать, где начало, где конец. Легче взять штурмом двадцатифутовый частокол. Куда легче! Детская забава по сравнению с этим делом. И времени меньше уйдет. Ну да! В общем, конечно, забавное зрелище — старик ему в деды годится. Но если посмотреть с другой точки зрения, то дело не шуточное. Его слово решает все — с тех пор как разбит шериф Али. Ужасная ответственность, повторил он. Нет, право же, — шутки в сторону, — если бы речь шла не о трех медных горшках, а о трех жизнях, было бы то же самое.

Так иллюстрировал Джим моральный эффект своей военной победы. Эффект был поистине велик. Он привел его от войны к миру, и через смерть — в сокровенную жизнь народа; но мрак страны, раскинувшейся под сияющим солнцем, по-прежнему казался непроницаемым, окутан-

ным вековым Покоем. Его свежий молодой голос — удивительно, как мало сказывались на нем годы — легко плыл в воздухе и несся над неизменным ликом лесов, так же как грохот больших пушек в то холодное росистое утро, когда Джим заботился лишь о том, чтобы сдержать дрожь.

Когда первые косые лучи солнца ударили в неподвижные верхушки деревьев, вершина одного холма огласилась тяжелыми залпами и окуталась белыми облаками дыма, а на другом холме раздались удивленные возгласы, боевой клич, вопли гнева, изумления, ужаса. Джим и Дайн Уорис первые добежали до кольев. Легенда гласит, что Джим одним пальцем повалил ворота. Он, конечно, с беспокойством отрицал этот подвиг.

Весь частокол — настойчиво объяснял он — представлял собою жалкое укрепление: шериф Али полагался главным образом на неприступную позицию. Кроме того, заграждение было во многих местах уже пробито и держалось только чудом. Джим налег на него, как дурак, плечом и, перекувырнувшись через голову, упал во дворе. Если бы не Даин Уорис, рябой татуированный дикарь пригвоздил бы его копьем к бревну, как Штейн пришпиливает своих жуков. Третий че-

ловек, ворвавшийся во двор, был, кажется, Тамб Итам, слуга Джима.

Этот малаец с севера, чужестранец, случайно забрел в Патюзан и был насильно задержан раджей Аллангом и назначен гребцом одной из принадлежащих государству лодок. Оттуда он удрал при первом удобном случае и, найдя ненадежный приют и очень мало еды у поселенцев буги, стал служить Джиму. Лицо у него было очень темное и плоское, глаза выпуклые и налитые желчью. Что-то неукротимое, чуть ли не фанатическое было в его преданности «белому господину». Он не разлучался с Джимом, словно мрачная его тень. Во время официальных приемов он следовал за ним по пятам, держа руки на рукоятке криса и угрюмыми свирепыми взглядами не подпуская народ. Джим сделал его своим управителем, и весь Патюзан его уважал и ухаживал за ним, как за особой очень влиятельной. При взятии крепости он отличился, сражаясь с методической яростью. По словам Джима, штурмовой отряд налетел так быстро, что, несмотря на панику, овладевшую гарнизоном, «в течение пяти минут шел во дворе жаркий бой врукопашную, пока какой-то болван не поджег навесы из листьев и сена, и все мы должны были убраться».

Враг, видимо, был разбит наголову. Дорамин, неподвижно сидевший в кресле на склоне холма, под дымом пушек, медленно расплывавшимся над его большой головой, встретил эту весть глухим ворчанием. Узнав, что сын его невредим и преследует неприятеля, он, не говоря ни слова, попытался встать; слуги поспешили к нему на помощь: почтительно поддерживаемый под руки, он с величайшим достоинством удалился в тенистое местечко, где улегся спать, с головы до ног закрытый куском белого полотна.

Патюзан был охвачен страшным возбуждением. Джим говорил мне, что с холма, поворачиваясь спиной к тлеющему частоколу, черной золе и полуобгоревшим трупам, он видел, как время от времени на открытые площадки между домами по обоим берегам реки, суетясь, выбегали люди и через секунду снова скрывались. Снизу слабо доносился оглушительный грохот гонгов и барабанов. Бесчисленные флаги развевались, словно маленькие белые, красные и желтые птицы над коричневыми коньками крыш.

— Должно быть, вы были в восторге, — прошептал я, заражаясь его волнением.

— Это было… это было грандиозно! Грандиозно! — громко воскликнул он, широко раскинув

руки.

Этот неожиданный жест меня испугал, словно я увидел, как он открывает тайны своего сердца сиянию солнца, хмурым лесам, стальному морю. Внизу город отдыхал на извилистых берегах словно задремавшей реки.

— Грандиозно! — повторил он в третий раз, обращаясь шепотом к самому себе.

Грандиозно! Действительно, это было грандиозно — успех, увенчавший его слова, завоеванная земля, по которой он ступал, слепое доверие людей, вера в самого себя, вырванная из огня, его подвиг. Все это, как я вас предупреждал, умаляется в рассказе. Я не могу передать вам словами впечатление полного его одиночества. Знаю, конечно, что там он был один, оторванный от себе подобных, но скрытые в нем силы заставили его так близко соприкоснуться с окружающей жизнью, что это одиночество казалось лишь следствием его могущества. И одиночеством подчеркивалось его величие. Не было никого, с кем бы его сравнить, словно он — один из тех исключительных людей, о которых можно судить лишь по величию их славы; а слава его, не забудьте, гремела на много миль вокруг. Вам пришлось бы грести, продвигать лодку баграми

или проделать долгий, трудный путь, пробиваясь сквозь джунгли, чтобы уйти от ее голоса. Этот голос не был трубным гласом той порочной богини, которую все мы знаем, — не был дерзким и бесстыдным. Он был окрашен тишиной и мраком страны без прошлого, где слово его было единственной правдой каждого преходящего дня. В нем было что-то от того молчания, какое сопровождало вас в неизведанную глубь страны; он непрерывно звучал подле вас, всепроникающий и настойчивый, — срывался с уст шепчущих людей, исполненный удивления и тайны.

28

Потерпев поражение, шериф Али бежал, нигде не задерживаясь, из страны, а когда жалкие, загнанные жители начали выползать из джунглей и возвращаться в свои полусгнившие дома, Джим, пользуясь советами Даина Уориса, назначил старшин. Так он стал фактически правителем страны.

Что касается старого Тунку Алланга, то вначале страх его был безграничен. Говорят, что, узнав об успешном штурме холма, он бросился ничком на бамбуковый пол в своей парадной зале и пролежал неподвижно всю ночь и целый день, испуская заглушенные стоны, столь жуткие, что ни один человек не осмеливался подойти к его распростертому телу ближе, чем на длину копья. Он уже видел себя позорно изгнанным из Патюзана; видел, как скитается, всеми покинутый, оборванный, без опиума, без женщин и приверженцев, — легкая добыча для первого встречного. За шерифом Али придет и его черед, а кто может противостоять атаке, которою руководит такой дьявол? И в самом деле он был обязан

жизнью и тем авторитетом, какой у него оставался во время моего посещения, исключительно представлению Джима о справедливости. Буги горели желанием расплатиться за старые обиды, а бесстрастный старый Дорамин лелеял надежду увидеть своего сына правителем Патюзана. Во время одного из наших свиданий он умышленно намекнул мне на эту свою тайную тщеславную мечту. Удивительно, с каким достоинством и осторожностью он коснулся этого вопроса.

Сначала он заявил, что в дни молодости он полагался на свою силу, но теперь состарился и устал… Глядя на его внушительную фигуру и надменные маленькие глазки, бросавшие по сторонам зоркие, испытующие взгляды, вы невольно сравнивали его с хитрым старым слоном: медленно вздымалась и опускалась широкая грудь — мощно и ровно, словно дышало спокойное море. Он утверждал, что безгранично доверяет мудрости Тюана Джима. Если бы он только мог добиться обещания! Одного слова было бы достаточно!.. Его молчание, тихий рокот его голоса напоминал последние усилия затихающей грозы.

Я попробовал уклониться. Это было трудно, так как не могло быть сомнений в том, что власть в

руках Джима; казалось, в этом новом его окружении не было ничего, что бы он не мог удержать или отдать. Но повторяю, это было ничто по сравнению с той мыслью, какая пришла мне в голову, пока я внимательно слушал: я подумал, что Джим очень близко подошел к тому, чтобы обуздать наконец свою судьбу.

Дорамин был обеспокоен будущим страны, и меня поразил оборот, какой он придал разговору. Страна остается там, где положено ей быть, но белые люди, — сказал он, — приходят к нам и немного погодя уходят. Они уходят. Те, кого они оставляют, не знают, когда им ждать их возвращения. Они уезжают в свою родную страну, к своему народу, и так поступит и этот молодой человек...

Не знаю, что побудило меня энергично воскликнуть: «Нет, нет!» Я понял свою неосторожность, когда Дорамин обратил ко мне свое лицо, изборожденное глубокими морщинами и неподвижное, словно огромная коричневая маска, и задумчиво сказал, что для него это — добрая весть, а затем он пожелал узнать — почему?

Его маленькая добродушная, похожая на колдунью, жена сидела по другую сторону от меня, поджав под себя ноги; голова ее была закрыта.

Она глядела в огромное отверстие в стене. Я видел только прядь седых волос, выдавшуюся скулу и острый подбородок; она что-то жевала. Не отрывая глаз от леса, раскинувшегося до самых холмов, она спросила меня жалостливым голосом, — почему он, такой молодой, покинул свой дом, ушел так далеко, пройдя через столько опасностей? Разве нет у него семьи, нет близких в его родной стране? Нет старой матери, которая всегда будет вспоминать его лицо?

К этому я был совершенно не подготовлен. Я пробормотал что-то невнятное и покачал головой. Впоследствии я понял, что имел довольно жалкий вид, когда старался выпутаться из затруднительного положения. С той минуты, однако, старый накхода стал молчалив. Боюсь, он был не очень доволен, и, видимо, я дал ему пищу для размышлений. Странно, что вечером того же дня (то был последний мой день в Патюзане) я еще раз столкнулся с тем же вопросом: неизбежное в судьбе Джима «почему?», на которое нет ответа.

Так я подхожу к истории его любви. Должно быть, вы думаете, что эту историю легко можете сами себе представить. Мы столько слыхали таких историй, и многие из нас вовсе не называют их историями любви. Большей частью мы

считаем их делом случая — вспышкой страсти или, быть может, только увлечением молодости, которое в конце концов обречено на забвение, даже если оно и прошло сквозь подлинную нежность и сожаление. Такая точка зрения обычно правильна, и, быть может, так обстоит дело и в данном случае… Впрочем, не знаю. Рассказать эту историю отнюдь не так легко, как может казаться, — если подходишь с обычной точки зрения. По-видимому, она похожа на все истории такого рода; однако я вижу на заднем плане меланхолическую фигуру женщины — призрак жестокой мудрости, — женщины, похороненной в одинокой могиле; она смотрит серьезно, беспомощно; на устах ее лежит печать. Могила, на которую я набрел во время утренней прогулки, представляла собой довольно бесформенный коричневый холмик, обложенный кусками белого коралла и обнесенный изгородью из расщепленных деревцов, с которых не снята кора. Гирлянда из листьев и цветов обвивала сверху тонкие столбики, — и цветы были свежие.

Таким образом, является ли призрак плодом моей фантазии, или нет, — но я, во всяком случае, могу указать на тот знаменательный факт, что могила не была забыта. Если же я добавлю, что

Джим собственноручно сделал примитивную изгородь, вам тотчас же станет ясен своеобразный характер этой истории. В том, как он принимал воспоминания и привязанности другого человеческого существа, была свойственная ему серьезность. У него была совесть — и совесть романтическая.

В течение всей своей жизни жена ничтожного Корнелиуса не имела иного собеседника, поверенного и друга, кроме своей дочери. Каким образом бедная женщина вышла замуж за этого ужасного португальца с Малакки после разлуки с отцом своей девочки, и чем вызвана была эта разлука — смертью ли, которая бывает подчас милосердна, или жестоким стечением обстоятельств, — все это остается для меня тайной. Из того немногого, о чем обмолвился в моем присутствии Штейн, знавший столько историй, я делаю вывод, что она была женщиной отнюдь незаурядной. Отец ее был белый и занимал ответственный пост; это был один из тех блестяще одаренных людей, которые недостаточно тупы, чтобы лелеять свой успех, и чья карьера так часто обрывается в тени облака. Полагаю, что и ей тоже не хватало этой спасительной тупости, — и ее карьера закончилась в Патюзане.

Общая наша судьба (ибо где найдете вы человека, — я имею в виду настоящего, мыслящего человека, — который смутно не вспоминал бы о том, как был покинут в момент обладания кем-то или чем-то более ценным чем жизнь?) …общая наша судьба с сугубой жестокостью преследует женщин. Она не карает, как господин, но подвергает длительной пытке, словно утоляя тайную, непримиримую злобу. Можно подумать, что, предназначенная править на земле, она старается выместить злобу на тех, кто готов вырваться из пут земной осторожности; ибо только женщины умеют иногда вложить в свою любовь тот еле ощутимый элемент сверхчеловеческого, внушающий нам страх, то дуновение неземного. С недоумением спрашиваю я себя: каким кажется им мир, — имеет ли он ту же форму и субстанцию, какую знаем мы? Одним ли с нами воздухом они дышат? Иногда я себе рисую мир безрассудный и возвышенный, где трепещут их отважные души, — мир, озаренный сиянием всех опасностей и отречений. Однако я подозреваю, что в мире очень мало женщин, хотя, конечно, мне известно о множестве людей, которые равно делятся на два пола.

Но я уверен: мать была такой же настоящей

женщиной, какою казалась дочь. Я невольно представляю себе обеих: сначала молодую женщину и ребенка, потом старуху и молодую девушку, — жуткое сходство и стремительный ход времени, барьер лесов, уединение и сутолока вокруг этих двух одиноких жизней, и каждое слово, каким они обмениваются, проникнуто грустью. Были, должно быть, признания; полагаю, они касались не столько фактов, сколько сокровенных чувств — сожаления, страха; были, несомненно, и предостережения — предостережения, не вполне понятные младшей, пока не умерла старшая… и не появился Джим. Тогда, я уверен, она поняла многое — не все — и главным образом страх. Джим называл ее именем, которое означает драгоценность, драгоценный камень — Джюэл. Хорошенькое имя, — не правда ли? Но он способен был на все. Ему было по плечу его счастье и, должно быть, по плечу было и его несчастье. Он называл ее Джюэл и произносил это так, как сказал бы «Джен», любовно, спокойно, по-домашнему. Впервые я услышал это имя через десять минут после того, как подошел к его дому; сначала он потряс мне руку так, что едва ли не оторвал, потом взбежал по ступеням и радостно, по-мальчишески волнуясь, закричал у дверей

под тяжелым навесом:

— Джюэл! Джюэл! Скорей! Друг приехал…

…и вдруг повернулся ко мне в полумраке веранды и, вглядываясь в мое лицо, с жаром забормотал:

— Вы понимаете… это… это очень серьезно… совсем не забава!.. И рассказать вам не могу, как я ей обязан… Понимаете… я… все равно, как если бы…

Его торопливый тревожный шепот оборвался, когда в доме мелькнула белая фигура, раздалось тихое восклицание, и детское, но энергичное маленькое личико с тонкими чертами и глубокими внимательными глазами выглянуло из мрака, словно птица из гнезда.

Конечно, меня поразило это имя, но лишь позднее я с ним связал удивительную сплетню, какую слышал во время своего путешествия в маленьком приморском местечке на двести тридцать миль к югу от реки Патюзан. Шхуна Штейна, на которой я плыл, зашла туда, чтобы забрать какие-то продукты, и, сойдя на берег, я, к великому своему изумлению, убедился, что отвратительное местечко может похвастаться третьесортным заместителем помощника резидента — крупным жирным полукровкой, вечно подмигивающим,

с вывороченными, лоснящимися губами. Я застал его развалившимся на тростниковом стуле; костюм его был мерзко расстегнут, на макушке потной головы лежал какой-то большой зеленый лист; такой же лист он держал в руке и лениво им обмахивался…

…Едете в Патюзан? О да! Торговая компания Штейна. Об этом ему было известно. Штейн имел разрешение. Это его не касается. Потом он небрежно заметил, что теперь там не так уж плохо, и, растягивая слова, продолжал:

— Я слышал, туда пролез какой-то белый бродяга… А? Что вы сказали? Ваш друг? Так!.. Значит, правду говорили, что там появился один из этих проклятых… Что он такое задумал? И нашел же, плут, дорогу! А я хорошенько не знал. Патюзан… они там перерезают друг другу глотку… Не наше дело…

Он оборвал свою речь и застонал.

— Фу! Всемогущее небо! Ну и жара! Ну и жара! Так… Значит, в конце концов есть доля правды в этой истории, и…

Тут он закрыл один мутный глаз — веко его все время дрожало, — а другой злобно скосил на меня.

— Слушайте, — сказал он таинственно, — ес-

ли… вы понимаете?.. Если парень действительно раздобыл что-нибудь стоящее — не какое-нибудь там зеленое стеклышко — понимаете? — я правительственный чиновник, и вы, конечно, скажете этому бездельнику… А? Что? Ваш друг?..

Он по-прежнему сидел, развалившись в кресле.

— Да, вы говорили; вот именно! Я рад, что вам намекнул. Полагаю, вы тоже не прочь поживиться? Не перебивайте! Вы только ему скажите, что я об этом слышал, но своему правительству рапорта не подавал. Еще не подавал. Понятно? Зачем подавать рапорт? А? Скажите ему, чтобы ехал ко мне, если они его выпустят оттуда живым. Пусть остерегается. А? Я обещаю никаких вопросов не задавать. Потихоньку, понимаете? Вы… вы тоже чем-нибудь поживитесь. Комиссионные за хлопоты. Не перебивайте. Я — правительственный чиновник и никакого рапорта не подаю. Это сделка. Поняли? Я знаю хороших людей, которые охотно купят стоящую вещь; я могу ему дать такие деньги, каких этот негодяй и не видывал. Я эту породу знаю.

Он раскрыл оба глаза и в упор посмотрел на меня, а я стоял перед ним, совершенно сбитый с толку, и недоумевал — с ума он сошел или пьян.

Он потел, пыхтел, слабо стонал и почесывался с таким отвратительным спокойствием, что я не мог вынести этого зрелища и ушел, не добившись толку.

На следующий день, разговорившись с подданными маленького туземного раджи этого местечка, я выяснил, что сюда дошел слух о каком-то таинственном белом человеке в Патюзане, который завладел удивительным драгоценным камнем — огромным изумрудом, не поддающимся даже оценке. Видимо, изумруд больше всяких других драгоценных камней действует на восточное воображение. Мне рассказали, что белый человек получил его отчасти благодаря своей удивительной силе, а отчасти благодаря хитрости, — получил от правителя одной далекой страны, откуда он немедленно бежал и в великом отчаянии явился в Патюзан, где запугал народ неукротимой своей жестокостью, которую ничто, казалось, не могло сломить.

Большинство моих собеседников придерживалось того мнения, что камень, должно быть, приносит несчастье, — подобно знаменитому камню султана Суккаданы, навлекшему в древние времена войны и неслыханные бедствия на страну. Быть может, это был тот самый ка-

мень, — но в точности никто не знал. На самом деле история о баснословно большом изумруде начала распространяться с того времени, как появились на Архипелаге первые белые люди; и вера в него так упорна, что не дальше как сорок лет назад голландцы производили официальное расследование. Такая драгоценность, объяснил мне один старик, который сообщил детали удивительного мифа о Джиме, — он занимал должность писца при жалком маленьком радже, — такая драгоценность, сказал он, поднимая на меня свои подслеповатые глазки (из почтения ко мне он сидел на полу каюты), лучше всего сохраняется, если ее прячет на себе женщина. Но не всякая женщина для этого пригодна. Она должна быть молода, — тут он глубоко вздохнул, — и нечувствительна к соблазнам любви. Он скептически покачал головой. И, однако, такая женщина, кажется, и в самом деле существует. Ему говорили о рослой девушке, к которой белый человек относится с великим почтением и заботливостью и которая никогда не выходит одна из дома. Рассказывают, что белый человек проводит с ней почти целый день. Они открыто прогуливаются вместе, он просовывает ее руку под свою и прижимает к себе — вот так, — самым необычным образом. Он

допускал, что это враки, ибо действительно такое поведение очень странно; но, с другой стороны, нет никаких сомнений в том, что у нее на груди спрятан драгоценный камень белого человека.

29

Таково было объяснение вечерних супружеских прогулок Джима. Я часто принимал в них участие, всякий раз с неудовольствием вспоминая Корнелиуса, который считал себя оскорбленным в своем законном отцовстве и сновал поблизости, вечно кривя рот, словно готов был заскрежетать зубами. Но замечаете ли вы, как на расстоянии трехсот миль от телеграфных проводов и морских почтовых путей вянет и умирает грубая утилитарная ложь нашей цивилизации, сменяясь чистым проявлением фантазии, которая отличается бесполезностью, нередко очарованием, а иногда глубоко скрытой истиной произведений искусства? Романтика наметила Джима своей добычей — вот единственно правдивый штрих в этой истории, которая во всех остальных отношениях является выдумкой. Он не прятал своей драгоценности. В сущности он чрезвычайно гордился ею.

Теперь я понимаю, что, в общем, очень мало ее видел. Лучше всего помню я ровную оливковую бледность ее лица и иссиня-черный блеск

пышных волос, выбивавшихся из-под маленькой малиновой шапочки, которую она носила на затылке. Голова у нее была безукоризненной формы, движения свободны и уверенны; краснея, она заливалась густым румянцем. Когда Джим и я разговаривали, она приходила и уходила, бросая на нас быстрые взгляды, — грациозная, чарующая, явно настороженная. В ней любопытно сочетались робость и отвага. Прелестная улыбка быстро сменялась выражением молчаливого, сдержанного беспокойства, словно обращалась в бегство при воспоминании о какой-то постоянной опасности. Иногда она присаживалась к нам, подпирала маленькой рукой нежную щеку и слушала нашу беседу; ее большие светлые глаза впивались в наши губы, как будто каждое произнесенное слово было облечено в видимую форму. Мать научила ее читать и писать; у Джима она выучилась английскому языку и говорила очень забавно, переняв его мальчишеские интонации и проглатывая концы слов.

Ее нежность трепетала над ним, словно крылья птицы. Она всецело жила созерцанием Джима и внешне стала на него походить, чем-то напоминала его своими движениями, манерой протягивать руку, поворачивать голову, бросать

взгляды. Ее настороженная любовь была такой напряженной, что казалась почти осязаемой; словно, пребывая в окружающем пространстве, любовь эта окутывала его своеобразным ароматом, пронизывала солнечный свет трепетной, заглушенной и страстной мелодией.

Должно быть, вы думаете, что и я романтик, но это не верно. Я трезво передаю вам то впечатление, какое произвели на меня юность и странный, тревожный роман, который довелось мне увидеть на моем пути. Я с интересом следил за его… ну скажем — за его счастьем. Он был любим ревниво; но почему она ревновала и чем вызвана была эта ревность — я не могу сказать. Страна, народ, леса были ее сообщниками, сторожили его бдительно и согласно, и в этом была тайна и непобедимая сила. Не к кому было, так сказать, апеллировать; он сам своей властью держал себя в плену. А она хотя и готова была положить к его ногам свою голову, но неумолимо стерегла свое завоевание, словно его трудно было удержать.

Даже Тамб Итам, следовавший с откинутой назад головой по пятам за своим господином, свирепый и, словно янычар, вооруженный крисом, топором и копьем (не говоря уж о ружье

Джима), — даже Тамб Итам напускал на себя вид неумолимого стража, точно угрюмый преданный тюремщик, готовый отдать жизнь за своего пленника. Когда мы поздно засиживались по вечерам, его молчаливая неясная фигура, неслышно ступая, ходила под верандой, или, подняв голову, я неожиданно замечал его, неподвижно стоящего навытяжку, в тени. Как правило, он вскоре исчезал бесшумно, но, когда мы вставали, появлялся снова, как бы выскакивал из-под земли, готовый выслушать приказания, какие пожелает отдать Джим.

Девушка, кажется, тоже никогда не ложилась спать раньше, чем мы расходились на ночь. Не раз видел я из окна своей комнаты, как она и Джим тихонько выходили на веранду и стояли, облокотившись на грубую балюстраду, — две белые фигуры, стоявшие бок о бок; его рука обвивала ее талию, ее голова покоилась на его плече. Их легкий шепот доносился до меня, вкрадчивый, нежный, спокойно-грустный в тишине ночи, словно один человек беседовал сам с собой на два голоса.

Позже, ворочаясь на постели под сеткой от москитов, я слышал легкий скрип, тихое дыхание, кто-то осторожно откашливался, — и я догады-

вался, что Тамб Итам все еще бродит вокруг. Хотя он имел дом, «взял себе жену» и не так давно имел счастье стать отцом, но, кажется, каждую ночь он спал на веранде, — во всяком случае, пока я там гостил. Очень трудно было заставить этого верного и угрюмого слугу говорить. Даже Джим мог добиться от него лишь отрывистых, коротких фраз. Казалось, он давал вам понять, что разговор не его дело. Самую длинную фразу, какую он произнес добровольно, я услыхал от него однажды утром, когда, вытянув руку, он указал на Корнелиуса и сказал:

— Вот идет назарянин.[26]

Не думаю, чтобы он обращался ко мне, хотя я стоял подле него; казалось, его целью было привлечь негодующее внимание вселенной. За этим последовало упоминание о собаках, о запахе жареного, что я счел удивительно уместным.

Двор — большой четырехугольник — был раскален палящими лучами солнца, и, купаясь в необычайно ярком свете, Корнелиус пробирался через открытое пространство с таким видом, будто подкрадывался тайком. В нем было что-то омерзительное. Его медленная походка напоми-

[26] Примечания: 26

назарянами (назарейцами) магометане и иудеи называли христиан (Христос считается родом из Назарета)

нала движения отвратительного жука, у которого с мучительным трудом передвигаются одни ноги, а тело скользит, как бы застывшее. Полагаю, он направлялся прямо к тому месту, куда хотел попасть, но одно его плечо было выставлено вперед, и казалось, что он пробирается бочком. Я часто видел, как он медленно кружил у сараев, словно шел по чьему-то следу, или шмыгал перед верандой, украдкой поглядывая наверх, и не спеша скрывался за углом какой-нибудь хижины.

То, что он мог свободно здесь разгуливать, доказывало нелепую беспечность Джима или же бесконечное его презрение, ибо Корнелиус сыграл, выражаясь мягко, очень сомнительную роль в одном эпизоде, который мог окончиться для Джима фатально. В действительности же этот эпизод способствовал его славе. Но славе его способствовало все. В этом была ирония его судьбы: он, который однажды был слишком осторожен, теперь жил словно заколдованной жизнью.

Следует вам знать, что он очень скоро покинул резиденцию Дорамина — слишком рано, если принять во внимание грозившую ему опасность, и, конечно, задолго до войны. Его подстрекало чувство долга; он говорил, что должен блюсти интересы Штейна. Не так ли? С этой целью он

пренебрег всякой осторожностью, переправился через реку и поселился в доме Корнелиуса. Как этот последний ухитрился пережить смутное время, я не знаю. Должно быть, он как агент Штейна находился до известной степени под защитой Дорамина.

Так или иначе, но ему удалось выпутаться из всех опасных передряг, и я не сомневаюсь, что поведение его, какую бы линию он ни вынужден был избрать, было отмечено подлостью, словно наложившей печать на этого человека.

Вот его характерная черта: он был подл и в глубине души и внешне; ведь бывают же иные люди и внешне отмечены печатью великодушия, благородства или доброты. То была сущность его натуры, которая окрашивала все его поступки, страсти и эмоции; он бесновался подло, улыбался подло и подло грустил; и любезность его и негодование были подлы. Я уверен, что любовь его была самым подлым чувством, — но можно ли себе представить отвратительное насекомое влюбленным? И отвратительная внешность его была подлой, — безобразный человек по сравнению с ним показался бы благородным. Ему нет места ни на переднем, ни на заднем плане этой истории, — он просто шныряет на задворках

ее, загадочный и нечистый, отравляя аромат ее юности и наивности.

Его положение было, во всяком случае, жалкое, но весьма возможно, что он извлекал из него и выгоду. Джим рассказал мне, что сначала был им принят любезно и дружелюбно до приторности.

— Парень был как будто вне себя от радости, — с отвращением сказал Джим. — Каждое утро он прибегал ко мне, чтобы пожать мне обе руки, черт бы его подрал! Но я никогда не мог заранее сказать, получу ли завтрак. Если удавалось за два дня три раза поесть, я считал, что мне повезло, а он каждую неделю заставлял меня подписывать чек на десять долларов. По его словам, мистер Штейн не желал, чтобы он кормил меня даром. А он, можно сказать, почти не кормил меня. Приписывал это неурядицам в стране и делал вид, что рвет на себе волосы, по двадцать раз на день выпрашивая у меня прощение; наконец я взмолился и попросил его не беспокоиться. Тошно было смотреть на него. Половина крыши над его домом провалилась, грязь, отовсюду торчат клочья сухой травы, рваные циновки хлопают по стенам. Он изо всех сил пытался доказать, что мистер Штейн в долгу у него за последние три года, но все его книги были изорваны, а иные потеря-

лись. Он попробовал намекнуть, что это — вина его покойной жены. Каков негодяй! Наконец я ему запретил упоминать о покойной жене. Это доводило Джюэл до слез. Я не мог выяснить, куда девались все товары; на складе ничего не было, кроме крыс, а те веселились вовсю среди обрывков оберточной бумаги и старого холста. Меня все уверяли, что он зарыл где-то много денег, но от него я, конечно, ничего не мог добиться. Жалкое существование я влачил в этом проклятом доме. Я старался исполнить свой долг по отношению к Штейну, но мне приходилось думать и о других вещах. Когда я убежал к Дорамину, старый Тунку Алланг струсил и вернул все мои вещи. Это было сделано окольным путем и очень таинственно через одного китайца, который держит здесь лавочку; но как только я ушел от буги и поселился с Корнелиусом, все открыто заговорили о том, что раджа принял решение в скором времени меня убить. Приятно, не правда ли? А я не знал, что может ему помешать, если он действительно принял такое решение. Хуже всего было вот что: я невольно чувствовал, что никакой пользы Штейну не приношу, да и для себя толку не вижу. О, настроение было ужасное все эти шесть недель!

30

По его словам, он не знал, что помогло ему выдержать, — но, конечно мы можем догадываться. Он глубоко сочувствовал беззащитной девушке, находившейся во власти этого «низкого, трусливого негодяя». Видимо, Корнелиус обращался с ней ужасно, воздерживаясь только от побоев, — для этого, полагаю, ему не хватало храбрости. Он настаивал на том, чтобы она называла его отцом…

— И с уважением… с уважением… — визжал он, потрясая перед ее носом маленьким желтым кулачком. — Я человек, пользующийся уважением, а ты кто такая? Говори, кто ты такая? Думаешь, я собираюсь воспитывать чужого ребенка и не видеть к себе уважения? Должна радоваться, что я тебе позволяю называть меня отцом. Ну, говори: «Да, отец»… Не хочешь?.. Подожди же!..

Тут он начинал осыпать ругательствами покойницу, пока девушка не убегала, схватившись за голову. Он преследовал ее, бегая вокруг дома и между сараями, загонял ее в какой-нибудь угол, а она падала на колени, затыкая себе уши; тогда

он останавливался на некотором расстоянии и в течение получаса сквернословил.

— Твоя мать была чертовка, хитрая чертовка, — и ты тоже чертовка! — взвизгивал он наконец и, захватив пригоршню земли или грязи (грязи вокруг дома было в изобилии), швырял ей в голову.

Но иногда она, исполненная презрения, выдерживала до конца и стояла перед ним молча, с мрачным искаженным лицом, и лишь изредка произносила одно-два слова, от которых тот подпрыгивал и корчился, как ужаленный. Джим говорил мне, что эти сцены были ужасны. В самом деле, странная картина для лесной глуши. Если подумать, безвыходность этого тяжелого положения покажется устрашающей.

Почтенный Корнелиус (Инчи Нелиус, как называли его с многозначительной гримасой малайцы) был глубоко разочарованным человеком. Не знаю, каких выгод он ждал от своей женитьбы, но, видимо, свобода воровать, расточать и присваивать себе в течение многих лет и любым способом товары торговой фирмы Штейна (Штейн неутомимо пополнял склады, пока ему удавалось уговорить своих шкиперов доставлять туда запасы) казалась ему недостаточной наградой за то, что он пожертвовал своим честным

именем. Джим с величайшим удовольствием избил бы Корнелиуса до полусмерти; с другой стороны, эти сцены были столь тягостны и отвратительны, что ему хотелось уйти подальше, чтобы ничего не слышать и пощадить чувства девушки. Когда Корнелиус затихал, она, дрожащая, безмолвная, с окаменевшим скорбным лицом, прижимала руки к груди, а Джим подходил и с жалким видом бормотал:

— Ну, послушайте… право же… что толку… вы бы попытались немножко поесть…

Или проявлял свое сочувствие как-нибудь иначе. Корнелиус выползал из двери, шнырял по веранде, немой как рыба, украдкой бросая злобные, недоверчивые взгляды.

— Я могу положить этому конец, — сказал ей однажды Джим. — Скажите только слово.

А знаете, что она ему ответила? Она сказала, — Джим сообщил мне об этом очень внушительно, — что у нее хватило бы храбрости убить его собственноручно, не будь она уверена в том, что он сам глубоко несчастен.

— Подумайте только! Бедную девушку, почти ребенка, довели до того, что она говорит такие слова! — в ужасе воскликнул он.

Невозможным казалось спасти ее не только

от этого гнусного негодяя, но даже от нее самой. Не то чтобы он так сильно ее жалел, утверждал Джим; это было сильнее жалости, словно что-то грузом лежало на его совести, пока она вела такую жизнь. Покинуть дом казалось ему низким дезертирством. Он понял наконец, что ждать ему нечего — он не добьется ни счетов, ни денег, ни какой бы то ни было правды, — но продолжал жить в доме и довел Корнелиуса если не до безумия, то чуть ли не до вспышки храбрости.

Между тем он чувствовал, как со всех сторон надвигается на него неведомая опасность. Дорамин дважды посылал к нему верного слугу, серьезно предупреждая, что ничего не может для него сделать, если он не переправится снова через реку и не поселится, как раньше, среди буги. Стали приходить люди, люди самые разнообразные, — часто во мраке ночи, — чтобы открыть ему заговоры на его жизнь. Решено его отравить. Он будет заколот в бане. Сделаны приготовления к тому, чтобы пристрелить его с лодки на реке. Каждый из этих доносчиков называл себя верным его другом. Этого было достаточно, — говорил мне Джим, — чтобы навеки лишить человека покоя. Кое-что было не только возможно, но и весьма вероятно, однако лживые предостереже-

ния пробудили в нем только такое чувство, будто все окружающие со всех сторон строят во мраке козни. Ничто не могло воздействовать сильнее на самую здоровую нервную систему.

Наконец как-то ночью сам Корнелиус, с видом встревоженным и таинственным, развернул торжественным, заискивающим тоном маленький план: за сто долларов или даже за восемьдесят, — скажем, за восемьдесят, — он, Корнелиус, раздобудет надежного человека, который доставит Джима в целости и сохранности к устью реки. Ничего больше не остается делать — если Джим хоть сколько-нибудь ценит свою жизнь. Что такое восемьдесят долларов? Пустяк! Ничтожная сумма! Тогда как он, Корнелиус, вынужденный остаться, несомненно рискует жизнью, чтобы доказать свою преданность молодому другу мистера Штейна. Трудно было вынести, сказал мне Джим, его отвратительное кривлянье: он рвал на себе волосы, бил себя в грудь, раскачивался из стороны в сторону, прижимая руки к животу и делая вид, будто плачет.

— Да падет ваша кровь на вашу голову, — взвизгнул он наконец и выбежал из комнаты.

Любопытно знать, до какой степени Корнелиус был искренен. Джим признался мне, что ни на

секунду не мог заснуть после того, как ушел этот парень. Он лежал на тонкой циновке, покрывавшей бамбуковый пол, пытаясь разглядеть стропила и лениво прислушиваясь к шорохам в дырявой тростниковой крыше. Звезда мигнула сквозь дыру. В его мозгу был какой-то вихрь — одна мысль сменяла другую; и тем не менее в ту самую ночь созрел его план, как одержать верх над шерифом Али. Мысль об этом не оставляла его в те свободные минуты, какие он мог урвать, будучи занят безнадежным расследованием дел Штейна, но в ту ночь он вдруг ясно представил себе все. Он видел даже пушки, поднятые на вершину холма. Он лежал, разгоряченный и взволнованный; о сне нечего было и думать. Вскочив, он босиком вышел на веранду. И там, бесшумно шагая, наткнулся на девушку, неподвижно стоявшую у стены, словно на страже. В том состоянии, в каком он тогда находился, его нисколько не удивило, что она бодрствует; не удивил и вопрос, заданный тревожным шепотом, — где мог быть Корнелиус?

Он ответил просто, что не знает. Она тихонько простонала и заглянула в кампонг. Все было тихо. Он был до такой степени поглощен своим новым замыслом, что не мог удержаться и тут же

рассказал ей обо всем. Она выслушала, тихонько захлопала в ладоши и шепотом выразила свое восхищение, но, видимо, все время была настороже. Кажется, он привык обращаться к ней, как к своей поверенной, а она, со своей стороны, несомненно давала ему полезные указания относительно положения дел в Патюзане. Он не раз уверял меня, что ее советы всегда ему помогали. Как бы то ни было, но он приступил к детальному разъяснению своего плана, как вдруг она стиснула ему руку и скрылась. Откуда-то появился Корнелиус и, заметив Джима, пошатнулся, словно в него выстрелили, а потом неподвижно застыл в полумраке. Наконец он осторожно шагнул вперед, как недоверчивый кот.

— Тут проходили рыбаки с рыбой, — сказал он дрожащим голосом. — Продавали, знаете ли, рыбу…

Было, должно быть, два часа ночи — самое подходящее время, чтобы торговать рыбой!

Джим, однако, пропустил это замечание мимо ушей и ни на секунду не задумался. Другие мысли его занимали, а кроме того, он ничего не видел и не слышал. Он удовольствовался тем, что рассеянно сказал: «О!» — выпил воды из стоявшего там кувшина и покинул Корнелиуса, который

был охвачен необъяснимым волнением: парень обеими руками обхватил подточенные червями перила веранды, словно ноги у него подкашивались. Джим снова вошел в дом, лег на свою циновку и стал думать. Вскоре он услышал крадущиеся шаги. Потом все стихло. Чей-то дрожащий голос шепотом спросил через стену.

— Вы спите?

— Нет! Что такое? — бодро отозвался он; слышно было, как кто-то отскочил, словно в испуге, и снова стало тихо. Джим, очень раздраженный, стремительно выскочил из комнаты, а Корнелиус, слабо взвизгнув, побежал вдоль веранды и у ступеней уцепился за сломанные перила. Сбитый с толку Джим издали его окликнул, чтобы узнать, что ему, черт подери, нужно.

— Вы поразмыслили о том, что я вам говорил? — спросил Корнелиус, с трудом выговаривая слова, как человек, охваченный лихорадочным ознобом.

— Нет! — гневно крикнул Джим. — Я об этом не думал и думать не собираюсь. Я буду жить здесь, в Патюзане.

— В-вы з-з-здесь у-м-м-м-рете, — ответил Корнелиус, все еще дрожа и каким-то угасающим голосом.

Вся эта сцена была до того нелепа и возмутительна, что Джим не знал — смеяться ему или злиться.

— Не раньше, чем вас похоронят, можете быть уверены! — крикнул он раздраженно, но готовый вот-вот расхохотаться. Возбужденный своими мыслями, он продолжал кричать: — Ничто не может меня коснуться. Делайте, что хотите.

Почему-то темная фигура Корнелиуса там, вдали, показалась ему ненавистным воплощением всех затруднений и неприятностей, встретившихся на его пути. Он перестал сдерживаться — нервы его уже много дней были натянуты — и осыпал Корнелиуса ласкательными именами: негодяй, лжец, жалкий мошенник, — словом, держал себя необычно. Джим признает, что преступил все границы, был вне себя, бросал вызов всему Патюзану — пусть попробуют его запугать. Он заявил, что все они еще попляшут под его дудку, и продолжал в таком же тоне, с угрозами и похвальбой. В высшей степени напыщенно и смешно, сказал он. Уши его покраснели при одном воспоминании. Он словно с цепи сорвался… Девушка, сидевшая с нами, быстро кивнула мне головой, чуточку нахмурилась и с детской серьезностью сказала:

— Я его слышала.

Он засмеялся и покраснел. Остановило его, наконец, молчание, глубокое страшное молчание неясной фигуры там, вдали, которая скорчившись повисла на перилах и застыла в жуткой неподвижности. Джим опомнился и вдруг замолчал, дивясь самому себе. С минуту он прислушивался. Ни шороха, ни звука.

— Словно парень умер, пока я так орал, — сказал он.

Сильно пристыженный, он, не говоря ни слова, поспешил войти в дом и снова бросился на циновку. Эта вспышка, кажется, пошла ему на пользу: остаток ночи он спал, как младенец. Много недель он так крепко не спал.

— Но я не спала, — вставила девушка, подперев рукой щеку. — Я сторожила.

Ее большие глаза вспыхнули, потом она впилась в мое лицо.

31

Можете себе представить, с каким интересом я слушал. Все эти детали имели отношение к тому, что произошло через двадцать четыре часа. Утром Корнелиус не заикался о событиях прошедшей ночи.

— Вероятно, вы вернетесь в мое убогое жилище, — угрюмо пробормотал он, появляясь в тот самый момент, когда Джим садился в каноэ, чтобы ехать в кампонг Дорамина.

Не глядя на него, Джим кивнул головой.

— Вас это, несомненно, забавляет, — кислым тоном проворчал тот.

Джим провел день у старого накходы, проповедуя о необходимости перейти к действию старшинам общины буги, которых призвали на совещание. Он с удовольствием вспоминал, как красноречиво и убедительно говорил.

— В тот же день мне, конечно, удалось вдохнуть в них мужество, — сказал он.

Во время последнего своего набега шериф Али опустошил предместья поселка, и несколько женщин, живших в самом поселке, были уве-

дены в крепость. Накануне видели на базарной площади разведчиков шерифа Али; они высокомерно разгуливали в своих белых плащах и похвалялись дружеским расположением раджи к их господину. Один из них стоял в тени дерева и, опираясь на длинный ствол ружья, призывал народ к молитве и покаянию, советуя убить всех чужеземцев, из которых одни, по его словам, были неверные, а другие еще того хуже — дети сатаны во облике мусульман. Было получено донесение, что кое-кто из приверженцев раджи, находившихся среди слушателей, громко выражал свое одобрение. Простой народ был охвачен ужасом. Джим, чрезвычайно довольный успехом этого дня, снова переправился через реку перед заходом солнца.

Ему удалось убедить буги перейти к наступлению, и он отвечал головой за успех, а потому находился в приподнятом настроении и попытался даже быть вежливым с Корнелиусом. Но Корнелиус в ответ на такую любезность стал необузданно весел, и Джим, по его словам, едва мог вынести этот пискливый фальшивый смех, гримасы и подмигивание; время от времени Корнелиус хватался за подбородок и низко пригибался к столу, глядя безумными глазами. Девушка

не появлялась, и Джим рано ушел спать. Когда он поднялся, чтобы пожелать спокойной ночи, Корнелиус вскочил, опрокинул стул и присел на пол, — словно хотел что-то поднять. Его «спокойной ночи» хрипло донеслось из-под стола. Джим с изумлением смотрел на него, когда он поднялся с отвисшей челюстью и глупо вытаращенными, испуганными глазами. Он цеплялся за край стола.

— Что с вами такое? Вы нездоровы? — спросил Джим.

— Да, да, да! Страшные колики в животе, — отозвался тот, и, по мнению Джима, это была сущая правда. Если так, то, принимая во внимание задуманный им план, нужно отдать должное Корнелиусу — совесть его еще не окончательно притупилась и давала о себе знать столь омерзительно.

Как бы то ни было, но дремота Джима была нарушена сновидением: словно трубный глас с неба взывал к нему: «Проснись! Проснись!» — так громко, что, несмотря на отчаянное его сопротивление, он и в самом деле проснулся. Его ослепил блеск красного потрескивающего пламени, взвившегося в воздух. Завитки густого черного дыма вились вокруг головы какого-то

призрака, какого-то неземного существа в белом одеянии, с суровым, напряженным, взволнованным лицом. Через секунду он узнал девушку. В поднятой руке она держала смоляной факел и настойчиво, монотонно повторяла:

— Вставай! Вставай! Вставай!

Он вскочил на ноги, и она тотчас же сунула ему в руку револьвер — его собственный револьвер, на этот раз заряженный, который все время висел на гвозде. Моргая от света, он схватил его молча, ничего не соображая. Он не понимал, что должен он для нее сделать.

Она спросила быстро и очень тихо:

— Можешь ты с этим револьвером справиться с четверыми?

Он со смехом рассказывал этот эпизод, вспоминая свою учтивую готовность. Кажется, он говорил очень красноречиво.

— Конечно… разумеется… конечно… к вашим услугам.

Он еще не совсем проснулся и, очутившись в таком необычайном положении, был очень предупредителен и проявил преданную готовность ей служить. Она вышла из комнаты, а он последовал за ней. В коридоре они потревожили старую каргу, которая исполняла в доме обязан-

ности стряпухи, хотя, по дряхлости своей, едва понимала человеческую речь.

Она поднялась и потащилась за ними, бормоча что-то беззубым ртом. На веранде Джим задел локтем гамак из парусины, принадлежащий Корнелиусу. Гамак был пуст.

Станция в Патюзане, как и все станции торговой фирмы Штейна, первоначально состояла из четырех строений. Два из них представляли собой две кучи палок, сломанного бамбука, гнилого тростника, над которыми печально склонились четыре угловых деревянных столба; но главный склад, находившийся против дома агента, был еще цел. То была длинная хижина, сложенная из грязи и глины; в одном конце — широкая дверь из крепких досок, еще не сорванная с петель, а в одной из боковых стен — четырехугольное отверстие, нечто вроде окна, с тремя деревянными брусьями. Перед тем как спуститься с веранды, девушка оглянулась через плечо и быстро сказала:

— На тебя хотели напасть, когда ты спал.

Джим говорит, что был разочарован. Старая история! Ему надоели эти покушения на его жизнь. Хватит с него тревог. Он сыт по горло. По его словам, он рассердился на девушку за то, что она его обманула. Он последовал за ней уверенный,

что это она нуждается в его помощи, и теперь, раздосадованный, готов был повернуть назад.

— Знаете ли, — глубокомысленно заметил он, — я, кажется, был немножко не в себе все эти последние недели.

— О нет, ошибаетесь, — не мог не возразить я.

Но она быстро пошла вперед, и он спустился за ней во двор. Забор давным-давно развалился; по утрам соседские буйволы, громко фыркая, спокойно здесь прогуливались; джунгли уже подступали к дому. Джим и девушка остановились в буйно разросшейся траве. За светлым кругом, в котором они стояли, тьма казалась сгущенно-черной, и только над их головами ярко сверкали звезды. Джим говорил мне, что ночь была чудная, прохладная, и легкий ветерок дул с реки. Видимо, он обратил внимание на ласковую красоту ночи. Не забудьте, что сейчас я вам рассказываю любовную историю. Ночь любви, казалось, окутывала их тихой лаской. Пламя факела развевалось, как флаг, и сначала ничего не было слышно, кроме тихого потрескивания.

— Они ждут в сарае, — прошептала девушка, — ждут сигнала.

— Кто должен дать сигнал? — спросил он.

Она встряхнула факел, который разгорелся

ярче, выбросив фонтан искр.

— Но ты спал так тревожно, — продолжала она шепотом. — А я оберегала твой сон.

— Ты! — воскликнул он, вытягивая шею и всматриваясь в темноту.

— Ты думаешь, я сторожила только эту одну ночь! — сказала она с каким-то грустным негодованием.

Он говорит, что этими словами она словно нанесла ему удар. Он глубоко вздохнул. Почему-то назвал себя мысленно ужасной скотиной и почувствовал раскаяние; он был растроган, счастлив, горд. Разрешите еще раз вам напомнить: это любовная история; об этом вы можете судить по нелепости — не отталкивающей, но экзальтированной нелепости всего происходящего и этого разговора при свете факела, словно они пришли сюда специально для того, чтобы объясниться в присутствии притаившихся убийц. Если бы, как заметил Джим, у лазутчиков шерифа Али была хоть капля мужества, они использовали бы этот момент для нападения. Сердце у него колотилось не от страха, — но вдруг ему послышался шорох в траве, и он быстро вышел из круга света. Что-то темное, неясное скользнуло в сторону. Он громко крикнул:

— Корнелиус! Корнелиус!

Последовало глубокое молчание: казалось, в двадцати футах уже не слышно было его голоса. Снова девушка подошла к нему.

— Беги! — сказала она.

Старуха приблизилась к ним; ее сгорбленная фигура, подпрыгивая, ковыляла у края светлого круга; они услышали ее бормотанье и тихий протяжный вздох.

— Беги! — взволнованно повторила девушка. — Они испугались… этот свет… голоса… Теперь они знают, что ты бодрствуешь… что ты большой, сильный, бесстрашный…

— Если это так… — начал он, но она его перебила:

— Да, в эту ночь! Но что будет завтра ночью? И послезавтра? И в долгие-долгие будущие ночи? Смогу ли я всегда сторожить?

Голос ее оборвался, и это подействовало на него так, что он лишился дара речи.

Он говорил мне, что никогда не чувствовал себя таким маленьким, таким бессильным; а храбрость… что толку в ней? — подумал он. Он был так беспомощен, что даже бегство казалось бесцельным, и, хотя она с лихорадочной настойчивостью шептала: «Беги к Дорамину! Беги к

Дорамину!» — он понял, что спасение от этого одиночества, удесятерявшего все опасности, он может найти только у нее.

— Я думал, — сказал он мне, — что уйди я от нее — и всему настанет конец.

Но так как они не могли вечно стоять посреди двора, он решил пойти и заглянуть в сарай. Он не подумал протестовать, когда она пошла за ним, словно они были неразрывно связаны.

— Я бесстрашный, да? — бормотал он сквозь зубы. Она удержала его за руку.

— Подожди, пока не услышишь моего голоса, — сказала она и, с факелом в руке, легко забежала за угол. Он остался один во мраке, повернувшись лицом к двери: ни шороха, ни дыхания не доносилось оттуда. Старая карга застонала где-то за его спиной. Он услышал пронзительный, почти визгливый крик девушки:

— Теперь толкай дверь!

Он с силой толкнул, и дверь с треском распахнулась; к величайшему своему изумлению, он увидел, что низкий, похожий на подземную темницу сарай освещен мертвенным колеблющимся светом. Клубы дыма опускались на пустой деревянный ящик, стоявший посреди сарая; какие-то тряпки и солома словно пытались взлететь, но

только слабо шелестели на сквозняке. Она просунула факел между брусьями окна. Он увидел ее обнаженную округлую руку, вытянутую и неподвижную, державшую факел крепко, как в кронштейне. В дальнем углу громоздилась почти до потолка куча старых циновок, больше ничего не было.

Джим объяснил мне, что был горько разочарован. Его стойкость столько раз подвергалась ненужным испытаниям; в течение нескольких недель ему так часто намекали на близкую опасность, что теперь он ждал облегчения от встречи с чем-то реальным, осязаемым.

— Видите ли, это разрядило бы атмосферу хоть на два часа, — сказал он мне. — Много дней я жил с камнем на сердце.

Теперь он думал, что наконец увидит что-то реальное, и — ничего! Никаких признаков присутствия человека. Он поднял револьвер, когда дверь распахнулась, но теперь рука его опустилась.

— Стреляй! Защищайся! — крикнула снаружи девушка надорванным голосом. Она, стоя в темноте и просунув руку до самого плеча в маленькое отверстие, не видела, что делается в сарае, и теперь не смела вытащить факел и

обежать кругом.

— Здесь нет никого! — презрительно заорал Джим и хотел злобно захохотать, но не успел; в тот самый момент, когда он собрался уйти, он поймал на себе взгляд чьих-то глаз в куче циновок. Он увидел, как сверкнули белки.

— Выходи! — крикнул он с бешенством, все еще неуверенный, и темная голова — голова без туловища — высунулась из кучи — странная голова, смотревшая на него пристальным, грозным взглядом. Через секунду гора циновок зашевелилась, и оттуда с тихим ворчанием выскочил человек и бросился на Джима. За его спиной как будто подпрыгнули, разлетелись циновки: правая рука его, согнутая в локте, была поднята, и над головой виднелся тусклый клинок криса, зажатого в кулаке. Повязка, туго стягивавшая бедра, казалась ослепительно белой на фоне бронзовой кожи: обнаженное тело блестело, словно было влажным.

Джим все это заметил. Он говорил мне, что испытывал чувство невыразимого облегчения, мстительного восторга. Он умышленно медлил стрелять. Медлил одну десятую долю секунды, — пока тот успел сделать три шага, — бесконечно долго. Он медлил, чтобы иметь удовольствие

сказать себе: «Вот мертвый человек!» Он был абсолютно уверен в себе. Он дал ему подойти, ибо это не имело значения. Мертвый человек! Он увидел раздувшиеся ноздри, широко раскрытые глаза, напряженно страстное, неподвижное лицо — и выстрелил.

Выстрел в этом закрытом помещении был оглушительный. Он отступил на шаг. Видел, как человек вскинул голову, вытянул руки и уронил крис. Позднее он убедился в том, что выстрелил ему в рот, и пуля вышла, пробив затылочную кость. Человек, стремительно бежавший, продолжал двигаться вперед; лицо его внезапно исказилось; как слепой, он что-то нащупывал руками и вдруг тяжело рухнул, ударившись лбом как раз у босых ног Джима. Джим говорит, что заметил мельчайшие детали. Он почувствовал успокоение; не было ни злобы, ни недовольства, словно смерть этого человека искупила все. Сарай наполнился черным дымом факела, горевшего кроваво-красным, немигающим пламенем. Джим решительно вошел, перешагнув через труп, и направил револьвер на другую обнаженную фигуру, смутно вырисовывавшуюся в дальнем углу. Когда он приготовился нажать спуск, человек с силой отшвырнул короткое, тяжелое копье и

покорно присел на корточки, прислонившись спиной к стене, сжав руки между колен.

— Хочешь жить? — сказал Джим.

Тот не отвечал.

— Сколько вас тут? — снова спросил Джим.

— Еще двое, Тюан, — очень тихо сказал человек, глядя большими зачарованными глазами в дуло револьвера.

И действительно, еще двое выползли из-под циновок и показали свои руки в знак того, что были не вооружены.

32

Джим занял выгодную позицию и заставил всех троих сразу выйти из сарая; все это время маленькая рука, ни разу не дрогнув, держала факел вертикально. Трое повиновались, безмолвно, двигаясь как автоматы. Он выстроил их в ряд и скомандовал:

— Возьмитесь за руки!

Они исполнили приказание.

— Тот, кто выдернет свою руку или повернет голову, умрет на месте, — сказал он. — Марш!

Напряженные, они дружно шагнули вперед; он следовал за ними, а подле него шла девушка в длинном белом одеянии и несла факел; ее черные волосы спускались до пояса. Прямая и гибкая, она словно скользила, не касаясь земли; слышался лишь шелковистый шорох и шелест высокой травы.

— Стой! — крикнул Джим.

Берег реки был крутой, снизу понесло холодком; свет падал на темную воду у берега, пенившуюся, но не тронутую рябью. Направо и налево тянулись ряды домов под резко очерченными

крышами.

— Передайте мой привет шерифу Али, пока я сам не пришел к нему, — сказал Джим.

Ни одна из голов не шевельнулась.

— Прыгай! — загремел он.

Три всплеска слились в один, взлетел сноп брызг, черные головы закачались на поверхности воды и исчезли; слышался громкий плеск и фырканье, постепенно замиравшие; люди усердно ныряли, страшась прощального выстрела. Джим повернулся к девушке — безмолвному и внимательному свидетелю. Сердце его вдруг словно расширилось в груди, и что-то сдавило ему горло. Вот почему он, должно быть, молчал так долго, а она, ответив на его взгляд, взмахнула рукой и бросила в реку горящий факел. Резкая огненная полоса, прорезав ночь, угасла с сердитым шипением, и тихий, нежный звездный свет мирно спустился на них.

Он не поведал мне, что он сказал, когда наконец вернулся к нему голос. Вряд ли он был очень красноречив. Все замерло, ночь окутала их своим дыханием, — одна из тех ночей, какие словно созданы для того, чтобы служить приютом нежности; бывают моменты, когда душа как будто освобождается от темной своей оболоч-

ки, делается восхитительно чуткой и молчание становится красноречивее слов. Про девушку он рассказал мне:

— Она разнервничалась немножко. Возбуждение, знаете ли… реакция. Должно быть, она страшно устала… и все такое. И… и… черт возьми… понимаете ли, она ко мне привязалась… Я тоже… не знал, конечно… мне и в голову не приходило.

Тут он вскочил и стал взволнованно шагать взад и вперед.

— Я… я горячо люблю ее. Сильнее, чем могу выразить словами. Конечно, этого не расскажешь. Вы по иному относитесь к своим поступкам, когда начинаете понимать, когда каждый день вам дают понять, что ваша жизнь нужна — абсолютно необходима — другому человеку. Мне это дано почувствовать. Удивительно! Но подумайте только, какова была ее жизнь! Ужасно, не правда ли? И я нашел ее здесь — словно вышел на прогулку и неожиданно наткнулся на человека, который тонет в темном, глухом месте. О боже! Мешкать было нельзя. Она доверила себя мне… Я думаю, что могу не обмануть доверия.

Должен сказать, что девушка незадолго до этого оставила нас вдвоем. Он ударил себя в грудь.

— Да! Я это чувствую, но я верю, что достоин принять свое счастье.

У него был дар находить особый смысл во всем, что с ним случалось. Так смотрел он на свою любовь; она была идиллична, немного торжественна, а также правдива, ибо он верил с непоколебимой серьезностью юноши. В другой раз он сказал мне:

— Я живу здесь всего два года, и теперь, честное слово, я не представляю себе, как бы я мог жить в другом месте. Одна мысль о внешнем мире пугает меня, потому что, видите ли, — продолжал он, опустив глаза и кончиком ботинка разбивая кусок засохшей грязи (мы прогуливались по берегу реки), — я не забыл, почему я сюда пришел. Еще не забыл!

Я старался на него не смотреть, но мне послышался короткий вздох; некоторое время мы шли молча.

— По совести сказать, — заговорил он снова, — если только можно забыть такое… то я думаю, что имею право выбросить это из головы. Спросите любого человека здесь… — голос его изменился. — Не странно ли, — продолжал он мягким, почти умоляющим тоном, — не странно ли, что все эти люди, которые готовы для меня на все,

никогда не смогут понять? Никогда! Если вы мне не верите, я не могу их вызвать свидетелями. Почему-то тяжело об этом думать. Я глуп, не правда ли? Чего мне еще желать? Если вы их спросите, кто храбр, честен, справедлив, кому готовы они доверить свою жизнь, — они назовут Тюана Джима. И, однако, они никогда не смогут узнать истинную правду…

Вот что он мне сказал в тот последний день, какой я с ним провел. Я не пропустил ни одного его слова; я чувствовал, что, хотя он и хочет еще что-то сказать, все-таки не удастся ему осветить сущность дела. Солнце, своим сгущенным сиянием умалявшее землю, превращая ее в беспокойный комок пыли, опустилось за лесом, и рассеянный свет опалового неба, казалось, окутывал мир, лишенный теней и блеска, иллюзией спокойного и задумчивого величия. Слушая его, я — не знаю, почему — отчетливо замечал, как постепенно темнеет река, воздух, неумолимо надвигается ночь, безмолвно опускаясь на все видимые предметы, стирая очертания, все глубже погребая мир, словно засыпая его неосязаемой черной пылью.

— Боже! — неожиданно воскликнул он. — В иные дни человек бывает слишком нелепым; но

я знаю, что могу сказать вам все. Я говорил о том, что покончил с этим… с этим проклятым делом, оставшимся позади… Стал забывать… Честное слово, я не знаю! Я могу говорить об этом спокойно. В конце концов что оно доказало? Ничего. Вероятно, вы думаете иначе.

Я шепотом запротестовал.

— Неважно! — сказал он. — Я удовлетворен… почти. Мне нужно только заглянуть в лицо первого встречного, чтобы вернуть себе уверенность. Нельзя заставить их понять, что во мне происходит. Ну так что ж! Послушайте! То, что я совершил, — не так уже дурно.

— Не так дурно, — повторил я.

— И все-таки вы бы не хотели видеть меня на борту своего собственного судна, а?

— Черт бы вас побрал! — крикнул я. — Перестаньте!

— Ага! Видите! — воскликнул он с добродушно торжествующим видом. — А попробуйте-ка сказать об этом кому-нибудь из здешних! Они сочтут вас дураком, лжецом или еще того хуже. Вот почему я могу это выносить. Кое-что я для них сделал, но вот что сделали для меня они!

— Дорогой мой, для них вы навсегда останетесь неразгаданной тайной, — сказал я.

Последовало молчание.

— Тайна! — повторил он, не поднимая глаз. — Ну что ж, я должен остаться здесь навсегда.

После захода солнца тьма как будто налетала на нас с каждым дуновением ветерка. Посреди обнесенной изгородью тропы я увидел неподвижный, тощий, настороженный и словно одноногий силуэт Тамб Итама, а по другую сторону окутанной сумерками площадки что-то белое двигалось за столбами, поддерживающими крышу. Когда Джим в сопровождении Тамб Итама отправился на вечерний обход, я один пошел к дому, но внезапно дорогу мне преградила девушка, которая, несомненно, ждала этого случая.

Трудно объяснить вам, что именно хотела она у меня выпытать. Видимо, это было что-то простое — чрезвычайно простое и невыполнимое, — как, например, точное описание формы облака. Она хотела получить от меня уверение, подтверждение, обещание, объяснение, не знаю, как назвать, — нет для этого слов.

Под выступом крыши было темно, и я видел только расплывчатые линии ее платья, бледный овал маленького лица, белые блестящие зубы, а когда она ко мне повернулась, я видел большие темные орбиты глаз, где, казалось, что-то дви-

галось — такое движение чудится вам, когда вы смотрите в бесконечно глубокий колодец. Что такое там движется? — спрашиваете вы себя. Слепое ли чудовище, или только затерянные отблески вселенной?

Мне пришло в голову, — не смейтесь, — что, отнюдь не походя на сфинкса, она в своем детском неведении была более таинственна, чем сфинкс, предлагающий путникам ребяческие загадки. Ее увезли в Патюзан раньше, чем она прозрела. Здесь она выросла; она ничего не видела; она ничего не знала; она не имела понятия ни о чем. Я задаю себе вопрос, была ли она уверена в том, что где-то еще что-нибудь существует. Какое могла она составить представление о внешнем мире — для меня непостижимо: из обитателей его она знала только женщину, которую предали, и зловещего паяца. И оттуда к ней пришел ее возлюбленный, наделенный неотразимыми чарами… Но что сталось бы с ней, если бы он вернулся в те непостижимые края, которые как будто всегда призывают обратно тех, кто им принадлежит? Об этом мать со слезами предупреждала ее, умирая…

Она крепко схватила меня за руку, а как только я остановился, быстро отдернула руку. Она была

смелой и застенчивой, Она ничего не боялась, но ее удерживала глубокая неуверенность и отчужденность — отважный человек, ощупью пробирающийся во мраке. Я принадлежал к тому Неведомому, которое в любой момент могло призвать Джима, как свою собственность. Я был посвящен, так сказать, в тайную природу этого Неведомого и в его намерения, был поверенным грозной тайны, был облечен, может быть, властью! Кажется, она предполагала, что я одним словом могу вырвать Джима из ее объятий; я глубоко убежден, что она томилась предчувствиями во время моих долгих бесед с Джимом; она пережила подлинную и невыносимую пытку, которая привела бы ее к замыслу убить меня, если бы ее неистовая душа могла овладеть страшной ситуацией, ею же созданной. Таково мое впечатление, и больше мне нечего вам сказать: положение постепенно для меня выяснилось, и я был ошеломлен и удивлен. Она заставила меня ей верить, но нет у меня слов, чтобы передать впечатление, какое произвел на меня этот быстрый отчаянный шепот, мягкие страстные интонации, неожиданная пауза и умоляющий жест простертых вперед белых рук. Руки упали; призрачная фигура покачнулась, как стройное деревцо на ветру; бледный

овал лица поник. Невозможно было разглядеть ее черты, бездонны были мрачные глаза. Два широких рукава поднялись в темноте словно раскрывающиеся крылья; она стояла молча, сжав голову руками.

33

Я был глубоко растроган: ее молодость, неведение, ее красота, напоминающая скромное очарование и нежную силу полевого цветка, ее трогательные мольбы, ее беспомощность подействовали на меня почти так же сильно, как действовал на нее этот безрассудный и вполне естественный страх. Она боялась неизвестного, как боимся его мы все, а ее неведение еще раздвигало его границы. Я являлся представителем неведомого — этим неведомым был я сам, вы, весь мир, который не заботился о Джиме и нимало в нем не нуждался. Я готов был поручиться за равнодушие этой плодоносной земли, если бы не вспомнил о том, что Джим тоже принадлежит к этому таинственному неведомому, породившему ее страхи, а представителем Джима я, во всяком случае, не был. Это заставило меня поколебаться. Безнадежно грустный шепот сорвал печать с моих уст. Я начал протестовать и заявил, что приехал сюда, отнюдь не намереваясь увезти Джима.

Зачем же я тогда приехал? Она слегка поше-

вельнулась и снова застыла неподвижно, словно мраморная статуя в ночи. Я постарался коротко объяснить: дружба, дела; если и есть у меня какое-нибудь желание, то, пожалуй, я хочу, чтобы он остался…

— Они всегда покидают нас, — прошептала она. Скорбная мудрость из могилы, которую она благоговейно украшала цветами, казалось, повеяла на нас в слабом вздохе… Ничто, сказал я, не может оторвать от нее Джима.

Таково теперь мое глубокое убеждение; в этом я был убежден тогда; это был единственно возможный вывод из фактов. И убеждение мое не могло стать крепче, когда она прошептала, словно думая вслух:

— Он мне поклялся в этом.

— Вы его просили? — осведомился я.

Она подошла ближе.

— Нет, никогда!

Она только просила его уйти. Это было в ту ночь на берегу реки, после того как он убил человека, — она бросила факел в воду, потому что он так смотрел на нее. Слишком много было света, а опасность тогда миновала… на время… ненадолго. Он сказал, что не покинет ее у Корнелиуса. Она настаивала. Она хотела, чтобы он ее оставил. Он

ответил, что не может — не в силах этого сделать. Он дрожал, когда это говорил. Она чувствовала, как он дрожит…

Не требуется воображения, чтобы увидеть эту сцену — чуть ли не услышать их шепот. Она боялась и за него. Думаю, тогда она видела в нем лишь жертву, обреченную опасностям, в которых она разбиралась лучше, чем он. Хотя он завоевал ее сердце и мысли и завладел ее привязанностью одним своим присутствием, но она недооценивала его шансов на успех. Ясно, что в то время всякий склонен был недооценивать его шансы. Точнее: у него как будто никаких шансов не было. Я знаю, что такова была точка зрения Корнелиуса. В этом он мне признался, пытаясь затушевать мрачную роль, какую играл в заговоре шерифа Али, задумавшего покончить с неверным. Ясно теперь, что даже сам шериф Али питал лишь презрение к белому человеку. Кажется, Джима хотели убить главным образом из религиозных соображений: простой акт благочестия (и с этой точки зрения достойный всяческого уважения); другой цели у них не было. Такое мнение разделял и Корнелиус.

— Уважаемый сэр, — униженно говорил он мне в тот единственный раз, когда ему удалось

завязать со мной разговор. — Уважаемый сэр, как я мог знать? Кто он был такой? Как он мог добиться, чтобы народ поверил ему? О чем думал мистер Штейн, когда посылал такого мальчишку похваляться к своему старому слуге? Я готов был спасти его за восемьдесят долларов. Всего лишь восемьдесят долларов! Почему этот дурак не уехал? Разве я должен был лезть на нож ради чужого человека?

Он пресмыкался передо мной, униженно наклоняясь и простирая руки к моим коленям, словно хотел обнять мои ноги.

Что такое восемьдесят долларов? Ничтожная сумма. И эти деньги просил у него беззащитный старик, которому исковеркала жизнь покойная чертовка.

Тут он заплакал. Но я забегаю вперед. В тот вечер я встретился с Корнелиусом лишь после того, как закончилась моя беседа с девушкой.

Она не думала о себе, когда умоляла Джима оставить ее и даже покинуть страну. Мысли ее были заняты грозившей ему опасностью, даже если она и хотела спасти себя — бессознательно, быть может; но не забудьте полученного ею предостережения, вспомните, что уроком ей могла служить каждая секунда недавно оборвав-

шейся жизни, на которой сосредоточены были все ее воспоминания. Она упала к его ногам, так она мне сказала, там, у реки, при мягком звездном свете, чуть освещавшем массы молчаливых теней, пустые пространства и слабо трепетавшем на глади реки, которая казалась широкой, как море. Он ее поднял. Он ее поднял, и она перестала бороться. Конечно, перестала. Сильные руки, нежный голос, надежное плечо, на которое она могла опустить свою бедную головку. Все это так нужно было измученному сердцу, смятенному уму — порыв юности, требование минуты. Что вы хотите! Всякому это понятно — всякому, кто хоть что-нибудь может понять. Итак, она была довольна, что ее подняли и удержали.

— Вы знаете… это очень серьезно… совсем не забава… — как торопливо шепнул Джим с озабоченным видом на пороге своего дома.

Я не знаю, что сказать насчет забавы, но ничего легкомысленного в их романе не было; они сошлись под сенью катастрофы, как рыцарь и девушка, встретившиеся, чтобы обменяться обетами среди развалин, где бродят призраки… Звездный свет падал на них, свет такой слабый и далекий, что не мог претворить тени в образы и показать другой берег реки. В ту ночь я смотрел

на реку с того самого места; она струилась, немая и черная, как Стикс. На следующий день я уехал, но мне не забыть, от чего хотела она себя спасти, когда умоляла его оставить ее, пока не поздно. Она сама сказала мне об этом, спокойная, — она была слишком страстно захвачена, чтобы волноваться, — и голос ее звучал бесстрастно, и неподвижна была ее белая фигура во мраке. Она сказала мне:

— Я не хотела умереть в слезах.

Я подумал, что ослышался.

— Вы не хотели умереть в слезах? — повторил я вслед за ней.

— Как моя мать, — с готовностью пояснила она.

Очертания ее белой фигуры не шелохнулись.

— Моя мать горько плакала перед смертью, — добавила она.

Непостижимая тишина, казалось, поднялась незаметно над землей вокруг нас, словно разлив потока в ночи, стирая знакомые вехи эмоций. Как будто потеряв опору среди разлившихся вод, я внезапно почувствовал ужас, — ужас перед неведомой глубиной. Она стала объяснять: в последние минуты, когда она была одна с матерью, ей пришлось отойти от ложа и прислониться

спиной к двери, чтобы не вошел Корнелиус. Он хотел войти и обоими кулаками барабанил в дверь, изредка хрипло выкрикивая:

— Впусти меня! Впусти меня! Впусти меня!

В дальнем углу, на циновках, умирающая женщина уже не в силах была говорить и не в силах поднять руку; запрокинув голову, она слабо шевельнула пальцами, словно приказывая: «Нет! Нет!» — а послушная дочь, с силой налегая плечом на дверь, смотрела на нее.

— Слезы текли из ее глаз, а потом она умерла, — невозмутимо, монотонно закончила девушка, и этот голос сильнее всяких слов, сильнее, чем ее неподвижная белая фигура, потряс меня ужасом непоправимого бедствия. Она отняла у меня мою концепцию жизни, изгнала из того убежища, какое каждый из нас создает себе, чтобы скрываться там в минуты опасности, как прячется черепаха под своим щитом. На секунду мир представился мне огромным и унылым хаосом, тогда как в действительности, благодаря нашим постоянным усилиям, мир — веселенькое местечко, полное маленьких удобств, какие только может придумать человек. Но все же — это продолжалось только один момент — я тотчас же вернулся в свою скорлупу. Приходится, знаете ли, это де-

лать… Но все свои слова я словно растерял в том хаосе темных мыслей, какой созерцал в продолжение одной-двух секунд. Однако и слова скоро вернулись, ибо они служат той же спасительной концепции порядка, который является нашим прибежищем. Слова уже были в моем распоряжении, когда она тихо прошептала:

— Он поклялся, что не покинет меня, когда мы стояли там одни! Он поклялся мне!..

— Может ли быть, что вы — вы! — не верите ему? — укоризненно спросил я, искренно возмущенный. Почему не могла она верить? Зачем цепляться за неуверенность и страх, словно они были стражами ее любви? Чудовищно! Ей бы следовало создать себе неприступное мирное убежище из этой честной привязанности. У нее не было знания, — не было, быть может, умения. Быстро надвинулась ночь; там, где мы стояли, стало темно, и она, неподвижная, растаяла во мраке, словно неосязаемый призрак. И вдруг я снова услышал ее спокойный шепот:

— Другие тоже клялись.

Это прозвучало, как задумчивый вывод из размышлений, исполненных грусти, ужаса. Она прибавила, пожалуй, еще тише:

— Мой отец клялся.

Она приостановилась, чтобы перевести дыхание.

— И ее отец…

Так вот что она знала! Я поспешил сказать:

— Да, но он не таков.

Это она, казалось, не намерена была оспаривать; но немного погодя странный спокойный шепот, мечтательно блуждая в воздухе, коснулся моего слуха.

— Почему он — не такой? Лучше ли он?..

— Честное слово, — перебил я, — я думаю, что он лучше.

Мы оба таинственно понизили голос. У хижин, где жили рабочие Джима (то были по большей части освобожденные рабы из крепости шерифа), кто-то затянул пронзительную, протяжную песню. За рекой большой костер — вероятно, у Дорамина, — казался пылающим шаром, одиноким в ночи.

— Он честнее? — прошептала она.

— Да, — сказал я.

— Честнее всех других? — повторила она, растягивая слова.

— Здесь никто, — сказал я, — не подумал бы усомниться в его словах… Никто не осмелился бы, кроме вас.

Кажется, она пошевельнулась.

— Он храбрее, — продолжала она изменившимся голосом.

— Страх никогда не оторвет его от вас, — сказал я, начиная нервничать.

Песня оборвалась на высокой ноте; где-то вдали раздались голоса. И голос Джима. Меня поразило ее молчание.

— Что он вам сказал? Он вам что-то сказал? — спросил я.

Ответа не было.

— Что такое он вам сказал? — настаивал я.

— Вы думаете, я могу на это ответить? Откуда мне знать? Как мне понять? — воскликнула она наконец. Послышался шорох. Мне показалось, что она заломила руки. — Есть что-то, чего он не может забыть.

— Тем лучше для вас, — угрюмо сказал я.

— Что это такое? Что это такое? — с настойчивой мольбой спросила она. — Он говорит, что испугался. Как я могу этому поверить. Разве я сумасшедшая, чтобы этому верить? Вы все что-то вспоминаете. Все вы к этому возвращаетесь. Что это такое? Скажите мне! Что это? Живое оно? Мертвое? Я его ненавижу. Оно жестоко. Есть у него лицо и голос? Может он это увидеть… услы-

шать? Хотя бы во сне, когда он не видит меня… И тогда он встанет и уйдет… Ах, я никогда его не прощу. Моя мать простила, но я — никогда! Будет ли это знак… зов?

То было удивительное открытие. Она не доверяла даже его снам и, казалось, думала, что я могу объяснить ей причину! Так бедный смертный, соблазненный чарами призрака, пытается вырвать у другого привидения потрясающую тайну того призыва, который послан миром иным душе, лишенной телесной оболочки, заблудившейся среди страстей этой земли. Опора как будто уходила у меня из-под ног. И все это было так просто; но если духи, вызванные нашими страхами и нашим непокоем, когда-либо ручались за постоянство друг друга пред нами, растерявшимися кудесниками, то я — я, один из нас, живущих во плоти, — содрогнулся, охваченный безнадежным холодом перед такой задачей. Знак, зов! Как красноречиво было ее неведение. Всего несколько слов! Как она их познала, как сумела их выговорить — я не могу себе представить.

Женщины вдохновляются напряжением данной минуты, которое нам кажется ужасным, нелепым или бесполезным. Убедиться, что у нее есть голос, — этого одного достаточно было,

чтобы прийти в ужас. Если бы упавший камень возопил от боли, это чудо не могло бы показаться более значительным и трогательным. Эти звуки, блуждающие в ночи, вскрыли мне трагизм этих двух застигнутых мраком жизней. Невозможно было заставить ее понять. Я молча бесновался, чувствуя свое бессилие. А Джим… бедняга! Кому он мог быть нужен? Кто вспомнил бы его? Он добился того, чего хотел. К тому времени позабыли, должно быть, о том, что он существует. Они подчинили себе судьбу. И у обоих она была трагична.

Неподвижная, она явно ждала, а я должен был замолвить слово за брата своего из страны забывчивых теней. Меня глубоко взволновала моя ответственность и ее скорбь. Я готов был отдать все, чтобы успокоить ее хрупкую душу, терзавшуюся в своем безысходном неведении, как птица, бьющаяся о проволоку жестокой клетки. Нет ничего легче, чем сказать: «Не бойся!» И нет ничего труднее! Хотел бы я знать, как можно убить страх. Как прострелите вы сердце призрака, отрубите ему призрачную голову, схватите его за призрачное горло? На такой подвиг вы идете во сне и радуетесь своему спасению, когда просыпаетесь, обливаясь потом, дрожа всем телом. Такая пуля

еще не отлита; клинок не выкован; человек не рожден; даже крылатые слова истины падают к вашим ногам, как куски свинца. Для встречи с таким противником вам нужна зачарованная и отравленная стрела, пропитанная ложью столь тонкой, что не найти ее на земле. Подвиг для мира грез, друзья мои!

Я начал заклинания с сердцем тяжелым, исполненным гнева. Внезапно раздался суровый повышенный голос Джима: он распекал за нерадивость какого-то безмолвного грешника на берегу реки.

Нет никого — сказал я внятным шепотом, — нет никого в том неведомом мире, который, по ее мнению, стремится отнять у нее счастье, нет никого — ни живого, ни мертвого, ни лица, ни голоса, ни власти — ничего, что могло бы вырвать у нее Джима. Я остановился и перевел дыхание, а она прошептала:

— Он мне это говорил.

— Он говорил вам правду, — сказал я.

— Ничего, — прошептала она и, неожиданно повернувшись ко мне, спросила еле слышным страстным шепотом:

— Зачем вы пришли к нам оттуда? Он говорит о вас слишком часто. Вы заставляете меня бояться.

Вам… вам он нужен?

Какая-то скрытая жестокость проникла в наш торопливый шепот.

— Я никогда больше не приеду, — с горечью сказал я. — И он мне не нужен. Никому он не нужен.

— Никому, — повторила она недоверчивым тоном.

— Никому, — подтвердил я, отдаваясь какому-то странному возбуждению. — Вы считаете его сильным, мудрым, храбрым, великим… почему же не верить, что он честен? Завтра я уеду — и всему конец. Вас никогда не потревожит голос оттуда. Видите ли, этот мир слишком велик, чтобы почувствовать его отсутствие. Понимаете? Слишком велик! Вы держите его сердце в своих руках. Вы должны это чувствовать. Должны это знать.

— Да, это я знаю, — прошептала она спокойно и твердо, а я подумал, что так может шептать статуя.

Я почувствовал, что ничего не сделал. А что, собственно, хотел я сделать? Теперь я не уверен. В то время мною овладел необъяснимый пыл, словно мне предстояла великая и важная задача: влияние момента на умственное и душевное мое состояние. В жизни каждого из нас бывали такие

моменты, такие влияния, приходящие извне, непреодолимые, непонятные — словно вызванные таинственными столкновениями планет. Она владела, как я ей сказал, его сердцем. У нее было и сердце его, и он сам — если бы только она могла этому поверить. Мне следовало бы ей сказать, что в мире нет никого, кто бы нуждался в его сердце, в его душе, его руке. Это общая наша судьба, и, однако, ужасно говорить так о ком бы то ни было. Она слушала безмолвно, и в ее неподвижности был теперь протест, непобедимое недоверие.

Зачем ей беспокоиться о мире, лежащем за этими лесами? — спросил я. От этого множества людей, населяющих неведомые пространства, не придет — уверял я ее — до конца его жизни ни зова, ни знака. Никогда! Я увлекся. Никогда! Никогда! С удивлением вспоминаю, как настойчиво и страстно я говорил. У меня создалось впечатление, будто я схватил наконец призрак за горло. В самом деле, реальность казалась только сном, сном странным и со всеми подробностями. Зачем ей бояться? Она знала, что он сильный, честный, мудрый, храбрый. Все это так. Несомненно. И больше того. Он велик, непобедим… и мир в нем не нуждается, — мир забыл его, он даже никогда

его не признает.

Я умолк; глубокое молчание нависло над Патюзаном, и слабый сухой звук весла, ударяющегося о борт каноэ где-то на середине реки, казалось, делал тишину безграничной.

— Почему? — прошептала она.

Мною овладело бешенство, какое испытываешь во время жестокой борьбы. Призрак пытался ускользнуть из моих рук.

— Почему? — повторила она громче. — Скажите мне!

Ошеломленный, я молчал, а она топнула ногой, как избалованный ребенок.

— Почему? Говорите!

— Вы хотите знать? — спросил я с яростью.

— Да! — крикнула она.

— Потому что он недостаточно хорош! — жестоко сказал я.

Последовала пауза; я заметил, как метнулось вверх пламя костра на другом берегу, увеличился круг света, словно удивленно расширенный глаз, а потом пламя внезапно съежилось в красную точку. Я понял, как близко она стояла, когда ее пальцы сжали мою руку. Не повышая голоса, с язвительным презрением, горечью, отчаянием она сказала:

— Он мне говорил то же самое… Вы лжете!

Эти последние два слова она выкрикнула на туземном наречии.

— Выслушайте меня! — взмолился я; она затаила дыхание, оттолкнула мою руку.

— Ни одного человека нельзя назвать достаточно хорошим, — начал я очень серьезно. С испугом я заметил, как трудно, захлебываясь, она дышала. Я понурил голову. Что толку? Шаги приближались; я ускользнул, не прибавив больше ни слова.

34

Марлоу вытянул ноги, быстро встал и слегка пошатнулся, словно его опустили здесь после стремительного полета в пространстве. Он прислонился спиной к балюстраде и смотрел на расставленные в беспорядке плетеные шезлонги. Его движение как будто вывело из оцепенения распростертые на них тела. Один или двое выпрямились, словно встревоженные; кое-где еще тлели сигары; Марлоу смотрел на них глазами человека, вернувшегося из бесконечно далекой страны грез. Кто-то откашлялся; небрежный голос поощрительно бросил:

— Ну и что же?

— Ничего, — сказал Марлоу, слегка вздрогнув. — Он ей сказал — вот и все. Она ему не поверила — и только. Что же касается меня, то я не знаю — подобает ли, прилично ли мне радоваться или печалиться. Лично я не могу сказать, чему я верил… я не знаю и по сей день и, должно быть, никогда не буду знать. Но чему верил он сам, бедняга! Истина одержит верх… Знаете ли — Magna est veritas et… Да, когда ей представится

благоприятный случай. Несомненно есть закон… и какой-то закон регулирует ваше счастье, когда бросают кости. Это не справедливость, слуга людей, но случай, фортуна — союзница терпеливого времени, она держит верные и точные весы. Мы оба сказали одно и то же. Говорили ли мы оба правду… или один из нас сказал… или ни тот, ни другой?..

Марлоу приостановился, скрестил на груди руки и заговорил другим тоном…

— Она сказала, что мы лжем. Бедняжка! Ну, что же, предоставим дело случаю: его союзник — время, которое нельзя торопить, а его враг — смерть, которая не станет ждать. Я отступил — признаюсь, малодушно. Я попытался низвергнуть страх — и, конечно, был сам повергнут. Мне удалось только усилить ее тоску намеком на какой-то таинственный заговор, необъяснимую и непонятную конспирацию, имеющую целью вечно держать ее в неведении. И это произошло легко, естественно, неизбежно. Словно мне показали деяние неумолимой судьбы, которой мы служим жертвами — и орудием. Страшно было думать, что девушка стоит там неподвижная; шаги Джима прозвучали грозно, когда он в своих тяжелых зашнурованных ботинках прошел ми-

мо, не заметив меня.

— Как? Нет света? — с удивлением сказал он громким голосом. — Что вы тут делаете в темноте, вы двое?

Через секунду он, должно быть, заметил ее.

— Алло, девчурка! — весело крикнул он.

— Алло, мой мальчик! — тотчас же откликнулась она, удивительно владея собой.

Так они обычно здоровались друг с другом, и гордый вызов, звучавший в ее высоком, но приятном голосе, был очень забавен, мил и ребячлив. Джима это восхищало. В последний раз я слушал, как они обменивались этим знакомым приветствием, и сердце у меня похолодело. Высокий нежный голос, забавно вызывающий; но замер он, казалось, слишком быстро, и шутливое приветствие прозвучало, как стон. Это было ужасно.

— Где же Марлоу? — спросил Джим и, немного погодя, я услышал: — Спустился к реке, да? Странно, что я его не встретил… Вы тут. Марлоу?

Я не ответил. Я не хотел идти в дом… Не сейчас, во всяком случае. Попросту я не мог. Когда он звал меня, я пробирался к калитке, выходившей на недавно расчищенный участок. Нет, я еще не мог их видеть. Понурив голову, я быстро шел по протоптанной дорожке. Здесь был некрутой

подъем; несколько больших деревьев были срублены, кустарник срезан, трава выжжена. Джим решил устроить тут кофейную плантацию. Высокий холм, вздымая свою двойную вершину — черную, как уголь, в светло-желтом сиянии восходящей луны, — словно бросал свою тень на землю, приготовленную для этого эксперимента. Джим задумал столько экспериментов; я восхищался его энергией, его предприимчивостью и ловкостью. Но сейчас ничто не казалось мне менее реальным, чем его планы, его энергия и его энтузиазм.

Подняв глаза, я увидел, как луна блеснула сквозь кусты на дне ущелья. Словно гладкий диск, упав с неба на землю, скатился на дно этой пропасти и теперь отскакивал от земли, выпутываясь из переплетенных ветвей; голый искривленный сук какого-то дерева, растущего на склоне, черной трещиной прорезал лик луны. Луна как будто из глубин пещеры посылала вдаль свои лучи, и в этом печальном свете пни срубленных деревьев казались очень темными; тяжелые тени падали к моим ногам, моя собственная тень двигалась по тропе, перерезанной тенью одинокой могилы, вечно увитой гирляндами цветов. В затененном лунном свете цветы принимали формы, неведо-

мые нашей памяти, и неопределенную окраску, словно это были особенные цветы, сорванные не руками человека, и росли они не в этом мире и предназначены были только для мертвых. Их сильный аромат плавал в теплом воздухе, делая его густым и тяжелым, как дым фимиама. Куски белого коралла светились вокруг темного холмика, как четки из побелевших черепов, и было так тихо, что, когда я остановился, смолкли как будто все звуки и весь мир застыл.

Была великая тишина, словно вся земля стала могилой, и сначала я стоял неподвижно, размышляя главным образом о живых, которые погребены в заброшенных уголках, вдали от человечества, и все же обречены делить трагические или нелепые его несчастия. А может быть, и принимать участие в благородной его борьбе? Кто знает! Человеческое сердце может вместить весь мир. У него хватит храбрости нести ношу, — но где найти мужество сбросить ее?

Должно быть, я пришел в сентиментальное настроение; знаю одно: я стоял там так долго, что мною овладело чувство полного одиночества: все, что я недавно видел, слышал, — даже сама человеческая речь, — казалось, ушло из мира и продолжало жить только в моей памяти,

словно я был последним человеком на земле. Это была странная и меланхолическая иллюзия, возникшая полусознательно, как возникают все наши иллюзии, которые кажутся лишь видениями далекой, недостижимой истины, смутно различаемой. То был действительно один из заброшенных, забытых, неведомых уголков земли, и я заглянул в темную его глубину. Я чувствовал: завтра, когда я навсегда его покину, он перестанет существовать, чтобы жить только в моей памяти, пока я сам не уйду в страну забвения. Это чувство сохранилось у меня по сей день, быть может оно-то и побудило меня рассказать вам эту историю, попытаться передать вам живую ее реальность, ее истину, на миг открывшуюся в иллюзии.

Корнелиус ворвался в ночь. Он вылез, словно червь, из высокой травы, разросшейся в низине. Думаю, его дом гнил где-то поблизости, хотя я никогда его не видел, так как не ходил в ту сторону. Корнелиус бежал мне навстречу по тропе; его ноги, обутые в грязные белые башмаки, мелькали по темной земле; он остановился и начал хныкать и извиваться; на нем был высокий цилиндр. Его маленькая высохшая фигурка была облечена в совершенно поглотивший его костюм из черного сукна. Этот костюм он надевал по праздникам

и в дни церемоний, и я вспомнил, что то было четвертое воскресенье, проведенное мной в Патюзане. Во время моего пребывания там я смутно подозревал, что он желает со мной побеседовать наедине — только бы удалось остаться нам с глазу на глаз. С выжидающим видом он бродил поблизости, но робость мешала ему подойти, а кроме того, я, естественно, не желал иметь дело с таким нечистоплотным созданием. И все-таки он добился бы своего, если бы не стремился улизнуть всякий раз, как на него посмотришь. Он бежал от сурового взгляда Джима, бежал от меня, хотя я и старался смотреть на него равнодушно; даже угрюмый, надменный взгляд Тамб Итама обращал его в бегство. Он всегда был готов улизнуть; всякий раз, как на него взглядывали, он уходил, склонив голову на плечо, или недоверчиво ворча, или безмолвно, с видом человека, удрученного горем; но никакая личина не могла скрыть природную его низость, — так же точно, как одежда не может скрыть чудовищное уродство тела.

Не знаю, объясняется ли это унынием, охватившим меня после поражения, какое я понес меньше часа тому назад в борьбе с призраком страха, но только, нимало не сопротивляясь, я дал Корнелиусу завладеть мной. Я был обречен

выслушивать признания и решать вопросы, на которые нет ответа.

Это было тягостно; но презрение, безрассудное презрение, какое вызвал во мне вид этого человека, облегчало это испытание. Корнелиус, конечно, в счет не шел. Да и все было не важно, раз я решил, что Джим — единственный, кто меня интересовал, — подчинил себе наконец свою судьбу. Он мне сказал, что удовлетворен… почти. Это больше, чем осмеливаются сказать многие из нас. Я, имеющий право считать себя достаточно хорошим, не смею. И никто из вас, я думаю, не смеет?..

Марлоу приостановился, словно ждал ответа. Все молчали.

— Ладно, — снова заговорил он. — Пусть никто не знает, раз истину может вырвать у нас только какая-нибудь жестокая, страшная катастрофа. Но он — один из нас, и он мог сказать, что удовлетворен… почти. Вы только подумайте! Почти удовлетворен! Можно чуть ли не позавидовать его катастрофе. Почти удовлетворен. После этого ничто не имело значения. Неважно было, кто его подозревал, кто ему доверял, кто любил, кто ненавидел… в особенности, если его ненавидел

Корнелиус.

Однако в конце концов и в этом было своего рода признание. Вы судите о человеке не только по его друзьям, но и по врагам, а этого врага Джима ни один порядочный человек не постыдился бы назвать своим врагом, не придавая ему, впрочем, особого значения. Так смотрел на него Джим, и эту точку зрения я разделял; но Джим пренебрегал им по другим, общим основаниям.

— Дорогой мой Марлоу, — сказал он, — я чувствую, что, если иду прямым путем, ничто не может меня коснуться. Да, я так думаю. Теперь, когда вы пробыли здесь достаточно долго, чтобы осмотреться, скажите откровенно — вы не думаете, что я нахожусь в полной безопасности? Все зависит от меня и, честное слово, я здорово в себе уверен. Худшее, что Корнелиус мог бы сделать, это — убить меня, я полагаю. Но я ни на секунду не допускаю этой мысли. Видите ли, он не в силах — разве что я сам вручу ему для этой цели заряженное ружье, а затем повернусь к нему спиной. Вот что он за человек. А допустим, он это сделает — сможет сделать. Ну так что ж! Я пришел сюда не для того, чтобы спасти свою жизнь, — не так ли? Я сюда пришел, чтобы отгородиться стеной, и здесь я намерен остаться…

— Пока не будете вполне удовлетворены, — вставил я.

Мы сидели тогда под навесом на корме его лодки. Двадцать весел поднимались одновременно, по десять с каждой стороны, и дружно ударяли по воде, а за нами Тамб Итам наклонялся то направо, то налево и пристально глядел вперед, стараясь держать лодку по середине течения. Джим опустил голову, и последняя наша беседа, казалось, угасла. Он провожал меня до устья реки. Шхуна ушла накануне, спустившись по реке вместе с отливом, а я задержался еще на одну ночь. И теперь он меня провожал.

Джим чуточку на меня рассердился за то, что я вообще упомянул о Корнелиусе. Говоря по правде, я сказал немного. Парень был слишком ничтожен, чтобы стать опасным, хотя ненависти в нем было столько, сколько он мог вместить. Через каждые два слова он величал меня «уважаемый сэр» и хныкал у меня под ухом, когда шел за мной от могилы своей «покойной жены» до ворот резиденции Джима. Он называл себя самым несчастным человеком, жертвой, раздавленным червем; умолял, чтобы я на него посмотрел. Для этого я не желал поворачивать голову, но уголком глаза мог видеть его раболепную тень, сколь-

зившую позади моей тени, а луна, справа от нас, казалось, невозмутимо созерцала это зрелище. Он пытался объяснить, как я вам уже говорил, свое участие в событиях памятной ночи. Перед ним стоял вопрос — что выгоднее? Как он мог знать, кто одержит верх?

— Я бы его спас, уважаемый сэр, я бы его спас за восемьдесят долларов, — уверял он притворным голосом, держась на шаг позади меня.

— Он сам себя спас, — сказал я, — и вас он простил.

Мне послышалось какое-то хихиканье, и я повернулся к нему; тотчас же он как будто приготовился пуститься наутек.

— Над чем вы смеетесь? — спросил я, останавливаясь.

— Не заблуждайтесь, уважаемый сэр! — взвизгнул он, видимо теряя всякий контроль над своими чувствами. — Он себя спас! Он ничего не знает, уважаемый сэр, — решительно ничего! Кто он такой? Что ему здесь нужно, этому вору? Что ему нужно? Он пускает всем пыль в глаза. И вам, уважаемый сэр! Но мне он не может пустить пыль в глаза. Он — большой дурак, уважаемый сэр!

Я презрительно засмеялся, повернулся на каблуках и пошел дальше. Он подбежал ко мне и

настойчиво зашептал:

— Он здесь все равно что малое дитя… все равно что малое дитя… малое дитя.

Конечно, я не обратил на него внимания, и, видя, что мешкать нельзя, — мы уже приближались к бамбуковой изгороди, блестевшей над черной землей расчищенного участка, — он приступил к делу. Начал он с гнусного хныканья. Великие его несчастья повлияли на его рассудок. Он надеялся, что по доброте своей я забуду все, сказанное им, так как это вызвано было исключительно его волнением. Он никакого значения этому не придавал; но уважаемый сэр не знает, каково быть разоренным, разбитым, растоптанным. После этого вступления он приступил к вопросу, близко его касающемуся, но лепетал так бессвязно и трусливо, что я долго не мог понять, куда он гнет. Он хотел, чтобы я замолвил за него словечко Джиму. Как будто речь шла о каких-то деньгах. Я разобрал слова, повторявшиеся несколько раз: «Скромное обеспечение… приличный подарок». Казалось, он требовал уплаты за что-то и даже с жаром прибавил, что жизнь немного стоит, если у человека отнимают последнее. Конечно, я не проронил ни слова, однако уши затыкать не стал. Суть дела — постепенно оно выяснялось — заклю-

чалась в том, что он, по его мнению, имел право на известную сумму в обмен за девушку. Он ее воспитал. Чужой ребенок. Много трудов и хлопот… Теперь он старик… приличный подарок… Если бы уважаемый сэр замолвил словечко…

Я остановился и с любопытством посмотрел на него, а он, опасаясь, должно быть, как бы я не счел его вымогателем, поспешил пойти на уступки. Он заявил, что, получив «подобающую сумму» немедленно, он берет на себя заботу о девушке «безвозмездно, когда джентльмену вздумается вернуться на родину». Его маленькое желтое лицо, все сморщенное, словно его измяли, выражало беспокойную алчность. Голос звучал вкрадчиво:

— Больше никаких затруднений… Опекун… сумма денег…

Я стоял и дивился. Такого рода занятие было, видимо, его призванием. Я обнаружил вдруг, что в его приниженной позе была своего рода уверенность, словно он всегда действовал наверняка. Должно быть, он решил, что я бесстрастно обдумываю его предложение, и сладеньким голоском вкрадчиво заговорил:

— Всякий джентльмен вносит маленькое обеспечение, когда приходит время вернуться на родину.

Я захлопнул калитку.

— В данном случае, мистер Корнелиус, — сказал я, — это время никогда не придет.

Ему понадобилось несколько секунд, чтобы это переварить.

— Как! — чуть не взвизгнул он.

— Да, — продолжал я, стоя по другую сторону калитки, — разве он вам этого не говорил? Он никогда не вернется на родину.

— Ох, это уже слишком! — вскричал он.

Больше он меня не называл «уважаемым сэром». С минуту он стоял неподвижно, а потом заговорил очень тихо и без малейшего смирения:

— Никогда не уедет… а! Он… он пришел сюда черт знает откуда… пришел черт знает зачем… чтобы топтать меня, пока я не умру… топтать… — Он тихонько топнул обеими ногами. — Вот так… и никто не знает зачем… пока я не умру…

Голос его совсем угас; он закашлялся, близко подошел к изгороди, сказал конфиденциально, жалобным тоном, что не позволит себя топтать.

— Терпение… терпение! — пробормотал он, ударяя себя в грудь.

Я уже перестал над ним смеяться, но неожиданно он сам разразился диким, надтреснутым

смехом.

— Ха-ха-ха! Мы увидим! Увидим! Что? Украсть у меня? Все украсть! Все! Все!

Голова его опустилась на плечо, руки повисли. Можно было подумать, что он страстно любил девушку, и жестокое похищение сломило его, разбило ему сердце. Вдруг он поднял голову и выкрикнул грязное слово.

— Похожа на свою мать… похожа на свою лживую мать! Точь-в-точь. И лицом на нее похожа. И лицом. Чертовка!

Он прижал лоб к изгороди и в такой позе выкрикивал слабым голосом угрозы и гнусные ругательства на португальском языке, переходившие в жалобы и стоны; плечи его поднимались и опускались, словно у него началась рвота. Зрелище было уродливое и отвратительное, и я поспешил отойти. Он что-то крикнул мне вслед — думаю, какое-нибудь ругательство по адресу Джима, — но не очень громко, так как мы находились слишком близко от дома. Я отчетливо расслышал только слова:

— Все равно что малое дитя… малое дитя…

35

Но на следующее утро за первым поворотом реки, заслонившим дома Патюзана, все это исчезло с поля моего зрения, исчезло со всеми своими красками, очертаниями и смыслом — как картина, созданная художником на холсте, к которой вы после долгого созерцания поворачиваетесь наконец спиной. Но впечатление остается в памяти, недвижное, неувядающее, застывшее в оцепеневшем свете. Тщеславие, страхи, ненависть, надежды — они хранятся в моей-памяти такими, как я их видел, — напряженные и словно навеки оцепеневшие. Я повернулся спиной к картине и возвращался в мир, где развертываются события, меняются люди, мерцает свет, жизнь течет светлым потоком, — по грязи или по камням — неважно. Я не собирался нырять туда; мне предстояло достаточно хлопот, чтобы удержать голову на поверхности. Что же касается того, что я оставил позади, я не мог себе представить никаких перемен. Огромный и величественный Дорамин и маленькая добродушная его жена, взирающие на раскинувшуюся перед ними страну

и втайне лелеющие свои честолюбивые родительские мечты; Тунку Алланг, сморщенный и недоумевающий; Даин Уорис, умный и храбрый, с его твердым взглядом, иронической любезностью и верой в Джима; девушка, поглощенная своей пугливой, подозрительной любовью; Тамб Итам, угрюмый и преданный; Корнелиус, при лунном свете прижимающийся лбом к изгороди, — в них я уверен. Они существуют как бы по мановению волшебного жезла. Но тот, вокруг которого все они группируются, — он один поистине живет, и в нем я не уверен. Никакой жезл волшебника не может сделать его неподвижным. Он — один из нас.

Джим, как я вам говорил, сопровождал меня в начале моего путешествия обратно в мир, от которого он отрекся. Иногда казалось, что наш путь врезается в самое сердце нетронутой глуши. Пустынные пространства сверкали под высоко стоящим солнцем; между высокими стенами леса жара дремала на лоне вод, и лодка, быстро, увлекаемая течением, разбивала воздух, который опускался, густой и теплый, под сень листвы.

Тень близкой разлуки уже разделила нас, и мы говорили с усилием, словно посылая тихие слова через широкую и все увеличивающуюся

пропасть. Лодка летела вперед; сидя бок о бок, мы изнемогали от перегретого стоячего воздуха; запах грязи, болота, первобытный запах плодородной земли, как будто колол наши лица; и вдруг за поворотом, точно чья-то могучая рука подняла тяжелый занавес, распахнула великие врата. Даже свет, казалось, затрепетал, небо над нашими головами расширилось, далекий шепот коснулся нашего слуха; свежесть окутала нас, свежий воздух наполнил наши легкие, ускорил бег нашей крови, наших мыслей, наших сожалений. Далеко впереди леса растаяли у синего края моря.

Я глубоко дышал, я упивался простором открытого горизонта, воздухом, в котором дрожали отголоски жизни, энергии неумолимого моря. Это небо и это море были для меня открыты. Девушка была права — то был знак, зов, на который я отзывался всеми фибрами своего существа. Я позволил своим глазам блуждать в пространстве, как человек, освобожденный от уз, который распрямляет сведенные члены, бегает, скачет, отвечая на вдохновляющий зов свободы.

— Какая красота! — воскликнул я и тогда только посмотрел на грешника, сидевшего подле меня.

Голова его была опущена на грудь. Он сказал:

«Да» — не поднимая глаз, словно боялся, что на чистом небе начертан упрек его романтической совести.

Помню мельчайшие детали этого дня. Мы причалили к белому берегу. Позади поднимался низкий утес, поросший на вершине лесом, задрапированный до самого подножия ползучими растениями. Перед нами морская гладь — тихая и напряженно-синяя — тянулась, слегка поднимаясь, до самого горизонта, словно очерченного линией на уровне наших глаз. Сверкающая рябь легко неслась по темной поверхности, быстрая, как перья, гонимые ветерком. Цепь островов, массивных, бугристых, лежала перед широким устьем на полосе бледной, зеркальной воды, в точности отражающей контуры берега. Высоко в бесцветном солнечном сиянии одинокая птица, вся черная, парила, поднимаясь и опускаясь, все над одним и тем же местом и слабо взмахивала крыльями. Ветхие, закопченные, легкие шалаши из циновок возвышались на погнувшихся высоких черных сваях над собственным своим перевернутым отражением. Крохотное черное каноэ отчалило от них; в нем сидели два крохотных черных человечка, изо всех сил ударявших веслами по бледной воде; и каноэ как будто

скользило с трудом по поверхности зеркала.

Эта кучка жалких шалашей была рыбачьей деревушкой, находившейся под особым покровительством белого Лорда, а в каноэ сидели старшина и его зять. Они высадились и зашагали навстречу нам по белому песку, худые, темно-коричневые, словно прокопченные в дыму, с серыми пятнами на обнаженных плечах и груди. Головы их были обернуты в грязные, но старательно сложенные платки.

Старик тотчас же стал многословно излагать жалобу, размахивая тощей рукой и доверчиво поднимая на Джима свои старые подслеповатые глаза. Народ раджи не оставляет их в покое; вышли недоразумения из-за черепашьих яиц, которые жители здешней деревушки собирали на островках — и, опираясь на весло, он указал коричневой костлявой рукой на море. Джим слушал, не поднимая глаз, и, наконец, мягко приказал ему подождать. Он выслушает его немного позже. Они послушно отошли в сторону и присели на корточки, положив перед собой на песок весла; терпеливо следили они за нашими движениями. Широко раскинулось необъятное море; тихий берег тянулся на север и на юг, за пределы моего кругозора, и мы четверо казались

карликами на полоске блестящего песка.

— Беда в том, — угрюмо заметил Джим, — что в течение многих поколений рыбаки этой деревушки считались как бы рабами раджи… Старый плут никак не может понять, что…

Он приостановился.

— Что вы все это изменили, — подсказал я.

— Да. Я все это изменил, — пробормотал он мрачно.

— Вы использовали представившийся вам благоприятный случай, — продолжал я.

— Использовал? — отозвался он. — Пожалуй. Думаю, что так. Да. Я снова обрел уверенность в себе… доброе имя… и все же иногда мне хочется… Нет! Я буду держаться за то, что у меня есть. На большее надеяться нечего.

Он махнул рукой в сторону моря.

— Не там, во всяком случае.

Он топнул ногой по песку.

— Вот моя граница, ибо на меньшее я не согласен.

Мы продолжали шагать по берегу.

— Да, я все это изменил, — сказал он, искоса взглянув на двух терпеливых рыбаков. — Но вы только попробуйте себе представить, что бы случилось, если бы я ушел. Можете вы понять!

Сущий ад! Нет! Завтра я пойду к этому старому дураку Тунку Аллангу и рискну отведать его кофе. Подниму шум из-за этих проклятых черепашьих яиц. Нет, я не могу сказать — довольно. Я должен идти — идти, преследуя свою цель, чувствуя, что ничто не может меня коснуться. Я должен цепляться за их веру в меня, чтобы чувствовать себя в безопасности и… и…

Он нащупывал нужное слово, — казалось, искал его на глади моря.

— …и сохранить связь с теми…

Он вдруг понизил голос до шепота.

— …с теми, кого я, быть может, никогда больше не увижу. С вами, например.

Я был глубоко пристыжен его словами.

— Умоляю вас, — сказал я, — не возводите меня на пьедестал, дорогой мой; подумайте-ка о себе.

Я чувствовал благодарность, любовь к этому изгнаннику, который выделил меня, сохранил мне место в рядах толпы. В конце концов мало чем я мог похвалиться. Я отвернул от него разгоревшееся лицо; под низким солнцем, потемневшим и малиновым, пылающим, как уголь, выхваченный из костра, раскинулось необъятное море, замершее в ожидании, когда его коснется огненный шар. Дважды он пытался заговорить,

но умолкал; наконец, словно найдя формулу, спокойно сказал:

— Я останусь верным. Останусь верным, — повторил он, не глядя на меня. Глаза его блуждали по глади моря, которое из синего стало мрачно пурпурным в огнях заката. Да, он был романтик, романтик… Я вспомнил слова Штейна:

«…погрузиться в разрушительную стихию… Следовать за своей мечтой, идти за ней… и так всегда — usque ad finem…»[27]

Он был романтик, и он заслуживал доверия. Кто знает, какие образы, видения, лица, какое прощение мерещилось ему в зареве заката!.. Маленькая шлюпка, отчалив от шхуны, медленно приближалась к песчаному берегу, чтобы забрать меня; мерно опускались и поднимались весла.

— А потом есть Джюэл, — сказал он, нарушая великое молчание земли, неба и моря, которое так глубоко завладело даже мыслями моими, что его голос заставил меня вздрогнуть. — Есть Джюэл.

— Да, — прошептал я.

— Мне не нужно вам говорить, что она для меня, — продолжал он. — Вы видели. Со временем

---

[27] Примечания: 27
до самого конца (лат.)

она поймет…

— Надеюсь, — перебил я.

— Она тоже мне доверяет, — проговорил он, а затем уже другим тоном сказал: — Интересно, когда мы теперь увидимся.

— Никогда, если вы отсюда не уедете, — ответил я, избегая его взгляда. Он как будто не удивился; секунду он стоял неподвижно.

— Значит, прощайте, — сказал он, помолчав. — Быть может, так лучше.

Мы пожали друг другу руку, и я направился к шлюпке, которая ждала, уткнувшись носом в берег. Шхуна, с гротом и кливером, поставленными по ветру, подпрыгивала на пурпурном море; в розовый цвет окрасились ее паруса.

— Вы скоро поедете опять на родину? — спросил Джим, когда я перешагнул через планширь.

— Через год, если буду жив, — сказал я.

Нижняя часть форштевня заскрипела по песку, шлюпка скользнула вперед, сверкнули и погрузились в воду мокрые весла. Джим у края воды повысил голос.

— Скажите им… — начал он.

Я знаком приказал гребцам остановиться и ждал, недоумевая: кому сказать? Солнце наполовину погрузилось в воду; я видел красные

отблески в его глазах, когда он молча смотрел на меня.

— Нет… ничего, — сказал он и слегка махнул рукой, отсылая шлюпку. Я больше не смотрел на берег, пока не поднялся на борт шхуны.

К тому времени солнце зашло. Сумерки сгустились на востоке, и берег, почерневший, протянулся темной стеной, казавшейся твердыней ночи. Западный горизонт горел золотыми и малиновыми огнями, и в этом зареве большое облако застыло, темное и неподвижное, отбрасывая аспидно-черную тень на воду. Я увидел Джима, который с берега следил, как отходит шхуна.

Два полуобнаженных рыбака приблизились, как только я уехал. Несомненно, они жаловались на свою маленькую жалкую жизнь белому Лорду, и несомненно — он слушал, принимая эту жалобу близко к сердцу, ибо разве не была она частицей его удачи, — полной удачи, которой он, по его уверению, достоин и которую мог принять? Тем тоже, я думаю, повезло, и я уверен, что у них хватило настойчивости использовать свою удачу. Их темные тела слились с черным фоном и исчезли гораздо раньше, чем я потерял из виду их защитника. Он был белый с головы до ног и упорно не скрывался из виду; твердыня ночи вздымалась за

его спиной, море раскинулось у его ног, счастье его стояло подле — все еще под покрывалом. Что вы скажете? Было ли оно все еще под покрывалом? Я не знаю. Для меня эта белая фигура на тихом берегу казалась стоящей в сердце великой тайны. Сумерки быстро спускались на него с неба, полоска песка уже исчезла у его ног, он сам выглядел не больше ребенка, потом стал только пятнышком, — крохотным белым пятнышком, словно притягивающим весь свет, какой остался в потемневшем небе… И внезапно я потерял его из виду.

36

Этими словами Марлоу закончил свой рассказ, и слушатели тотчас же начали расходиться, провожаемые его рассеянным, задумчивым взглядом. Люди спускались с веранды парами или поодиночке, не теряя времени, не высказывая никаких замечаний, словно последний образ в этой незаконченной повести, самая незаконченность ее и тон рассказчика сделали обсуждение излишними и комментарии невозможными. Каждый как бы уносил с собой свое впечатление, — уносил, как тайну; но только одному человеку из всех слушавших суждено было узнать последнее слово этой истории. Оно пришло к нему на родину больше двух лет спустя, пришло в толстом пакете, адресованном прямым и острым почерком Марлоу.

Тот, кому посчастливилось, вскрыл пакет, заглянул в него; затем, положив на стол, подошел к окну. Комната его находилась в верхнем этаже высокого здания, и он мог глядеть вдаль сквозь светлые стекла, словно из фонаря маяка. Скаты крыш блестели; темные зазубренные гребни

сменялись один другим без конца, как мрачные невспененные волны, а из глубин города доносился смутный и несмолкающий рокот. Шпили церквей, многочисленных, беспорядочно разбросанных, вздымались, как маяки в лабиринте отмелей, не разделенных каналами; шел дождь; спускались сумерки зимнего вечера; бой больших башенных часов прокатился мощно и сурово и оборвался резким вибрирующим звуком. Человек опустил тяжелые занавеси.

Свет лампы под абажуром спал, как стоячий пруд; ковер заглушал шаги; дни его скитаний миновали. Нет больше беспредельных, как надежда горизонтов, нет больше сумеречного света в торжественных, как храм, лесах, нет горячих поисков вечно неоткрытой страны за холмом, по ту сторону потока, за волнами… Час пробил! Кончено! Кончено!.. Но вскрытый пакет на столе под лампой вернул звуки, видения, аромат прошлого — калейдоскоп блекнущих лиц, гул тихих голосов, замирающих на берегах дальних морей в страстном и неумолимом сиянии солнца. Он вздохнул и сел к столу.

Сначала он увидел три отдельных рукописи: толстую пачку листов, мелко исписанных и сколотых вместе; квадратный сероватый лист бу-

маги, на котором было написано несколько слов незнакомым ему почерком, и пояснительное письмо от Марлоу. Из этого последнего письма выпало другое, пожелтевшее от времени и потертое на сгибах. Он поднял его и, отложив в сторону, обратился к посланию Марлоу. Быстро пробежал первые строчки, потом, сделав над собой усилие, стал читать спокойно — как человек, медленными шагами настороженно приближающийся к мелькнувшей вдали неоткрытой стране.

«…Не думаю, чтобы вы забыли, — читал он. — Вы один проявили интерес к нему, — интерес, переживший мой рассказ, хотя я помню хорошо, вы не хотели согласиться с тем, что он подчинил себе судьбу. Вы предсказывали катастрофу: скуку и отвращение к обретенной славе, к возложенным на себя обязанностям, к любви, вызванной жалостью и молодостью. Вы сказали, что хорошо знаете «такого рода вещи» — призрачное удовлетворение, какое они дают, неизбежное разочарование. Вы сказали также, — напоминаю вам, — что «отдать свою жизнь им (под «они» подразумевалось все человечество с кожей коричневой, желтой или черной) — все равно что продать душу зверю». Вы допускали, что «такого рода вещи» выносимы и длятся лишь в том

случае, если основаны на твердой вере в истину наших расовых идей, во имя которых установлен порядок и мораль этического прогресса. «Нам нужна эта опора, — сказали вы. — Нам нужна вера в необходимость и справедливость этих идей, чтобы с достоинством и сознательно принести в жертву свою жизнь. Без этого жертва является лишь забвением, а путь к жертве не легче, чем путь к гибели». Иными словами, вы утверждали, что мы должны сражаться в рядах, иначе жизнь наша в счет не идет. Возможно! Кому и знать, как не вам, — говорю это без всякого лукавства, — вам, который заглянул один в заброшенные уголки и сумел выбраться оттуда, не опалив своих крыльев. Но суть та, что Джиму не было дела до всего человечества, он имел дело лишь с самим собой, и вопрос заключается в том, что не пришел ли он наконец к вере более могущественной, чем законы порядка и прогресса.

Я ничего не утверждаю. Быть может, свое мнение выскажете вы — после того, как прочтете. В конце концов есть много правды в простом выражении «в тени облака». Невозможно разглядеть Джима отчетливо — в особенности потому, что глазами других приходится нам смотреть на него в последний раз. Я, нимало не колеблясь,

сообщаю вам все, что мне известно о том последнем эпизоде, который, как он обычно говорил, «приключился с ним». Недоумеваешь, был ли это благоприятный случай, то последнее испытание, какого он, казалось, всегда ждал, чтобы затем послать весть о себе непогрешимому миру. Вы помните, когда я расставался с ним в последний раз, он спросил, скоро ли я поеду на родину, и вдруг крикнул мне вслед:

— Скажите им…

Я ждал — признаюсь, заинтересованный и обнадеженный — и услышал только:

— Нет. Ничего!

Итак, это было все — и больше ничего не будет, — не будет вести, кроме той, какую каждый из нас может перевести с языка фактов, часто гораздо более загадочных, чем самая сложная расстановка слов. Правда, он сделал еще одну попытку высказаться, но и она была обречена на неудачу, как вы сами убедитесь, если взглянете на сероватый листок, вложенный в этот пакет. Он попытался писать, — видите этот банальный почерк? И заголовок: «Форт Патюзан»? Полагаю, он выполнил свое намерение превратить дом в защищенное убежище. Это был великолепный план: глубокая канава, земляной вал,

обнесенный частоколом, а по углам пушки на платформах, защищающие каждую из сторон четырехугольника. Дорамин согласился дать ему пушки; итак, все сторонники его партии знали, что есть надежное место, на которое может рассчитывать верный партизан в случае внезапной опасности. Все это говорит о разумной предусмотрительности, о его вере в будущее. Те, кого он называл «мой народ», — освобожденные пленники шерифа, — должны были поселиться в Патюзане, образовав отдельный округ; предполагалось, что хижины их и участки раскинутся у стен крепости. А в крепости он будет полным хозяином «Форт Патюзан». Нет числа, как видите. Какое значение имеют число и день? И невозможно угадать, к кому он обращался, когда взялся за перо, — к Штейну… ко мне… ко всему миру… или то был лишь бесцельный испуганный крик одинокого человека, столкнувшегося со своей судьбой. «Случилась ужасная вещь», — написал он перед тем, как в первый раз бросить перо; посмотрите на чернильное пятно, напоминающее наконечник стрелы, под этими словами. Немного погодя он снова попытался писать и нацарапал тяжелой, словно свинцом налитой рукой следующую фразу: «Я должен теперь немедленно…» Тут

снова брызнули чернила, и он отказался от дальнейших попыток. Больше нет ничего. Он увидел широкую пропасть, которую нельзя покрыть ни взглядом, ни голосом. Я могу это понять. Он был ошеломлен необъяснимым, ошеломлен своей собственной личностью — даром той судьбы, которую он всеми силами пытался себе подчинить.

Я посылаю вам еще одно старое письмо — очень старое письмо. Оно заботливо хранилось в его шкатулке. Письмо от его отца; по дате можно судить о том, что оно было получено за несколько дней до того, как он поступил на «Патну». Должно быть, это было последнее письмо с родины. Он хранил его все эти годы. Славный старик любил своего сына-моряка. Я мельком просмотрел письмо. Оно дышит любовью. Он говорит своему «дорогому Джеймсу», что последнее длинное письмо от него было очень «честное и занимательное». Он не хотел бы, чтобы Джим «судил людей сурово и необдуманно». Четыре страницы письма заполнены мягкими нравоучениями и семейными новостями. Том «получил назначение». У мужа Кэрри были «денежные затруднения». Старик писал все в том же духе, доверяя провидению и установленному порядку вселенной, но живо реагируя на маленькие опасности и

маленькие милости. Едва ли не видишь его, седовласого и невозмутимого, в его мирном убежище, в старом и уютном кабинете, украшенном книгами, где он в течение сорока лет, снова и снова, добросовестно возвращался к своим меленьким мыслям о вере и добродетели, о линии поведения благопристойной смерти, где он написал столько проповедей и где сейчас беседует со своим мальчиком, странствующим в другом конце света. Но какое значение имеет расстояние? Добродетель — одна во всем мире, и есть только одна вера и одна благопристойная смерть.

Его дорогой Джеймс, выражает он надежду, «никогда не забудет, что тот, кто однажды поддастся искушению, рискует развратиться и навеки погибнуть. Поэтому, каковы бы ни были твои мотивы, никогда не следует делать того, что считаешь нечестным». Далее он сообщает о любимой собаке; а пони, «на котором вы, мальчики, катались», ослеп от старости и пришлось его пристрелить. Старик призывает благословение божие; мать и сестры шлют свою любовь…

Да, в самом деле, немного сказано в этом пожелтевшем, затрепанном письме, спустя столько лет выпавшем из его рук. Это письмо осталось без ответа, — но кто знает, о чем он говорил с

мирными бесцветными образами мужчин и женщин, населяющими спокойный уголок земли, где, как в могиле, нет ни опасности, ни распрей, а воздух пропитан высокой нравственностью. Удивительно, что он пришел оттуда, — он, с которым «столько приключалось вещей». С ними никогда ничего не приключалось; их никогда не застигнут врасплох, и не придется им померяться с судьбой. Все они здесь — встают передо мной, вызванные кроткой болтовней отца — все эти братья и сестры — его по плоти и крови — смотрят на меня ясными наивными глазами, и я словно вижу Джима: он вернулся наконец — не крохотное белое пятнышко в самом сердце великой тайны, но стоя во весь рост среди безмятежных образов, с видом суровым и романтическим, всегда безмолвный, мрачный — в тени облака.

Рассказ о последних событиях вы найдете на этих нескольких страницах, вложенных в пакет. Вы должны согласиться, что их романтичность превосходит самые безумные мечты его отрочества, и, однако, на мой взгляд, есть в них какая-то глубокая и устрашающая логика, словно одно лишь наше воображение может раскрыть перед нами власть ошеломляющей судьбы. Неосторожные наши мысли падают на наши головы; кто

играет с мечом — от меча погибнет. Это изумительное приключение, — а изумительнее всего то, что оно правдиво, — является как бы неизбежным следствием. Нечто в таком роде должно было произойти. Вы повторяете это себе, не переставая удивляться, каким образом такое приключение в наш век могло случиться. Но оно случилось, и логичность его оспаривать не приходится.

Я излагаю здесь события так, словно был сам свидетелем. Сведения мои были отрывочны, но я склеил отдельные куски — а их было достаточно, чтобы получилась ясная картина. Интересно, как бы он сам это рассказал! Он столько поведал мне, что иной раз кажется, будто он вот-вот войдет и, по-своему, расскажет эту историю своим беззаботным, но выразительным голосом, по обыкновению быстро и недоуменно, чуточку досадливо, чуточку обиженно, изредка вставляя слово или фразу, которые дают возможность заглянуть в самое его сердце, нимало, однако, не помогая ориентироваться. Трудно поверить, что он никогда больше не придет. Я никогда больше не услышу его голоса, не увижу его молодого, розового с загаром лица, с белой полоской на лбу, и юных глаз, которые темнели от возбуждения и казались глубокими, бездонно-синими.

37

Все это начинается с замечательного подвига человека по фамилии Браун, который ловко украл испанскую шхуну в маленьком заливе близ Замбоанга. Пока я не наткнулся на этого парня, сведения мои были неполны, но самым неожиданным образом я нашел его за несколько часов до того, как он испустил свой высокомерный дух. К счастью, он хотел и в силах был говорить между приступами астмы, и его исхудавшее тело корчилось от злобной радости при одном воспоминании о Джиме. Его приводила в восторг мысль, что он «расплатился в конце концов с этим гордецом». Он упивался своим поступком. Я должен был, если хотел узнать подробности, выносить блеск его ввалившихся жестоких глаз, окруженных морщинками. Итак, я это выносил, размышляя о том, сколь родственны некоторые виды зла безумию, рожденному великим эгоизмом, подстрекаемому сопротивлением, раздирающему душу и дающему телу обманчивую силу. Здесь раскрывается также и удивительная хитрость Корнелиуса, который, руководствуясь

своей низкой и напряженной ненавистью, сыграл роль искусного вдохновителя, направившего мщение по верному пути.

— Я сразу мог сказать, как только на него посмотрел, что это за болван, — задыхаясь, говорил умирающий Браун. — И это мужчина! Жалкий обманщик! Словно он не мог прямо сказать: «Руки прочь от моей добычи!» Вот как поступил бы мужчина! Черт бы побрал его душу! Я был в его руках, но у него не хватило перцу меня прикончить. Даже не подумал. Он отпустил меня, словно я не достоин пинка.

Браун отчаянно ловил ртом воздух.

— …Плут… Отпустил меня… Вот я и покончил с ним…

Он снова задохнулся.

— …Кажется, эта штука меня убьет, но теперь я умру спокойно. Вы… вы слышите… не знаю вашего имени… Я бы дал вам пять фунтов, если б они у меня были, за такие новости, — или мое имя не Браун… — Он отвратительно усмехнулся. — Джентльмен Браун.

Все это он говорил, задыхаясь, тараща на меня свои желтые глаза; лицо у него было длинное, изможденное, коричневое; он размахивал левой рукой, спутанная борода с проседью спускалась

чуть ли не до колен; ноги были закрыты грязным рваным одеялом. Я разыскал его в Бангкоке благодаря этому хлопотуну Шомбергу, содержателю отеля, который конфиденциально указал мне, где его искать. Видно, какой-то бродяга-пропойца, — белый человек, живший с сиамской женщиной среди туземцев, — счел великой честью дать приют умирающему знаменитому джентльмену Брауну. Пока он со мной разговаривал в жалкой лачуге, сражаясь за каждую минуту жизни, сиамская женщина с большими голыми ногами и грубоватым лицом сидела в темном углу и тупо жевала бетель. Изредка она вставала, чтобы прогнать от двери кур. Вся хижина сотрясалась, когда она двигалась. Некрасивый желтый ребенок, голый, с большим животом, похожий на маленького языческого божка, стоял в ногах кровати и, засунув палец в рот, спокойно созерцал умирающего.

Он говорил лихорадочно; но иногда невидимая рука словно схватывала его за горло, и он смотрел на меня безмолвно, с тревогой и недоверием. Казалось, он боялся, что мне надоест ждать и я уйду, а его рассказ останется незаконченным и восторга своего он так и не выразит. Он умер, кажется, в ту же ночь, но я узнал от него все, что нужно.

Но пока хватит о Брауне.

За восемь месяцев до этого, приехав в Самаранг, я, по обыкновению, пошел навестить Штейна. На веранде, выходящей в сад, меня робко приветствовал малаец, и я вспомнил, что видел его в Патюзане, в доме Джима, среди прочих буги, которые обычно приходили по вечерам, без конца вспоминали свои ночные подвиги и обсуждали государственные дела. Джим однажды указал мне на него, как на пользующегося уважением торговца, владеющего маленьким мореходным туземным судном, который «отличился при взятии крепости». Увидав его, я не особенно удивился, так как всякий торговец Патюзана, добирающийся до Самаранга, естественно находил дорогу к дому Штейна. Я ответил на его приветствие и вошел в дом. У двери в кабинет Штейна я наткнулся на другого малайца и узнал в нем Тамб Итама.

Я тотчас же спросил его, что он здесь делает. Мне пришло в голову, не приехал ли Джим в гости, и признаюсь, эта мысль очень меня обрадовала и взволновала. Тамб Итам посмотрел на меня так, будто не знал, что сказать.

— Тюан Джим в кабинете? — нетерпеливо спросил я.

— Нет, — пробормотал он, понурив голову, и вдруг два раза очень серьезно проговорил: — Он не хотел сражаться. Он не хотел сражаться.

Так как он, казалось, не в силах был сказать еще что-нибудь, я отстранил его и вошел.

Штейн, высокий и сутулый, стоял один посреди комнаты, между рядами ящиков с бабочками.

— Ах, это вы, мой друг! — сказал он, грустно взглянув на меня сквозь очки.

Темное пальто из альпага, незастегнутое, спускалось до колен. На голове его была панама; глубокие морщины бороздили бледные щеки.

— Что случилось? — нервно спросил я. — Тамб Итам здесь…

— Пойдите повидайтесь с девушкой. Повидайтесь с девушкой. Она здесь, — сказал он, засуетившись.

Я попытался его удержать, но с мягким упорством он не обращал ни малейшего внимания на мои нетерпеливые вопросы.

— Она здесь, она здесь, — повторял он в смущении. — Они приехали два дня назад. Такой старик, как я, чужой человек — sehen sie[28] — мало что может сделать… Проходите сюда…

---

[28] Примечания: 28
видите ли (нем.)

Молодые сердца не умеют прощать…

Я видел, что он глубоко огорчен.

— …сила жизни в них, жестокая сила жизни… — бормотал он, показывая мне дорогу; я следовал за ним, унылый и раздосадованный, теряясь в догадках. У дверей гостиной он остановил меня.

— Он очень любил ее, — сказал он полувопросительно, а я только кивнул, чувствуя такое горькое разочарование, что не решался заговорить.

— Как ужасна — пролепетал он. — Она не может меня понять. Я — только незнакомый ей старик. Быть может, вы… Вас она знает. Поговорите с ней. Мы не можем оставить это так. Скажите ей, чтобы она его простила. Это ужасно.

— Несомненно, — сказал я, раздраженный тем, что должен бродить в потемках, — но вы-то ему простили?

Он как-то странно посмотрел на меня.

— Сейчас услышите, — ответил он и, раскрыв дверь, буквально втолкнул меня в комнату.

Вы знаете большой дом Штейна и две огромные приемные — нежилые и непригодные для жилья, чистые, уединенные, полные блестящих вещей, на которых, казалось, никогда не останавливался взгляд человека? В самые жаркие дни там прохладно, и вы входите туда, словно в подземную

пещеру. Я прошел через первую приемную, а во второй увидел девушку, сидевшую за большим столом красного дерева, голову она опустила на стол, а лицо закрыла руками. Навощенный пол, будто полоса льда, тускло ее отражал. Тростниковые жалюзи были спущены, и сумеречный свет в комнате казался зеленоватым от листвы деревьев снаружи; сильный ветер налетал порывами, колебля длинные драпри у окон и дверей. Ее белая фигура была словно вылеплена из снега, свисающие подвески большой люстры позвякивали над ее головой, как блестящие льдинки. Она подняла голову и следила за моим приближением. Меня знобило, словно эти большие комнаты были холодным приютом отчаяния.

Она сразу меня узнала; как только я подошел к ней, она спокойно сказала:

— Он меня оставил. Вы всегда нас оставляете — во имя своих целей.

Лицо ее осунулось; казалось, вся сила жизни сосредоточилась в каком-то недоступном уголке ее сердца.

— Умереть с ним было бы легко, — продолжала она и сделала усталый жест, словно отстраняя непонятное. — Он не захотел! Как будто спустилась на него слепота… а ведь это я с ним говорила,

я перед ним стояла, на меня он все время смотрел! Ах, вы жестоки, вероломны, нет у вас чести, нет сострадания! Что делает вас такими злыми? Или, быть может, вы все безумны?

Я взял ее руку, не ответившую на пожатие; а когда я ее выпустил, рука беспомощно повисла. Это равнодушие, более жуткое, чем слезы, крики и упреки, казалось, бросало вызов времени и утешению. Вы чувствовали: что бы вы ни сказали, ваши слова не коснутся немой и тихой скорби.

Штейн сказал: «Вы услышите» — и я услышал. С изумлением, с ужасом прислушивался я к ее монотонному, усталому голосу. Она не могла схватить подлинный смысл того, что говорила, ее злоба исполнила меня жалости к ней… и к нему. Я стоял, словно пригвожденный к полу, когда она замолчала. Опираясь на руку, она смотрела прямо перед собой тяжелым взглядом; врывался ветер, подвески люстры по-прежнему звенели в зеленоватом полумраке. Она шептала как будто самой себе:

— А ведь он смотрел на меня! Он мог видеть мое лицо, слышать мой голос, слышать мою скорбь! Когда я, бывало, сидела у его ног, прижавшись щекой к его колену, а его рука лежала на моей голове — жестокость и безумие уже были в нем,

дожидаясь дня. День настал! Солнце еще не зашло, а он уже мог меня не видеть, — стал слеп, и глух, и безжалостен, как все вы. Он не дождется моих слез. Никогда, никогда! Ни одной слезинки я не хочу. Он ушел от меня, словно для него я была хуже, чем смерть. Он бежал, словно его гнало какое-то проклятие, услышанное во сне…

Ее остановившиеся глаза, казалось, искали образ человека, которого сила мечты вырвала из ее объятий. Она не ответила на мой молчаливый поклон. Я рад был уйти.

В тот же день я еще раз ее увидел. Расставшись с ней, я пошел разыскивать Штейна, которого в доме не оказалось; преследуемый унылыми мыслями, я вышел в сад — знаменитые сады Штейна, где вы можете найти любое растение и дерево тропических низин. Я пошел по течению ручья и долго сидел на скамье в тени, близ красивого пруда, где какие-то водяные птицы с подрезанными крыльями шумно ныряли и плескались. Ветви деревьев казуарина за моей спиной слегка покачивались, напоминая мне шум сосен на родине.

Этот грустный и тревожный звук был подходящим аккомпанементом к моим размышлениям. Она сказала, что его увела от нее мечта, — и нечего было ей ответить: казалось, нет проще-

ния такой провинности. И, однако, разве само человечество не повинуется слепо мечте о своем величии и могуществе, — мечте, которая гонит его на темные тропы великой жестокости и великой преданности? А что есть в конце концов погоня за истиной?

Когда я встал, чтобы идти назад к дому, я заметил в просвете между деревьями темное пальто Штейна и очень скоро за поворотом тропинки наткнулся на него, гуляющего с девушкой. Ее маленькая ручка легко покоилась на его руке. На нем была широкополая панама; он склонился над девушкой, седовласый, с отеческим видом, с сочувственным и рыцарским почтением. Я отошел в сторону, но они остановились передо мной. Он смотрел в землю; девушка, стройная и легкая, глядела куда-то мимо меня черными, ясными, остановившимися глазами.

— Schrecklich, — прошептал он. — Ужасно! Ужасно! Что тут можно поделать?

Казалось, он взывал ко мне, но еще сильнее взывали ко мне ее молодость, долгие дни, ждавшие ее впереди; и вдруг, сознавая, что ничего сказать нельзя, я ради нее произнес речь в защиту его.

— Вы должны его простить, — закончил я, и мой голос показался мне придушенным, затерян-

ным в безответном глухом пространстве.

— Все мы нуждаемся в прощении, — добавил я через секунду.

— Что я сделала? — спросила она почти беззвучно.

— Вы всегда ему не доверяли, — сказал я.

— Он был такой же, как и другие, — медленно проговорила она.

— Нет, не такой, — возразил я; но она продолжала ровным бесчувственным голосом:

— Он был лжив.

И вдруг вмешался Штейн:

— Нет, нет, нет! Бедное мое дитя…

Он погладил ее руку, пассивно лежавшую на его рукаве.

— Нет, нет! Не лжив! Честен! Честен! Честен!

Он старался заглянуть в ее окаменевшее лицо.

— Вы не понимаете… Ах, почему вы не понимаете?.. Ужасно! — сказал он мне. — Когда-нибудь она поймет.

— Вы ей объясните? — спросил я, в упор на него глядя. Они пошли дальше.

Я следил за ними. Подол ее платья волочился по тропинке, черные волосы были распущены. Она шла прямая и легкая подле высокого, медленно шагавшего старика; длинное бесформенное паль-

то Штейна прямыми складками спускалось с его сутулых плеч к ногам. Они скрылись из виду за той рощей (быть может, вы помните), где растут шестнадцать разновидностей бамбука, в которых разбираются знатоки. А я был зачарован безукоризненным изяществом и красотой этой певучей рощи, увенчанной остроконечными листьями и перистыми кронами; меня приводила в восторг эта легкость и мощь, напоминающие голос безмятежной торжествующей жизни. Помню, я долго смотрел на нее и медлил уйти, как человек, прислушивающийся к успокоительному шепоту. Небо было жемчужно-серое. То был один из тех пасмурных дней, таких редких на тропиках, когда надвигаются воспоминания об иных берегах, иных лицах.

В тот же день я вернулся в город, захватив с собой Тамб Итама и другого малайца, на мореходном судне которого они в недоумении и страхе бежали от мрачной катастрофы. Потрясение как будто коренным образом их изменило. Ее страсть оно обратило в камень, а угрюмого, молчаливого Тамб Итама сделало чуть ли не болтливым. Угрюмость его сменилась недоуменным смирением, словно он видел, как в минуту опасности могущественный амулет оказался бессильным. Торговец

буги, робкий, нерешительный, очень толково изложил то немногое, что знал. Оба были, видимо, подавлены чувством глубокого удивления перед неисповедимой тайной.

Этими словами и подписью Марлоу кончалось письмо. Тот, кому посчастливилось прочесть письмо, прибавил света в лампе и, одинокий над волнистыми крышами города, словно смотритель маяка над морем, обратился к страницам рассказа.

38

«Начало, как я вам уже сказал, было положено человеком по фамилии Браун, — гласила первая строка повествования Марлоу. — Вы избороздили Тихий океан и должны были о нем слышать. Он был показательным типом негодяя на австралийском побережье — не потому, что часто там являлся, но потому, что всегда фигурировал в рассказах о мошенничествах, — в рассказах, какими угощают приехавших с родины, а самой безобидной истории из тех, которые о нем рассказывали от мыса Йорк до бухты Эден, более чем достаточно, чтобы повесить его, если изложить историю в надлежащем месте. Рассказчики никогда не забывали довести до вашего сведения, что есть данные предполагать, будто он сын баронета. Как бы то ни было, но факт тот, что он дезертировал с английского судна в первые дни золотой лихорадки, а через несколько лет о нем заговорили как о чудовище, терроризирующем ту или иную группу островов Полинезии.

Он насильно вербовал туземцев, грабил какого-нибудь одинокого белого торговца, снимая с

него все, вплоть до пижамы, а ограбив, предлагал бедняге драться на дуэли на дробовиках — что было бы, пожалуй, неплохо, если бы жертва не оказывалась к тому времени полумертвой от страха. Браун был пиратом наших дней, довольно жалким, как и его более знаменитые прототипы; но от современных ему братьев по профессии (таких, как Задира Гайес, или Медоточивый Пиз, или этот надушенный, расфранченный негодяй, известный под кличкой Грязный Дик) он отличался дерзостью своих деяний и яростным презрением к человечеству вообще и к своим жертвам в частности. Остальные были всего-навсего вульгарными и жадными скотами, но Брауном, казалось, руководили какие-то сложные побуждения. Он грабил человека словно для того, чтобы продемонстрировать свое низкое о нем мнение, и готов был пристрелить или изувечить какого-нибудь тихого, безобидного чужестранца, проявляя при этом такую свирепость и мстительность, как будто хотел застращать самого отчаянного головореза. В дни расцвета своей славы он был владельцем вооруженного барка со смешанным экипажем из канаков и беглых моряков с китобойных судов и хвастался, — не знаю, имел ли он на то основания, — будто его втихомолку финан-

сирует самая респектабельная фирма торговцев копрой. Позднее он, как рассказывают, удрал с женой миссионера, молоденькой женщиной из Клепхэма, которая под влиянием минуты вышла замуж за кроткого парня, а затем, очутившись в Меланезии, почему-то сбилась с пути.

То была темная история. Она была больна в то время, как он ее увез, и умерла на борту его судна; говорят — и это самая удивительная часть истории, — что над ее телом он рыдал и предавался мрачной, неудержимой скорби. Вскоре после этого счастье ему изменило. Он потерял свое судно, разбившееся о скалы неподалеку от Малаиты, и на время исчез, словно пошел ко дну вместе со своим барком. Затем он выплыл в Нука-Хиве, где купил старую французскую шхуну, раньше принадлежавшую правительству. Не могу сказать, какую цель он преследовал, делая эту покупку, но ясно, что с появлением верховных комиссаров, консулов, военных судов и международного контроля Южные моря стали слишком беспокойным местом для джентльменов его пошиба. Очевидно, он должен был перенести свои операции дальше на запад, ибо год спустя он играет невероятно дерзкую, но не особенно выигрышную роль в полусерьезном, полукоми-

ческом деле в Манильском заливе, где главными действующими лицами являются казнокрад губернатор и скрывающийся от суда казначей. Затем он, видимо, вертится на своей гнилой шхуне среди Филиппинских островов, сражаясь с вероломной фортуной, и наконец, совершая предназначенный ему путь, вступает в историю Джима, — слепой сообщник Темных Сил.

Далее рассказывают, что, когда испанский патрульный катер захватил его, он пытался всего лишь доставить ружья инсургентам. Если так, то я не могу понять, что он делал у южного берега Минданао. Мне лично кажется, что он шантажировал туземцев прибрежных деревень. Как бы то ни было, но катер, поместив стражу на борт шхуны, заставил его плыть по направлению к Замбоангу. По дороге оба судна должны были по какой-то причине заглянуть в одно из этих новых испанских поселений, из которых так и не вышло никакого толку. Там имелся не только правительственный чиновник на берегу, но и хорошая, прочная каботажная шхуна, лежавшая на якоре в маленьком заливе; и это судно, во всех отношениях превосходящее его собственную шхуну, Браун решил украсть.

Ему не везло — как он сам мне признался. Мир,

к которому он в течение двадцати лет относился с дерзким и злобным презрением, не доставил ему никаких материальных благ, за исключением небольшого мешка с серебряными долларами, спрятанного в его каюте так, что «сам черт не мог бы пронюхать». И больше ничего — решительно ничего! Жизнь ему надоела, а смерти он не страшился. Но этот человек, который готов был с горьким и безрассудным зубоскальством рискнуть жизнью ради пустяка, смертельно боялся тюрьмы. При мысли о тюремном заключении его охватывал тот безумный ужас, когда человек, обливаясь холодным потом, дрожит, и кровь его словно обращается в воду, — такой ужас испытывают суеверные люди, представляя себя в объятиях призрака. Вот почему правительственный чиновник, который явился на борт для предварительного расследования, усердно занимался этим делом целый день и сошел на берег лишь в сумерках, закутанный в плащ и крайне озабоченный тем, чтобы не звенели в мешке жалкие сбережения Брауна. Затем, верный своему слову, он отослал (кажется, вечером следующего дня) правительственный катер, дав ему какое-то неотложное поручение. Командир, не имея возможности оставить на задержанном

судне своих матросов, удовольствовался тем, что перед отплытием убрал до последнего лоскута все паруса со шхуны Брауна и подвел свои две шлюпки к берегу, находившемуся на расстоянии двух миль.

Но в команде Брауна был один туземец с Соломоновых островов, захваченный в юности и преданный Брауну; этот туземец был самым отчаянным во всей банде. Он проплыл около пятисот ярдов до каботажного судна, держа конец перлиня, который удалось смастерить, использовав весь бегучий такелаж шхуны. Волнения не было, и в заливе было темно, «как в брюхе у коровы», по выражению Брауна. Островитянин перелез через бульварк, держа в зубах конец каната. Команда каботажного судна — все до единого тагалы — была на берегу, пируя в туземной деревне. Двое вахтенных, оставшихся на борту, внезапно проснулись и увидели черта: он сверкал глазами и, быстрый как молния, прыгал по палубе. Парализованные страхом, они упали на колени, крестясь и бормоча молитвы. Длинным ножом, найденным в камбузе, островитянин, не прерывая их молитв, заколол сначала одного, потом другого; тем же ножом он терпеливо стал перерезать канат из кокосовых волокон, наконец канат

с плеском упал в воду. Тогда он негромко крикнул, и шайка Брауна, таращившая тем временем глаза и напрягавшая слух в темноте, начала потихоньку тянуть за свой конец перлиня. Меньше чем через пять минут скрипнул рангоут; легкий толчок — и обе шхуны очутились рядом.

Не теряя ни секунды, команда Брауна перебралась на борт каботажного судна, захватив с собой ружья и большой запас амуниции. Их было шестнадцать человек — два беглых матроса, тощий дезертир с американского военного судна, два простоватых белокурых скандинава, мулат, учтивый китаец, исполнявший обязанности кока, — и всякий сброд, шныряющий, по Южным морям. Ничто их не тревожило; Браун подчинил их своей воле; он, Браун, не боявшийся виселицы, бежал теперь от призрака испанской тюрьмы. Он не дал им времени перенести достаточное количество провизии. Погода была тихая, воздух пропитан росой. Они ослабили снасти и поставили паруса; с берега дул сильный бриз, и сырые паруса даже не трепетали. Их старая шхуна, казалось, тихонько отделилась от украденного судна и вместе с черной массой берега безмолвно ускользнула в ночь.

Они отплыли. Браун подробно рассказал мне об

их плавании через проливы Макассара. Это унылая и страшная история. У них было мало пищи и воды, они остановили несколько туземных судов и с каждого кое-что получили. С похищенным судном Браун, конечно, не смел заглянуть ни в один порт. У него не было денег, чтобы хоть что-нибудь купить, не было документов, не было правдоподобного объяснения, которое еще раз помогло бы ему выпутаться. Арабский барк, под голландским флагом, застигнутый врасплох ночью у Поуло Лаут, где он стоял на якоре, уступил немного грязного риса, связку бананов и бочонок воды; в течение трех дней погода была туманная, и шквал с северо-востока гнал шхуну через Яванское море. Желтые мутные волны окатывали голодающую банду. Они видели почтовые пароходы, совершавшие свои обычные рейсы, они проходили мимо судов с заржавленными железными боками, лежавших на якоре в мелководье, ожидая перемены погоды или прилива. Английская канонерка, белая и нарядная, с двумя стройными мачтами, пересекла им однажды путь; в другой раз голландский корвет, с тяжелыми мачтами, появился за кормой, медленно пробираясь в тумане.

Незамеченные или не удостоившиеся внима-

ния, они ускользнули — усталая банда тощих изгнанников, обезумевших от голода и преследуемых страхом. Браун думал пробраться к Мадагаскару, где надеялся — и не без основания — продать шхуну в Таматаве, не нарываясь на вопросы, или, быть может, получить на нее фальшивые документы. Но раньше чем пускаться в долгое плавание через Индийский океан, нужно было раздобыть пищу и воду.

Возможно, что он слыхал о Патюзане, или же случайно увидел это слово, написанное маленькими буквами на карте; должно быть, он разыскал название большой деревни в верховьях реки в туземном государстве, — деревни совершенно беззащитной, лежащей далеко от морских путей и подводных кабелей. Такие вещи он, преследуя свои выгоды, проделывал и раньше, но теперь это было абсолютно необходимо, вопрос жизни и смерти — или, вернее, свободы. Свободы! Он был убежден, что раздобудет провизию — мясо, рис, сладкий картофель. Отощавшая банда предвкушала пир. Быть может, удастся нагрузить шхуну местными продуктами и — кто знает? — раздобыть звонкой монеты! Можно нажать на кое-кого из вождей и деревенских старшин. Он говорил мне, что скорее готов был поджаривать

им пятки, чем получить отказ. Я ему верю. Его люди тоже ему верили. Они не ликовали громко, ибо были молчаливой бандой, но как стая волков быстро приготовились к делу.

Погода ему благоприятствовала. Несколько дней штиля привели бы к страшным сценам на борту шхуны, но благодаря береговым и морским бризам Браун меньше чем через неделю миновал пролив Сунда и бросил якорь у устья Бату-Кринг, на расстоянии пистолетного выстрела от рыбачьей деревушки.

Четырнадцать человек уселись в баркас (баркас был большой, так как им пользовались для перевозки груза) и отправились вверх по течению реки, а двое остались охранять шхуну, причем пищи у них было достаточно, чтобы не умереть с голоду в течение десяти дней. Прилив и ветер помогли им, и однажды после полудня большая белая шлюпка под рваным парусом, подгоняемая морским бризом, подошла к Патюзану; четырнадцать отъявленных негодяев жадно смотрели вперед, держа пальцы на спуске дешевых ружей. Браун рассчитывал, что его прибытие вызовет ужас и изумление. Они подплыли как раз в то время, когда кончился прилив. За частоколом раджи не заметно было никаких признаков жиз-

ни; первые дома по обоим берегам реки казались покинутыми. Выше виднелись несколько каноэ, шедшие полным ходом. Браун был удивлен, увидев такой большой поселок. Царило глубокое молчание. Ветер стих; команда вытащила два весла и повела шлюпку к верховьям, предполагая высадиться в центре города, раньше чем жителям придет в голову оказать сопротивление.

Но, по-видимому, старшина рыбачьей деревушки у реки Бату-Кринг ухитрился своевременно послать предостережение. Когда шлюпка поравнялась с мечетью (построенной Дорамином; здание с коньками и разными украшениями из коралла), на площади толпился народ. Поднялся крик, и вверх по реке понесся звон гонгов. Где-то наверху выстрелили из двух маленьких медных шестифунтовых пушек, и ядро упало в воду, подняв сноп брызг, засверкавших в лучах солнца. Орущая толпа перед мечетью начала стрелять залпами; пули летели перпендикулярно течению реки. Баркас обстреливали с обоих берегов, и люди Брауна отвечали беглым огнем наобум. Весла были подняты.

На этой реке отлив при половодье наступает очень быстро, и шлюпка, находившаяся посреди реки, почти скрытая в дыму, пошла задним

ходом. На обоих берегах дым сгустился и ровной полосой тянулся ниже крыш, словно длинное облако, перерезающее склон горы. Воинственные крики, вибрирующий звон гонгов, глухая дробь барабанов, яростные вопли, треск выстрелов сливались в оглушительный шум; Браун был ошеломлен, но твердой рукой держался за румпель; им овладело бешенство и ненависть к этим людям, которые осмелились защищаться. Двое из его команды были ранены, и он увидел, что отступление отрезано несколькими лодками, отчалившими от частокола Тунку Алланга и остановившимися ниже на реке. Он насчитал шесть лодок, переполненных людьми.

Окруженный со всех сторон, он заметил вход в узкую речонку — ту самую, куда прыгнул Джим во время отлива. Сейчас вода стояла высоко. Введя туда шлюпку, он и его люди высадились и расположились на маленьком холме, на расстоянии девятисот ярдов от укрепления; теперь они возвышались над крепостью. Склоны холма были голые, но на вершине росло несколько деревьев. Они их срубили для бруствера и до наступления темноты укрепились на этой позиции: тем временем лодки раджи, соблюдая странным образом нейтралитет, оставались на реке. После захода

солнца запылали костры из валежника на берегу реки и между двойным рядом домов на суше, освещая черный рельеф крыш, группы стройных пальм, густые рощи фруктовых деревьев. Браун приказал поджечь траву вокруг своего лагеря; низкое кольцо из огненных язычков под медленно поднимающимся дымом быстро сбежало вниз по склонам холма; кое-где с громким, злобным треском загорались сухие кусты. Ружейным огнем удалось зажечь траву, но огонь угас у опушки леса и вдоль болотистого берега речонки. Полоска джунглей в сыром овраге между холмом и частоколом раджи приостановила с этой стороны огонь; с громким треском лопались стволы бамбука.

Небо было темное, бархатистое, усеянное звездами. Над почерневшей землей поднимались короткие ползучие завитки дыма; потом налетел ветер и развеял дым. Браун думал, что атака начнется, как только прилив даст возможность войти в речонку военным каноэ, отрезавшим ему отступление. Во всяком случае, он был уверен, что попытаются увести его баркас, который лежал у подножия холма, — темная, высокая масса на слабо отсвечивающей, мокрой грязевой гряде. Но лодки на реке ничего не предпринимали. За

частоколом и домами раджи Браун видел на воде их огни. Казалось, они стояли на якоре поперек реки. Виднелись и другие плавучие огни, перебирающиеся от одного берега к другому. Огни мерцали и на длинных стенах домов, тянувшихся вверх по берегу до поворота реки, и дальше тоже светились одинокие огоньки. Пламя больших костров, зажженных повсюду, освещало строения, крыши, черные сваи. Это было огромное поселение. Четырнадцать отчаянных авантюристов, лежавших плашмя за срубленными деревьями, подняли головы и поглядели вниз, на этот город, тянувшийся, казалось, на много миль к верховьям реки и кишевший тысячами разъяренных людей. Они не разговаривали друг с другом. Время от времени они слышали громкий крик, или издалека доносился отдельный выстрел. Но вокруг их позиции было тихо, темно. Казалось, о них забыли — как будто возбуждение, заставившее бодрствовать всех жителей, никакого отношения к ним не имело, словно они были уже мертвы.

39

Все события этой ночи имеют огромное значение, ибо создавшееся благодаря им положение оставалось неизменным до возвращения Джима. Джим отправился в глубь страны, где пробыл уже больше недели, и первыми военными действиями руководил Даин Уорис. Храбрый и сообразительный юноша (который умел сражаться, как сражаются белые люди) хотел немедленно покончить с этим делом, но не мог сладить со своим народом. У него не было престижа Джима и репутации человека непобедимого. Он не был видимым, осязаемым воплощением непреложной справедливости и неизменной победы. Он пользовался любовью, доверием, восхищением, — и все же он был одним из них, тогда как Джим был из иной страны. Кроме того, белый человек — олицетворение силы — был неуязвим, тогда как Даина Уориса могли убить.

Таковы были скрытые помыслы, руководившие старшинами города, которые решили собраться в форте Джима, чтобы обсудить происшествия, словно надеялись обрести мудрость и храбрость

в жилище отсутствующего белого. Шайке Брауна так повезло или она так хорошо стреляла, что с полдюжины защищавшихся были ранены. За ранеными, лежавшими на веранде, ухаживали их жены. Как только поднялась тревога, женщины и дети из нижней части города были отправлены в форт. Там распоряжалась Джюэл, расторопная и воодушевленная, встречая безусловное повиновение со стороны «народа Джима», — народа, который, покинув свой маленький поселок у стен форта, вошел в крепость, чтобы образовать гарнизон. Беженцы толпились вокруг Джюэл, — и все время до самой катастрофы она была настроена воинственно и мужественно.

Даин Уорис, узнав об опасности, немедленно отправился к Джюэл, ибо, да будет вам известно, Джим был единственным человеком в Патюзане, владевшим запасами пороха. Штейн, с которым он поддерживал тесную связь письмами, получил от голландского правительства специальное разрешение доставить в Патюзан пятьсот бочонков пороха. Пороховым погребом служила маленькая хижина из неотесанных бревен, и в отсутствие Джима ключ находился у девушки. На совете, состоявшемся в одиннадцать часов вечера в столовой Джима, она поддержала Уо-

риса, который советовал немедленно перейти в наступление. Мне рассказывали, что она встала во главе длинного стола, возле свободного кресла, где обычно сидел Джим, и произнесла воинственную, страстную речь, вызвавшую одобрительный шепот у собравшихся старшин.

Старого Дорамина, который больше года не показывался за пределами своего частокола, с большим трудом перенесли в форт. Конечно, он был здесь первым лицом. Совет был настроен отнюдь не миролюбиво, и слово старика было бы решающим; но мое мнение таково, что он, хорошо зная необузданную храбрость своего сына, не смел произнести это слово. Более осторожные слова одержали верх. Некий Хаджи Саман распространился на ту тему, что «эти неистовые и жестокие люди во всяком случае обрекли себя на смерть. Они утвердятся на своем холме и умрут с голоду, или попытаются пробраться к баркасу и будут застрелены из засады на другом берегу речонки, или же они прорвутся и убегут в лес, где и погибнут поодиночке».

Он доказывал, что хитростью можно уничтожить этих зловредных пришельцев, не подвергая себя опасностям боя. Его слова произвели сильное впечатление, в особенности на жителей

Патюзана. Их смутило то обстоятельство, что в решающий момент лодки раджи бездействовали. Представителем раджи на совете был хитроумный Кассим. Он говорил очень мало, слушал, улыбаясь, дружелюбный и непроницаемый. Во время заседания чуть ли не через каждые пять минут являлись лазутчики, докладывавшие о поведении пришельцев. Ходили преувеличенные, несуразные слухи: у устья реки стоит большое судно с пушками; на нем много людей, черных и белых, кровожадных на вид. Они прибудут на многочисленных шлюпках и уничтожат всех жителей. Предчувствие близкой, непонятной опасности овладело народом. Один раз началась паника во дворе, среди женщин: визг, беготня, заплакали дети. Хаджи Саман вышел, чтобы их успокоить. Потом часовой форта выстрелил во что-то, двигавшееся по реке, и чуть не убил одного из жителей, перевозившего в каноэ своих женщин, домашний скарб и двенадцать кур. Это вызвало еще большее смятение.

Между тем совещание в доме Джима продолжалось в присутствии девушки. Дорамин сидел с суровым лицом, грузный, глядел по очереди на говоривших и дышал медленно, словно бык. Он не говорил до последней минуты, когда Кас-

сим заявил, что лодки раджи будут отозваны, ибо нужны люди, чтобы защищать палисад его господина. Даин Уорис в присутствии отца не высказывал своего мнения, хотя девушка от имени Джима умоляла его говорить. Она предлагала ему людей Джима, — так сильно хотелось ей немедленно прогнать пришельцев. Бросив взгляд на Дорамина, сын только покачал головой.

Наконец совещание закончилось. Было решено поместить в ближайшем к речонке доме вооруженных людей, чтобы иметь возможность обстреливать баркас неприятеля. Баркас не уводить открыто; грабители на холме попробуют им воспользоваться, и тогда удастся большинство их пристрелить. Чтобы отрезать отступление тем, кому посчастливится бежать, и доступ новым пришельцам, Дорамин приказал Даину Уорису взять вооруженный отряд буги, спуститься вниз по реке и на расстоянии десяти миль от Патюзана раскинуть лагерь на берегу и преградить реку при помощи каноэ.

Я ни на секунду не допускаю мысли, что Дорамин боялся прибытия новых сил. Я считаю, что он руководствовался исключительно желанием не подвергать сына опасности. Чтобы не допустить вторжения в город, решено было на рассвете

приняться за постройку укрепления в конце улицы на левом берегу. Старый накхода объявил о своем намерении распоряжаться там лично. Под наблюдением девушки немедленно приступили к раздаче пороха, пуль и пистонов. Несколько человек были посланы в разные стороны за Джимом, точное местопребывание которого было неизвестно. Они отправились в путь на рассвете, но еще раньше Кассим ухитрился начать переговоры с осажденным Брауном.

Этот искусный дипломат и поверенный раджи, покинув форт, чтобы вернуться к своему господину, взял к себе в лодку Корнелиуса, который молча шнырял в толпе, запрудившей двор. У Кассима был свой собственный план, и Корнелиус был ему нужен как переводчик. И вот, под утро, Браун, размышлявший об отчаянном своем положении, услышал голос, доносившийся из болотистого, поросшего кустарником оврага, — голос дружелюбный, дрожащий, напряженный, просивший, по-английски, позволения взобраться на холм, чтобы передать очень важное поручение, при условии, если ему будет гарантирована полная безопасность.

Браун был вне себя от радости: если с ним разговаривают, значит, он не загнанный зверь.

Этот дружеский голос сразу рассеял страшное напряжение и настороженность, когда он, словно слепой, не знал, — с какой стороны ждать смертельного удара. Он сделал вид, будто не желает никаких переговоров. Голос объявил, что с Брауном говорит «белый человек. Бедный разорившийся старик, который живет здесь много лет». Туман, сырой и холодный, стлался по склонам холма. После недолгих переговоров Браун крикнул:

— Ну, лезьте сюда, но помните — один!

В действительности же, как сказал он мне, корчась от бешенства при воспоминании о своем бессилии, — это никакого значения не имело. На расстоянии нескольких шагов они ничего не могли разглядеть, и никакое предательство не могло ухудшить их положение. Мало-помалу начала вырисовываться фигура Корнелиуса; он был в своем будничном костюме — в рваной грязной рубахе и штанах, босой, в пробковом шлеме с поломанными полями. Поднимаясь к укрепленной позиции, он нерешительно останавливался и прислушивался.

— Идите! Вы в безопасности, — крикнул Браун, а люди его таращили глаза. Все их надежды внезапно сосредоточились на этом потрепан-

ном жалком человеке, который, в глубоком молчании, неуклюже перелез через ствол поваленного дерева и, дрожа, с кислой недоверчивой физиономией, разглядывал кучку бородатых, встревоженных, измученных бессонницей головорезов.

Получасовая конфиденциальная беседа с Корнелиусом раскрыла Брауну глаза на положение дел в Патюзане. Он тотчас же насторожился. Открывались перспективы — великие перспективы; но раньше чем обсуждать предложения Корнелиуса, он потребовал, чтобы на холм были доставлены, в виде гарантии, съестные припасы. Корнелиус удалился, медленно спустившись по склону, обращенному ко дворцу раджи, а немного погодя несколько слуг Тунку Алланга явились со скудными порциями риса, красного стручкового перца и сушеной рыбы. Это было несравненно лучше, чем ничего. Позднее вернулся Корнелиус в сопровождении Кассима, обутого в сандалии и до лодыжек закутанного в темно-синее одеяние. Вид у Кассима был добродушный и доверчивый. Он осторожно пожал Брауну руку, и все трое уселись в сторонке и начали переговоры. Люди Брауна, ободрившись, похлопывали друг друга по спине и, многозначительно поглядывая на своего

капитана, занялись приготовлениями к стряпне.

Кассим очень не любил Дорамина и его буги, но еще сильнее ненавидел он новый порядок вещей. Ему пришло в голову, что эти белые вместе с приверженцами раджи могут атаковать и разбить буги до возвращения Джима. Тогда, — рассуждал он, — все жители поселка отступятся от Джима, и господству белого человека, защищавшего бедный народ, придет конец. Затем можно будет разделаться с новыми союзниками. Друзья им не нужны. Кассим в совершенстве умел разбираться в людях, навидался белых людей на своем веку и понимал, что эти пришельцы были изгнанниками, не имеющими родины.

Браун сохранял вид суровый и непроницаемый. Когда он услышал голос Корнелиуса, просившего разрешения приблизиться, у него появилась только надежда на возможность удрать. Меньше чем через полчаса другие мысли зародились в его голове. Побуждаемый крайней необходимостью, он явился сюда, чтобы украсть съестных припасов, а быть может, и несколько тонн каучука или камеди, горсточку долларов, — и вот он попал в сети смертельной опасности. Теперь, выслушав предложения Кассима, он стал подумывать о том, чтобы украсть всю страну. Какой-то проклятый

парень, видимо, уже сделал что-то в этом роде — и совсем один. Но вряд ли он добился полного успеха. Быть может, они возьмутся за дело вдвоем — выжмут из страны все, что она может дать, а затем скроются.

Пока шли переговоры с Кассимом, Браун узнал, что ходят слухи, будто он оставил у устья реки большой корабль с многочисленной командой. Кассим настойчиво просил его, не откладывая, провести корабль со всеми пушками и людьми к верховьям реки и предоставить его к услугам раджи. Браун сделал вид, будто соглашается; во время переговоров обе стороны держались недоверчиво. Трижды в течение утра вежливый и энергичный Кассим спускался вниз посоветоваться с раджой и снова деловито поднимался на холм. Договариваясь с ним, Браун со злобной радостью думал о своей жалкой шхуне с кучей грязи вместо товаров в трюме, фигурировавшей как вооруженное судно, и представлял себе китайца и хромого поселенца из Левуки, олицетворявших весь ее многочисленный экипаж.

После полудня он получил новый запас провианта и обещание внести деньги; его людей снабдили циновками для шалашей. Они улеглись на землю и захрапели, защищенные от палящего

солнца, но Браун, у всех на виду, сидел на одном из срубленных деревьев и упивался видом города и реки. Здесь было много добычи. Корнелиус, расположившийся в лагере как у себя дома, бормотал у него под ухом, объясняя местоположение, давая советы, изображая по-своему характер Джима и комментируя события последних трех лет. Браун равнодушно глядел по сторонам, но внимательно прислушивался к каждому слову и никак не мог себе уяснить, что за человек этот Джим.

— Как его имя? Джим! Джим! Этого мало.

— Здесь его называют Тюан-Джим, — презрительно сказал Корнелиус. — Все равно что Лорд Джим.

— Кто он такой? Откуда он взялся? — осведомился Браун. — Что это за человек? Он англичанин?

— Да, да, он англичанин. Я тоже англичанин. Из Малакки. Он — дурак. Вам нужно только убить его, и тогда вы будете здесь правителем. Ему принадлежит все, — объяснял Корнелиус.

— Похоже на то, что скоро ему придется кое с кем поделиться, — вполголоса произнес Браун.

— Нет! Надо его убить при первом же удобном случае, а тогда вы можете делать все, что вам угодно, — с жаром настаивал Корнелиус. — Я прожил здесь много лет и сейчас даю вам друже-

ский совет.

В таких разговорах и в созерцании Патюзана, который он наметил своей добычей, Браун провел большую часть дня, пока отдыхали его люди. В тот же день каноэ Даина Уориса одно за другим проскользнули вдоль противоположного берега и направились вниз по течению, чтобы отрезать ему путь к морю. Об этом Браун не знал, а Кассим, поднявшись на холм за час до захода солнца, позаботился о том, чтобы он оставался в неведении. Кассим хотел, чтобы судно белого человека поднялось вверх по течению реки, и боялся, что такая новость устрашит Брауна. Он настойчиво уговаривал Брауна отдать «приказ» и предлагал для этой цели верного посланца, который, ввиду столь секретного поручения (таково было его объяснение), сушей доберется до устья реки и доставит «приказ» на борт судна. Поразмыслив, Браун счел целесообразным вырвать листок из своей записной книжки, на котором написал очень просто:

«Нам везет. Крупное дело. Задержите этого человека».

Глуповатый юноша, выбранный для этой цели Кассимом, исполнил возложенное на него поручение и в награду был брошен вниз голо-

вой в пустой трюм шхуны; бывший поселенец из Левуки и китаец поспешили закрыть люки. Какова была его дальнейшая судьба, Браун мне не сказал.

40

Браун намеревался выиграть время, водя за нос дипломата Кассима. Он невольно думал, что хорошее дельце можно обделать, работая только совместно с «тем белым». Он не мог себе представить, чтобы такой парень (несомненно, чертовски смышленый, раз ему удалось подчинить всех туземцев) отказался от помощи, которая уничтожила бы необходимость в медленных, осторожных и рискованных плутнях — единственно возможной линии поведения для человека, действующего в одиночку. Он — Браун — предложит ему свою помощь. Ни один человек не станет колебаться. Все дело в том, чтобы друг друга понять. Конечно, они поделят добычу. Мысль о том, что у него под рукой есть форт, — настоящий форт с артиллерией (это он узнал от Корнелиуса), — приводила его в волнение. Только бы туда попасть, а тогда… Он предложит самые умеренные требования. Но и не слишком скромные. Парень был, видимо, не дурак. Они будут работать как братья, пока… пока не придет время для ссоры и выстрела, который покон-

чит все счеты. С мрачным нетерпением ожидая поживы, он хотел немедленно переговорить с этим человеком. Страна, казалось, была уже в его руках — он мог растерзать ее, выжать все соки и отшвырнуть. Тем временем следовало дурачить Кассима — во-первых, для того, чтобы получать провизию, а во-вторых, чтобы обеспечить себе на худой конец поддержку. Но главное — получать каждый день провиант. Кроме того, он не прочь был начать сражение, поддерживая раджу, и проучить народ, встретивший его выстрелами. Жажда битвы овладела им.

Жаль, что я не могу передать вам эту часть истории (которую я слышал от Брауна) его же собственными словами. В прерывистых, страстных речах этого человека, открывшего мне свои мысли, когда рука смерти сдавила ему горло, сквозила ничем не прикрытая жестокость, страшная мстительная злоба к своему прошлому и слепая вера в правоту своей воли, восставшей против всего человечества. Подобное чувство руководит главарем шайки головорезов, когда он с гордостью называет себя «бичом божиим». Несомненно, заложенная в нем безрассудная жестокость разгоралась от неудач, ошибок, недавних лишений и того отчаянного положения, в каком он очутил-

ся; но замечательнее всего то, что, размышляя о предательском союзе, порешив мысленно судьбу белого человека и бесцеремонно сговариваясь с Кассимом, он в действительности желал — едва ли не вопреки самому себе — разрушить этот город джунглей, который гнал его прочь, разрушить и усеять его трупами, окутать пламенем.

Прислушиваясь к его злобному прерывающемуся голосу, я представлял себе, как он смотрел с холма на город, мечтая об убийстве и грабеже. Участок, прилегавший к речонке, казался покинутым, но в действительности в каждом доме скрывались вооруженные, насторожившиеся люди. Вдруг за полосой пустыря, кое-где поросшего низким густым кустарником, усеянного кучами мусора и выбоинами, перерезанного тропинками, показался человек, казавшийся очень маленьким; он направлялся к концу улицы, шагая между темными безжизненными строениями с закрытыми ставнями. Быть может, один из жителей, бежавших на другой берег реки, возвращался за каким-нибудь предметом домашнего обихода. Видимо, он считал себя в полной безопасности на таком расстоянии от холма, отделенного речонкой. За маленьким наспех возведенным частоколом в конце улицы

находились его друзья. Он шел не торопясь.

Браун его заметил и тотчас же подозвал к себе янки-дезертира, который был, так сказать, его помощником. Тощий, развинченный парень с тупым лицом выступил вперед, лениво волоча свое ружье. Когда он понял, что от него требуется, злобная горделивая улыбка обнажила его зубы, провела две глубокие складки на желтых, словно обтянутых пергаментом щеках. Он гордился своей репутацией меткого стрелка. Опустившись на одно колено, он прицелился сквозь несрезанные ветви поваленного дерева, выстрелил и тотчас же встал, чтоб посмотреть. Человек за рекой повернул голову на звук выстрела, сделал еще шаг, приостановился и вдруг упал на четвереньки. В молчании, последовавшем за громким выстрелом, меткий стрелок, не сводя глаз со своей жертвы, высказал догадку, что «здоровье этого парня не будет больше тревожить его друзей».

Руки и ноги упавшего человека судорожно двигались, словно он пытался бежать на четвереньках. На пустыре поднялся многоголосый вопль отчаяния и изумления. Человек ткнулся ничком в песок и больше не шевелился.

— Это им объяснило, на что мы способны, — сказал мне Браун. — В них вселился страх перед

внезапной смертью. Этого-то мы и хотели. Их было двести против одного, а теперь они могли кое о чем поразмыслить ночью. Ни один из них не имел представления о том, что ружье может бить на такое расстояние. Этот парнишка от раджи скатился с холма, а глаза у него чуть на лоб не вылезли.

Говоря это, он дрожащей рукой пытался стереть пену, выступившую на посиневших губах.

— Двести против одного, двести против одного! Нужно было вселить в них ужас… ужас, говорю вам!

У него самого глаза чуть не вылезли из орбит. Он откинулся назад, ловя воздух костлявыми пальцами, потом снова сел, сгорбленный и волосатый, искоса поглядывая на меня, как человек-зверь из народных сказок; в мучительной агонии он раскрывал рот и не сразу заговорил после этого припадка. Такое зрелище не забывается.

Чтобы привлечь огонь противника и определить, где устроена в кустах вдоль речонки засада, Браун приказал туземцу Соломоновых островов спуститься к лодке и принести весло: так вы послали бы собаку за палкой, брошенной в воду. Этот маневр оказался неудачным: ни одного выстрела не было сделано, и парень вернулся

назад.

— Там нет никого, — высказал свое мнение один из шайки.

— Это неестественно, — заметил янки.

Кассим к тому времени ушел, находясь под впечатлением всего происшедшего, довольный, но озабоченный. Продолжая свою предательскую политику, он отправил посла к Даину Уорису, советуя ему готовиться к прибытию судна белых людей, которое, по полученным сведениям, должно вскоре подняться по реке. Он преуменьшил размеры воображаемого корабля и требовал, чтобы Даин Уорис его задержал. Эта двойная игра соответствовала намерению Кассима помешать объединению воинов буги и втянуть их в бой, чтобы ослабить их силы. С другой стороны, он в тот же день уведомил вождей буги, собравшихся в городе, о том, что уговаривает пришельцев удалиться; в форт он обращался с настойчивыми требованиями выдать порох для людей раджи. Много времени прошло с тех пор, как Тунку Алланг имел порох для двух десятков старых мушкетов, покрывавшихся ржавчиной в аудиенц-зале.

Открытые переговоры между холмом и дворцом привели людей в смущение. Стали толковать

о том, что пора пристать к той или иной партии. Скоро начнется кровопролитие, и многих ждут великие беды. В тот вечер социальная машина упорядоченной, мирной жизни, когда каждый был уверен в завтрашнем дне, — здание, возведенное руками Джима, — казалось, вот-вот должна была рухнуть и превратиться в развалины, обагренные кровью. Беднейшие жители бежали в джунгли или к верховьям реки. Немало людей состоятельных сочли необходимым засвидетельствовать свое почтение радже. Юноши, состоявшие при радже, грубо издевались над ними. Тунку Алланг, чуть не рехнувшийся от страха и колебаний, или угрюмо молчал, или осыпал их бранью за то, что они явились к нему с пустыми руками; они ушли, страшно испуганные. Только старый Дорамин объединял своих соплеменников и неумолимо придерживался своей тактики. Восседая в высоком кресле за импровизированным частоколом, он низким, заглушенным голосом отдавал приказания, невозмутимый, словно глухой, среди всех тревожных толков.

Спустились сумерки, скрыв труп убитого, который лежал, раскинув руки, как будто пригвожденный к земле; ночь нависла над Патюзаном, заливая землю сверканием бесчисленных миров.

Снова в незащищенной части города запылали вдоль единственной улицы огромные костры; отблески света падали на прямые линии крыш, на кусок стены из переплетенных ветвей; кое-где освещена была целая хижина на черных столбах. И весь этот ряд домов в отсветах мигающего пламени, казалось, предательски уползал к верховьям реки, во мрак, сгустившийся в сердце страны. Великое молчание, в котором плясало пламя костров, простерлось до темного подножия холма; но на другом берегу реки, где пылал перед фортом только один костер, раздавался все усиливающийся шум, словно топот толпы, гул многих голосов или грохот бесконечно далекого водопада.

Как признался мне Браун, он сидел, повернувшись спиной к своим людям, и созерцал это зрелище — и вдруг, несмотря на всю его ненависть и несокрушимую веру в себя, его охватило такое чувство, будто он наконец налетел и ударился головой о каменную стену. Если бы его баркас был на воде, Браун, кажется, попытался бы улизнуть, рискнул бы подвергнуться преследованию на реке или умереть голодной смертью на море. Очень сомнительно, удалось ли бы ему скрыться. Как бы то ни было, но этой попытки он

не сделал. На секунду у него мелькнула мысль ворваться в город, но он прекрасно понимал, что в конце концов попадет на освещенную улицу, где всех его людей, как собак, пристрелят из домов. Врагов было двести против одного, думал он, а его люди, примостившиеся возле двух куч тлеющей золы, жевали последние бананы и поджаривали последние остатки ямса, полученного благодаря дипломатии Кассима. Возле них сидел и дремал Корнелиус.

Вдруг один из белых вспомнил, что в баркасе остался табак, и решил пойти за ним; его подбодряло, что туземец Соломоновых островов вернулся из этого путешествия невредимым. Остальные стряхнули с себя уныние. Браун, к которому обратились за разрешением, презрительно бросил:

— Ступай, черт с тобой!

Он считал, что нет никакой опасности спуститься в темноте к речонке. Парень перешагнул через ствол дерева и скрылся. Через секунду они услышали, как он влез в баркас, а затем снова выкарабкался на песок.

— Достал! — крикнул он.

За этим последовал выстрел у самого подножия холма.

— Меня ранили! — заорал парень. — Слышите, меня ранили!

И тотчас же на холме стали палить из ружей. Словно маленький вулкан, холм выбрасывал в ночь огонь и дым, а когда Браун и янки проклятиями и тумаками положили конец вызванной паникой стрельбе, с речонки донесся глубокий, протяжный стон; за ним последовала раздирающая сердце жалоба, от которой, словно от яда, кровь стыла в жилах. Затем где-то за речонкой сильный голос отчетливо произнес непонятные слова.

— Пусть никто не стреляет! — крикнул Браун. — Что это значит?

— Слышите, вы, на холме? Слышите? Слышите? — трижды воззвал голос.

Корнелиус перевел и заторопил с ответом.

— Говорите! — закричал Браун. — Мы слушаем!

Тогда человек, где-то у края пустыря, звучным голосом глашатая высокопарно объявил, что между племенем буги, живущим в Патюзане, и белыми людьми на холме и их союзниками не может быть ни разговоров, ни доверия, ни сочувствия, ни мира. Зашелестели кусты; раздался выстрел, сделанный наобум.

— Проклятие! — пробормотал янки, с досадой ударяя о землю прикладом ружья.

Корнелиус перевел. Раненый, лежавший у подножия, выкрикнул два раза. — Перенесите меня на холм! Поднимите меня! — и стал жалобно стонать. Пока он спускался по темному склону, а затем возился на дне баркаса, он не подвергался опасности. Найдя табак, он, видимо, обрадовался, забыл обо всем и, вскочив на борт белого баркаса, лежавшего высоко на сухом берегу, выставил себя напоказ; речонка в этом месте имела не больше семи ярдов в ширину, и случилось так, что в этот момент на другом берегу притаился в кустах человек.

Это был буги из Тондано, совсем недавно приехавший в Патюзан, родственник человека, застреленного в тот день. Удачный выстрел из дальнобойного ружья и в самом деле устрашил жителей поселка. Человек, считавший себя в безопасности, был убит на глазах у своих друзей, с улыбкой на губах упал на землю, и такая жестокость пробудила в них горькую злобу. Родственник убитого Си Лапа находился в то время с Дорамином за частоколом на расстоянии нескольких саженей, не больше. Вы, знакомый с этим народом, должны согласиться, что парень

проявил необычайное мужество, вызвавшись отнести — один, в темноте — весть пришельцам на холме. Ползком пробравшись через открытый пустырь, он свернул налево и очутился как раз против лодки. Он вздрогнул, услыхав крик человека, отправившегося за табаком. Присев, он вскинул ружье на плечо, и, когда тот выпрямился, спустил курок и всадил бедняге три разрывных пули в живот. Затем, припав к земле, он прикинулся мертвым, а град свинцовых пуль со свистом прорезал кусты по правую руку от него; после этого он, согнувшись вдвое и все время держась под прикрытием, произнес свою речь. Выкрикнув последнее слово, он отскочил в сторону, снова припал на секунду к земле, и, целый и невредимый, вернулся к домам, завоевав в ту ночь такую славу, что и при детях его она не угаснет.

А на холме жалкая банда следила, как угасали две маленькие кучки золы. Понурив головы, сжав губы, с опущенными глазами, люди сидели на земле, прислушиваясь к стонам товарища внизу. Он был сильный человек и мучился перед смертью; громкие болезненные его стоны постепенно замирали. Иногда он вскрикивал, а потом, после паузы, снова начинал бормотать в бреду

длинные и непонятные жалобы. Ни на секунду он не умолкал.

— Что толку? — невозмутимо заметил Браун, увидев, что янки, бормоча проклятия, собирается спуститься с холма.

— Ну, ладно, — согласился дезертир, неохотно возвращаясь. — Раненому не поможешь. Но его крики заставят остальных призадуматься, капитан.

— Воды! — крикнул раненый удивительно громко и отчетливо, потом снова застонал.

— Да, воды. Вода скоро положит этому конец, — пробормотал тот про себя. — Много будет воды. Прилив начался.

Наконец и вода поднялась в речонке, смолкли жалобы и стоны, и близок был рассвет, когда Браун, — подперев ладонью подбородок, он смотрел на Патюзан, словно на неприступную гору, — услышал короткий выстрел из медной шестифунтовой пушки где-то далеко в поселке.

— Что это такое? — спросил он Корнелиуса, вертевшегося подле него.

Корнелиус прислушался. Заглушенный шум пронесся над поселком вниз по реке. Раздался бой большого барабана, другие отвечали ему вибрирующим гудением. Крохотные огоньки за-

мелькали в темной половине поселка, а там, где горели костры, поднялся низкий и протяжный гул голосов.

— Он вернулся, — сказал Корнелиус.

— Как? Уже? Вы уверены? — спросил Браун.

— Да, да! Уверен. Прислушайтесь к этому гулу.

— Почему они подняли такой шум? — осведомился Браун.

— От радости! — фыркнул Корнелиус. — Он здесь — важная особа, а все-таки знает он не больше, чем ребенок, вот они и шумят, чтобы доставить ему удовольствие, так как ничего иного придумать не могут.

— Послушайте, — сказал Браун, — как к нему пробраться?

— Он сам к вам придет, — объявил Корнелиус.

— Что вы хотите сказать? Придет сюда, словно выйдет на прогулку?

Корнелиус энергично закивал в темноте.

— Да. Он придет прямо сюда и будет с вами говорить. Он попросту дурак. Увидите, какой он дурак.

Браун не верил.

— Увидите, увидите, — повторял Корнелиус. — Он не боится — ничего не боится. Он придет и прикажет вам оставить его народ в покое. Все

должны оставить в покое его народ. Он — словно малое дитя. Он к вам придет.

Увы, он хорошо знал Джима — этот «подлый хорек», как называл его Браун.

— Да, конечно, — продолжал он с жаром, — а потом, капитан, вы прикажите тому высокому парню с ружьем пристрелить его. Вы только убейте его, а тогда все будут так испуганы, что вы можете делать с ними все, что вам угодно… получите все, что вам нужно… уйдете, когда вздумается… Ха-ха-ха! Славно…

Он чуть не прыгал от нетерпения, а Браун, оглянувшись на него через плечо, видел в безжалостных лучах рассвета своих людей, промокших от росы: они сидели между кучками холодной золы и мусора, угрюмые, подавленные, в лохмотьях.

41

До последней минуты, пока не разлился дневной свет, ярко пылали на западном берегу костры; а потом Браун увидел среди красочных фигур, неподвижно стоявших между передними домами, человека в европейском костюме и шлеме; он был весь в белом.

— Вот он; смотрите, смотрите! — возбужденно крикнул Корнелиус.

Все люди Брауна вскочили и, столпившись за его спиной, таращили тусклые глаза. Группа темнолицых людей в ярких костюмах и человек в белом, стоявший посредине, глядели на холм. Браун видел, как поднимались обнаженные руки, чтобы заслонить глаза от солнца, видел, как туземцы на что-то указывали. Что было ему делать? Он осмотрелся по сторонам: всюду вставали перед ним леса, стеной окружившие арену неравного боя. Еще раз взглянул он на своих людей. Презрение, усталость, жажда жизни, желание еще раз попытать счастье, поискать другой могилы — теснились в его груди. По очертаниям фигуры ему показалось, что белый человек, опи-

равшийся на мощь всей страны, рассматривал его позицию в бинокль. Браун вскочил на бревно и поднял руки ладонями наружу. Красочная группа сомкнулась вокруг белого человека, и он не сразу от нее отделился; наконец он один медленно пошел вперед. Браун стоял на бревне до тех пор, пока Джим, то появляясь, то скрываясь за колючими кустами, не подошел почти к самой речонке; тогда Браун спрыгнул с бревна и стал спускаться ему навстречу.

Думаю, они встретились с ним неподалеку от того места, а может быть, как раз там, где Джим сделал второй отчаянный прыжок — прыжок, после которого он вошел в жизнь Патюзана, завоевав доверие и любовь народа. Разделенные рекой, они, раньше чем заговорить, пристально всматривались, стараясь понять друг друга. Должно быть, их антагонизм сказывался в тех взглядах, какими они обменивались. Я знаю, что Браун сразу возненавидел Джима. Какие бы надежды он ни питал, они тотчас же развеялись. Не такого человека думал он увидеть. За это он его возненавидел; в своей клетчатой фланелевой рубахе с засученными рукавами, седобородый, с осунувшимся загорелым лицом, он мысленно проклинал молодость и уверенность Джима, его

ясные глаза и невозмутимый вид. Этот парень здорово его опередил! Он не походил на человека, который нуждается в помощи. На его стороне были все преимущества — власть, безопасность, могущество; на его стороне была сокрушающая сила! Он не был голоден, не приходил в отчаяние и, видимо, ничуть не боялся. Даже в аккуратном костюме Джима, начиная с его белого шлема и кончая парусиновыми гетрами и белыми ботинками, было что-то раздражавшее Брауна, ибо эту самую аккуратность он презирал и осмеивал чуть ли не с первых же дней своей жизни.

— Кто вы такой? — спросил наконец Джим обычным своим голосом.

— Моя фамилия Браун, — громко ответил тот. — Капитан Браун. А ваша?

Джим, помолчав, продолжал спокойно, словно ничего не слышал.

— Что привело вас сюда?

— Хотите знать? — с горечью отозвался Браун. — Ответить нетрудно: голод. А вас?

— Тут парень вздрогнул, — сообщил Браун, передавая мне начало странного разговора между этими двумя людьми, разделенными только тинистым руслом речонки, но стоящими на противоположных полюсах миросозерцания,

свойственного человечеству. — Парень вздрогнул и густо покраснел. Должно быть, считал себя слишком важной особой, чтобы отвечать на вопросы. Я ему сказал, что если он смотрит на меня, как на мертвого, с которым можно не стесняться, то и его дела обстоят ничуть не лучше. Один из моих парней, там на холме, все время держит его под прицелом и ждет только моего сигнала. Возмущаться этим нечего. Ведь он пришел сюда по доброй воле.

«Условимся, — сказал я, — что мы оба мертвые, а потому будем говорить, как равные. Все мы равны перед смертью».

— Я признал, что попался, словно крыса, в ловушку, но нас сюда загнали, и даже загнанная крыса может кусаться. Он сейчас же поймал меня на слове:

«Нет, не может, если не подходить к ловушке, пока крыса не издохнет».

— Я сказал ему, что такая игра хороша для здешних его друзей, но ему не подобает обходиться так даже с крысой. Да, я хотел с ним переговорить. Не жизнь у него вымаливать, — нет! Мои товарищи… ну что ж, они такие же люди, как и он. Мы хотим только, чтобы он пришел, во имя всех чертей, и так или иначе порешил дело.

— Проклятье! — сказал я, а он стоял неподвижно, как столб. — Не станете же вы приходить сюда каждый день и смотреть в бинокль, кто из нас еще держится на ногах. Послушайте — или ведите сюда своих людей, или дайте нам отсюда выбраться и умереть с голоду в открытом море. Ведь и вы когда-то были белым, несмотря на все ваши разглагольствования о том, что это ваш народ и вы один из них. Не так ли? А что вы, черт возьми, за это получаете? Что вы тут нашли такого драгоценного? А? Вы, может быть, не хотите, чтобы мы спустились с холма? Вас двести против одного. Вы не хотите, чтобы мы сошлись на открытом месте. А я вам обещаю — мы вас заставим попрыгать, раньше чем вы с нами покончите. Вы тут толкуете о том, что нечестно нападать на безобидный народ. Какое мне дело до того, что они — народ безобидный, когда я зря подыхаю с голоду? Но я не трус! Не будьте же и вы трусом. Ведите их сюда, или, тысяча чертей, мы еще перебьем добрую половину этих безобидных людей и они отправятся на тот свет вместе с нами!

Он был ужасен, когда передавал мне этот разговор: измученный скелет на жалкой кровати в ветхой хижине; он сидел скрючившись и изредка на меня поглядывал с видом злобно-торжеству-

ющим.

— Вот что я ему сказал… Я знал, что нужно говорить, — снова начал он слабым голосом, но потом воодушевился, подогреваемый гневом. — Мы не намерены были бежать в леса и бродить там, словно живые скелеты, падая один за другим… Добыча для муравьев, которые принялись бы за нас, не дожидаясь конца. О нет!

«Вы не заслуживаете лучшей участи», — сказал он.

— А вы чего заслуживаете? — крикнул я ему через речонку. — Вы только и делаете, что толкуете о своей ответственности, о невинных людях, о проклятом своем долге. Знаете ли вы обо мне больше, чем я знаю о вас? Я пришел сюда за жратвой. Слышите, за жратвой, чтобы набить брюхо! А вы зачем сюда пришли! Что вам было нужно, когда вы сюда пришли? Нам от вас ничего не нужно: дайте нам только сражение или возможность вернуться туда, откуда мы пришли…

«Я сразился бы с вами сейчас», — сказал он, покручивая свои усики.

— А я бы дал вам меня пристрелить — и с удовольствием, — отвечал я. — Не все ли мне равно, где умирать? Мне чертовски не везет. Надоело! Но это было бы слишком легко. Со мной товарищи,

а я, ей-богу, не из таковских, чтобы выпутаться самому, а их оставить в проклятой ловушке.

С минуту он размышлял, а потом пожелал узнать, что такое я сделал («там, — сказал он, кивнув головой в сторону реки»), чтобы так отощать.

— Разве мы встретились для того, чтобы рассказывать друг другу свою историю? — спросил я. — Может быть, вы начнете. Нет? Ну что ж, признаться, я никакого желания не имею слушать. Оставьте ее при себе. Я знаю, что она ничуть не лучше моей. Я жил — то же делали и вы, хотя и рассуждаете так, словно вы один из тех, у кого есть крылья, и вы можете не ступать по грязной земле. Да, земля грязная. Никаких крыльев у меня нет. Я здесь потому, что один раз в жизни я испугался. Хотите знать чего? Тюрьмы! Вот что меня пугает, и вы можете принять это к сведению, если хотите. Я не спрашиваю, что испугало вас и загнало в эту проклятую дыру, где вы как будто недурно поживились. Такова ваша судьба, а мне суждено клянчить, чтобы меня пристрелили или вытолкали отсюда, предоставив умирать с голоду, где мне вздумается…

Его расслабленное тело трепетало, он был охвачен такой страстной, такой торжествующей

злобой, что сама смерть, подстерегавшая его в этой хижине, как будто отступила. Призрак его безумного себялюбия поднимался над лохмотьями и нищетой, словно над ужасами могилы. Невозможно угадать, много ли он лгал тогда Джиму, лгал теперь мне, лгал себе самому. Тщеславие мрачно подшучивает над нашей памятью, и необходимо притворство, чтобы оживить подлинную страсть. Стоя под личиной нищего у врат иного мира, он давал этому миру пощечину, оплевывал его, сокрушая безграничным своим гневом и возмущением, таившимися во всех его злодеяниях. Он одолел всех — мужчин, женщин, дикарей, торговцев, бродяг, миссионеров, — одолел и Джима. Я не завидовал этому триумфу in articulo mortis,[29] не завидовал этой почти посмертной иллюзии, будто он растоптал всю землю. Пока он хвастался, отвратительно корчась от боли, я невольно вспоминал забавные толки, какие ходили о нем во времена его расцвета, когда в течение года судно «Джентльмена Брауна» по многу дней кружило у островка, окаймленного зеленью, где на белом берегу виднелась черная точка — дом миссии; сходя на берег, «Джентльмен Браун» старался

[29] Примечания: 29
в момент смерти (лат.)

очаровать романтичную женщину, которая не могла ужиться в Меланезии, а ее мужу казалось, что тот подает надежды обратиться на путь истинный. Рассказывали, что бедняга миссионер выражал намерение склонить «капитана Брауна к лучшей жизни».

«Спасти его во славу божию, — как выразился один косоглазый бродяга, — чтобы показать там, на небе, что за птица такая — торговый шкипер Тихого океана».

И этот же Браун убежал с умирающей женщиной и проливал слезы над ее телом.

— Вел себя, словно ребенок, — не уставал повторять его штурман. — И пусть меня заколотят до смерти хилые канаки, если я понимаю, в чем тут загвоздка. Знаете ли, джентльмены, когда он доставил ее на борт, ей было так плохо, что она его уже не узнавала: лежит на спине в его каюте и таращит глаза на бимс; а глаза у нее страшно блестели. Потом умерла. Должно быть, от скверной лихорадки…

Я вспомнил все эти рассказы, когда он, вытирая посиневшей рукой спутанную бороду, говорил мне, корчась на своем зловонном ложе, как он кружил, нащупывал и нащупал уязвимое местечко у этого проклятого чистюли и недотроги. Он

соглашался, что Джима нельзя было запугать, но ему открывался прямой путь в душу Джима — в душу, «которая не стоила и двух пенсов», — открывалась возможность «вытряхнуть ее и вывернуть наизнанку».

42

Думаю, он мог только глядеть на этот путь. Кажется, то, что он увидел, сбивало его с толку, ибо он не раз прерывал свой рассказ восклицаниями:

— Он едва не ускользнул от меня. Я не мог его раскусить. Кто он был такой?

И, дико поглядев на меня, снова начинал рассказывать, торжествующий и насмешливый. Теперь этот разговор двух людей, разделенных речонкой, кажется мне самой странной дуэлью, на которую хладнокровно взирала судьба, зная об ее исходе. Нет, он не вывернул наизнанку душу Джима, но я уверен, что духу, непостижимому для Брауна, суждено было вкусить всю горечь такого состязания. Лазутчики того мира, от какого он отказался, преследовали его в изгнании, — белые люди из «внешнего мира», где он не считал себя достойным жить. Все это его настигло — угроза, потрясение, опасность, грозившая его работе. Думаю, именно это грустное чувство — не то злобное, не то покорное, окрашивающее те немногие слова, какие произносил Джим, сбило с толку

Брауна, мешая ему разгадать этого человека. Иные великие люди обязаны своим могуществом умению обнаруживать в тех, кого они избрали своим орудием, именно те качества, какие могут способствовать их целям; и Браун, словно он и в самом деле был велик, обладал дьявольским даром выискивать самое уязвимое местечко у своих жертв.

Он признался мне, что Джим был не из тех, кого можно умилостивить раболепством, и соответственно этому он постарался прикинуться человеком, который, не впадая в уныние, переносит неудачи, хулу и катастрофу. Ввозить контрабандой ружья — преступление небольшое! — заявил он Джиму. Что же касается прибытия в Патюзан, — то кто посмеет сказать, что он приехал сюда не за милостыней? Проклятое население открыло по нем стрельбу с обоих берегов, не потрудившись ни о чем осведомиться. На этом пункте он дерзко настаивал, тогда как в действительности энергичное выступление Даина Уориса предотвратило величайшие бедствия, ибо Браун заявил мне, что, увидев такое большое селение, он тотчас же решил начать стрельбу в обе стороны, как только высадится на берег, — убивать каждое живое существо, какое попадется

ему на глаза, чтобы таким путем устрашить жителей. Неравенство сил было столь велико, что это был единственный способ добиться цели, — как доказывал он мне между приступами кашля. Но Джиму он этого не сказал. Что же касается голода и лишений, какие они перенесли, то это было очень реально, — достаточно было взглянуть на его шайку.

Он пронзительно свистнул, и все его люди выстроились в ряд на бревнах, так что Джим мог их видеть. А убийство человека… ну что ж — его убили… но разве это не война, война кровавая, из-за угла? А дело было обделано чисто: пуля попала ему в грудь, — не то что тот бедняга, который лежит сейчас в речонке. Шесть часов они слушали, как он умирал с пулями в животе. Как бы то ни было — жизнь за жизнь…

Все это было сказано с видом усталым и вызывающим, словно человек, вечно пришпориваемый неудачами, перестал заботиться о том, куда бежит. Он спросил Джима с какой-то безрассудной откровенностью, неужели он, Джим, говоря откровенно, не понимает, что если дошло до того, чтобы «спасти свою жизнь в такой дыре, то уже все равно, сколько еще погибнет — трое, тридцать, триста человек». Казалось, будто какой-то

злой дух нашептывал ему эти слова!

— Я — таки заставил его нахмуриться, — похвастался Браун. — Скоро он перестал разыгрывать из себя праведника. Стоит — и нечего ему сказать… мрачный как туча… и смотрит — не на меня, в землю.

Он спросил Джима, неужели тот за всю свою жизнь не совершил ни одного предосудительного поступка. Или потому-то он и относится так сурово к человеку, который готов использовать любое средство, чтобы выбраться из ловушки… и далее в том же духе. В грубых его словах слышалось напоминание о родственной их крови, об одинаковых испытаниях, — отвратительный намек на общую вину, на тайное воспоминание, которое связывало их души и сердца.

Наконец Браун растянулся на земле и искоса стал следить за Джимом. Джим, стоя на другом берегу речонки, размышлял и хлыстиком стегал себя по ноге. Ближайшие дома казались немыми, словно чума уничтожила в них всякое дыхание жизни; но много невидимых глаз смотрели оттуда на двух белых, разделенных речонкой, белой лодкой на мели и телом третьего человека, наполовину ушедшим в грязь. По реке снова двигались каноэ, ибо Патюзан вернул

свою веру в устойчивость земных учреждений с момента возвращения белого Лорда. Правый берег, постройки, ошвартованные плоты, даже крыши купален были усеяны людьми, а те, что находились слишком далеко, чтобы слышать и видеть, — напрягали зрение, стараясь разглядеть холмик за крепостью раджи. Над широким неправильным кругом, обнесенным лесами и в двух местах прорезанным сверкающей полосой реки, нависла тишина.

— Обещаете вы покинуть побережье? — спросил Джим.

Браун поднял и опустил руку, отрекаясь от всего — принимая неизбежное.

— И сдать оружие? — продолжал Джим.

Браун сел и гневно посмотрел на него.

— Сдать оружие! Нет, пока вы не возьмете его из наших окоченевших рук. Вы думаете, я рехнулся от страха? О нет! Это оружие и лохмотья на мне — вот все, что у меня есть… не считая еще нескольких пушек на борту; я хочу все это продать на Мадагаскаре… если только мне удастся туда добраться, выпрашивая милостыню у каждого встречного судна.

Джим ничего на это не сказал. Наконец, отбросив хлыст, который держал в руке, он произнес,

как бы разговаривая сам с собой:

— Не знаю, в моей ли это власти…

— Не знаете! И хотите, чтобы я немедленно сдал вам оружие! Недурна — вскричал Браун. — Допустим, что вам они скажут так, а со мной разделаются этак.

Он явно успокоился.

— Думаю, власть-то у вас есть, — иначе, какой толк от этого разговора? — продолжал он. — Зачем вы сюда пришли? Время провести?

— Отлично, — сказал Джим, внезапно, после долгого молчания, поднимая голову. — Вы получите возможность уйти или сразиться.

Он повернулся на каблуках и ушел.

Браун тотчас же вскочил, но не уходил до тех пор, пока Джим не исчез за первыми домами. Больше он его никогда не видел. Поднимаясь на холм, он встретил Корнелиуса, который, втянув голову в плечи, спускался по склону. Он остановился перед Брауном.

— Почему вы его не убили? — спросил он кислым, недовольным тоном.

— Потому что я могу сделать кое-что получше, — сказал Браун с улыбкой.

— Никогда, никогда! — энергично возразил Корнелиус. — Я здесь прожил много лет.

Браун с любопытством взглянул на него. Многоликая была жизнь этого поселка, который восстал на него; многое он так и не мог себе уяснить. Корнелиус с удрученным видом проскользнул мимо, направляясь к реке. Он покидал своих новых друзей; с мрачным упорством он принимал неблагоприятный ход событий, и его маленькая, желтая физиономия, казалось, сморщилась еще больше. Спускаясь с холма, он искоса поглядывал по сторонам, а навязчивая идея его не покидала.

Далее события развиваются быстро, без заминки, вырываясь, из сердец человеческих, словно ручей из темных недр, а Джима мы видим таким, каким его видел Тамб Итам. Глаза девушки также за ним следили, но ее жизнь была слишком тесно переплетена с его жизнью: зоркости мешала ее страсть, изумление, гнев, и прежде всего — страх и любовь, не знающая прощения. Что же касается верного слуги, не понимающего, как и все остальные, своего господина, то здесь приходится считаться только с его преданностью, преданностью столь сильной, что даже изумление уступает место какому-то грустному приятию таинственной неудачи. Он видит только одну фигуру и во всей этой сутолоке не забывает о своей обязанности охранять, повиноваться, заботиться.

Его господин вернулся после беседы с белым человеком и медленно направился к частоколу на улицу. Все радовались его возвращению, так как каждый боялся не только того, что его убьют, но и того, что произойдет вслед за этим. Джим вошел в один из домов, куда удалился старый Дорамин, и долго оставался наедине с вождем племени буги. Несомненно, он обсуждал с ним дальнейшие шаги, но никто не присутствовал при этом разговоре. Только Тамб Итам, постаравшийся стать поближе к двери, слышал, как его господин сказал:

— Да. Я извещу народ, что такова моя воля; но с тобой, о Дорамин, я говорил раньше, чем со всеми остальными, и говорил наедине, ибо ты знаешь мое сердце так же хорошо, как знаю я самое великое желание твоего сердца. И ты знаешь, что я думаю только, о благе народа.

Затем его господин, откинув занавес в дверях, вышел, и он — Тамб Итам — мельком увидел старого Дорамина, сидящего в кресле; руки его лежали на коленях, глаза были опущены. После этого он последовал за своим господином в форт, куда были созваны на совещание все старейшины буги и представители Патюзана. Сам Тамб Итам рассчитывал, что будет бой.

— Нужно было только взять еще один холм! — с сожалением воскликнул он.

Однако в городе многие надеялись, что жадные пришельцы вынуждены будут уйти при виде стольких смельчаков, готовящихся к бою. Было бы хорошо, если бы они ушли. Так как о прибытии Джима население известили еще до рассвета пушечным выстрелом в форте и барабанным боем, то страх, нависший над Патюзаном, рассеялся, как разбивается волна о скалу, оставив кипящую пену возбуждения, любопытства и бесконечных толков. В целях обороны половина жителей была выселена из домов; они расположились на улице, на левом берегу реки, толпясь вокруг форта и с минуты на минуту ожидая, что их покинутые жилища на другом берегу будут объяты пламенем. Все хотели поскорей покончить с этим делом. Благодаря заботам Джюэл беженцам приносили пищу. Никто не знал, как поступит их белый человек. Кто-то сказал, что сейчас положение хуже, чем было во время войны с шерифом Али. Тогда многие оставались равнодушными, теперь у каждого есть, что терять. За каноэ, скользившими вверх и вниз по реке между двумя частями города, следили с интересом.

Две военные лодки буги лежали на якоре по-

средине течения, чтобы защищать реку; нить дыма поднималась над носом каждой лодки. Люди варили рис на обед, когда Джим, после беседы с Брауном и Дорамином, переправился через реку и вошел в ворота своего форта. Народ столпился вокруг него, так что он едва мог пробраться к дому. Они не видели его раньше, так как, вернувшись ночью, он только обменялся несколькими словами с девушкой, которая для этого спустилась к пристани, а затем тотчас же отправился на другой берег, чтобы присоединиться к вождям и воинам. Народ кричал ему вслед приветствия. Какая-то старуха вызвала смех: грубо пробившись вперед, она ворчливо приказала ему следить за тем, чтобы ее два сына, находившиеся с Дорамином, не пострадали от рук разбойников. Стоявшие поблизости пытались ее оттащить, но она вырывалась и кричала:

— Пустите меня! Что это такое, о мусульмане? Этот смех непристоен. Разве они не жестокие, кровожадные разбойники, живущие убийством?

— Оставьте ее в покое, — сказал Джим; а когда все стихло, медленно произнес: — Все будут целы и невредимы.

Он вошел в дом раньше, чем замер вздох и громкий шепот одобрения.

Несомненно, он твердо решил открыть Брауну свободный путь к морю. Его судьба, восстав, распоряжалась им. Впервые приходилось ему утверждать свою волю вопреки открытой оппозиции.

— Много было разговоров, и сначала мой господин молчал, — сказал Тамб Итам. — Спустилась тьма, и тогда я зажег свечи на длинном столе. Старшины сидели по обе стороны, а леди стояла по правую руку моего господина.

Когда он начал говорить, непривычные трудности как будто только укрепили его решение. Белые люди ждут теперь на холме его ответа. Их вождь говорил с ним на языке его родного народа, выяснив много таких вопросов, какие трудно объяснить на каком бы то ни было другом языке. Они — заблудшие люди; страдание ослепило их, и они перестали видеть разницу между добром и злом. Правда, что несколько жизней уже потеряно, но зачем терять еще? Он объявил своим слушателям, представителям народа, что их благополучие — его благополучие, их потери — его потери, их скорбь — его скорбь. Он оглядел серьезные, внимательные лица и попросил припомнить, как они бок о бок сражались и работали. Они знают его храбрость… Тут шепот прервал

его… Знают, что он никогда их не обманывал. Много лет они прожили вместе. Он любит страну и народ великой любовью. Он готов жизнью заплатить, если их постигнет беда, когда они разрешат бородатым белым людям удалиться. Это злые люди, но и судьба их была злая. Разве он давал им когда-нибудь дурной совет? Разве его слова приносили страдания народу? — спросил он. Он верит, что лучше всего отпустить этих белых и их спутников, не отнимая у них жизни. Дар невеликий.

— Я тот, кого вы испытали и признали честным, — прошу их отпустить.

Он повернулся к Дорамину. Старый накхода не пошевельнулся.

— Тогда, — сказал Джим, — позови Даина Уориса, твоего сына, моего друга, ибо в этом деле я не буду вождем.

43

Тамб Итам, стоявший за его стулом, был словно громом поражен. Это заявление вызвало сенсацию.

— Дайте им уйти — вот мой совет, а я никогда вас не обманывал, — настаивал Джим.

Наступило молчание. С темного двора доносился заглушенный шепот, шарканье ног. Дорамин поднял свою тяжелую голову и сказал, что нельзя читать в сердцах, как нельзя коснуться рукой неба, но… он согласился. Остальные поочередно высказали свое мнение: «Так лучше…», «Пусть они уйдут…» и так далее. Но многие — их было большинство — сказали просто, что они «верят Тюану Джиму».

В этой простой форме подчинения его воле сосредоточено все — их вера, его честность и изъявление этой верности, которая делала его даже в собственных его глазах равным тем непогрешимым людям, что никогда не выходили из строя. Слова Штейна — «Романтик! Романтик!» — казалось, звенели над пространствами, которые никогда уже не вернут его миру, равнодушному

к его падению и его добродетелям, — не отдадут и этой страстной и цепкой привязанности, которая отказывает ему в слезах, ошеломленная великим горем и вечной разлукой. С этого момента он больше не кажется мне таким, каким я его видел в последний раз, — белым пятнышком, сосредоточившим в себе весь тусклый свет, разлитый по мрачному берегу и потемневшему морю. Нет, я вижу его более великим и более достойным жалости в его одиночестве и пребывающим даже для нее — девушки, глубже всех его любившей, — жестокой и неразрешимой загадкой.

Ясно, что он поверил Брауну; не было причины сомневаться в его словах, правдивость которых словно подтверждалась грубой откровенностью, какой-то мужественной искренностью в признании последствий его поступков. Но Джим не знал безграничного эгоизма этого человека, который — словно натолкнувшийся на препятствие деспот — приходил в негодование и мстительное бешенство, когда противились его воле. Хотя Джим и поверил Брауну, но, видимо, он беспокоился, как бы не было недоразумения, которое могло привести к стычке и кровопролитию. Вот почему, как только ушли малайские вожди, он попросил Джюэл принести ему поесть, так как

он собирается уйти из форта, чтобы принять на себя командование в городе. Когда она стала возражать, ссылаясь на его усталость, он сказал, что может случиться несчастье, а этого он никогда себе не простит.

— Я отвечаю за жизнь каждого человека в стране, — сказал он.

Сначала он был мрачен. Она сама ему прислуживала, принимая тарелки и блюда (из сервиза, подаренного Штейном) из рук Тамб Итама. Немного погодя он развеселился; сказал ей, что еще на одну ночь ей придется взять на себя командование фортом.

— Нам нельзя спать, старушка, — заявил он, — пока наш народ в опасности.

Позже он шутя заметил, что она была мужественнее их всех.

— Если бы ты и Даин Уорис сделали то, что задумали, — ни один из этих бродяг не остался бы в живых.

— Они очень плохие? — спросила она, наклоняясь над его стулом.

— Человек часто поступает плохо, хотя он немногим хуже других людей, — секунду поколебавшись, ответил он.

Тамб Итам последовал за своим господином

к пристани перед фортом. Ночь была ясная, но безлунная; на середине реки было темно, а вода у берегов отражала свет многих костров, «как в ночи рамазана»[30] — сказал Тамб Итам. Военные лодки тихо плыли по темной полосе или неподвижно лежали на якоре в журчащей воде. В ту ночь Тамб Итаму пришлось долго грести в каноэ и следовать по пятам за своим господином; они ходили вверх и вниз по улице, где пылали костры, удалялись вглубь, к предместьям поселка, где маленькие отряды стояли на страже в полях. Тюан Джим отдавал приказания, и ему повиновались. Наконец они подошли к частоколу раджи, где расположился на эту ночь отряд из людей Джима. Старый раджа рано поутру бежал со своими женщинами в маленький домик, принадлежавший ему и расположенный неподалеку от лесной деревушки на берегу притока. Кассим остался и с видом энергичным и внимательным присутствовал на совете, чтобы дать отчет в дипломатии минувшего дня. Он был очень недоволен, но, по обыкновению, улыбался, спокойный и настороженный, и прикинулся в высшей степени обрадованным, когда Джим сурово заявил ему,

[30] Примечания: 30
рамазан — девятый месяц магометанского календаря — месяц поста

что на эту ночь введет своих людей за частокол раджи. Когда закончилось совещание, слышали, как он подходил то к одному, то к другому вождю и громко, с благодарностью говорил о том, что во время отсутствия раджи имущество его будет охраняться.

Около десяти часов Джим ввел своих людей. Частокол возвышался над устьем речонки, и Джим предполагал остаться здесь до тех пор, пока не спустится к низовьям Браун. Развели маленький костер на низком, поросшем травой мысе за стеной из кольев, и Тамб Итам принес складной стул для своего господина. Джим посоветовал ему лечь спать. Тамб Итам притащил циновку и улегся поблизости, но заснуть не мог, хотя знал, что еще до рассвета ему предстоит отправиться в путь с важным поручением. Его господин, опустив голову и заложив руки за спину, шагал взад и вперед перед костром. Лицо его было печально. Когда Джим приближался к Тамб Итаму, тот прикидывался спящим, чтобы его господин не знал, что за ним наблюдают. Наконец Джим остановился, посмотрел на него и мягко сказал:

— Пора.

Тамб Итам тотчас же поднялся и стал готовиться в путь. Он должен был спуститься вниз по реке,

на час опередив лодку Брауна, и объявить Даину Уорису, что белых следует пропустить, не причиняя им вреда. Никому другому Джим не доверил бы этого поручения. Перед уходом Тамб Итам попросил какой-нибудь предмет, подтверждающий, что он — Тамб Итам — послан Джимом. Собственно, это была простая формальность, так как всем было известно, какое положение он занимает при Джиме.

— Тюан, я несу важное послание — твои собственные слова, — сказал он.

Его господин сунул руку сначала в один карман, потом в другой и наконец снял с указательного пальца серебряное кольцо Штейна, которое обычно носил, и передал Тамб Итаму. Когда Тамб Итам отправился в путь, в лагере Брауна было темно, и только огонек мерцал сквозь ветви одного из деревьев, срубленных белыми.

Рано вечером Браун получил от Джима сложенный листок бумаги, на котором было написано:

«Путь свободен. Отправляйтесь, как только ваша лодка поднимется на волнах утреннего прилива. Пусть ваши люди будут осторожны. В кустах по обеим сторонам речонки и за частоколом при устье спрятаны вооруженные люди. У вас не было бы ни одного шанса на успех, но я не

думаю, чтобы вы хотели кровопролития».

Браун прочел записку, разорвал ее на мелкие кусочки и, повернувшись к Корнелиусу, который принес послание, насмешливо сказал:

— Прощайте, мой друг!

В тот день Корнелиус побывал в форте и шнырял близ дома Джима. Джим вручил ему записку, так как тот говорил по-английски, был известен Брауну и не подвергался риску попасть под выстрел одного из его людей, что легко могло случиться с кем-нибудь из малайцев, в темноте приближающихся к холму.

Вручив послание, Корнелиус не уходил. Браун сидел у маленького костра; все остальные лежали.

— Я мог бы вам сказать кое-что приятное, — угрюмо пробормотал Корнелиус.

Браун не обратил на него внимания.

— Вы его не убили, — продолжал тот, — а что вы за это получаете? Вы могли бы забрать все деньги у раджи и ограбить дома буги, а теперь у вас нет ничего.

— Проваливайте-ка отсюда! — проворчал Браун, даже не взглянув на него.

Но Корнелиус уселся рядом с ним и стал ему что-то нашептывать, изредка притрагиваясь к

его локтю. То, что он сказал, заставило Брауна с проклятием выпрямиться: Корнелиус сообщил ему о вооруженном отряде Даина Уориса в низовьях реки. Сначала Браун решил, что его предали, но, поразмыслив, убедился, что о предательстве не может быть и речи. Он ничего не сказал, и немного погодя Корнелиус равнодушным тоном заметил, что есть другой обходный путь, хорошо ему известный.

— Полезное сведение, — сказал Браун, настораживаясь; и Корнелиус заговорил о том, что происходит в городе, повторил речи, произнесенные на совете, ровным голосом жужжа в ухо Брауна, словно не желая будить спящих.

— Он думает, что обезвредил меня, — не так ли? — очень тихо пробормотал Браун.

— Да. Он дурак. Дитя малое. Он явился сюда и ограбил меня, — жужжал Корнелиус, — и заставил весь народ ему верить; но если что-нибудь случится, и они перестанут ему верить, — что тогда от него останется? Этот буги Даин, что ждет вас в низовьях реки, капитан, — тот самый человек, который загнал вас на холм, когда вы только что сюда прибыли.

Браун небрежно бросил, что недурно было бы избежать этой встречи; и с тем же независимым

видом Корнелиус заявил, что знает обходный путь — пролив достаточно широкий, по которому лодка Брауна может пройти, минуя лагерь Уориса.

— Вам придется не шуметь, — сказал он, словно что-то вспомнив, — так как в одном месте мы будем проходить как раз позади его лагеря. Очень близко. Они расположились на берегу и втащили свою лодку.

— Не бойтесь, мы умеем скользить неслышно, как мыши, — сказал Браун.

Корнелиус потребовал, чтобы его каноэ взяли на буксир в том случае, если он будет указывать дорогу Брауну.

— Я должен поскорей вернуться назад, — пояснил он.

За два часа до рассвета караульные известили находившихся за частоколом, что белые разбойники спускаются к своему судну. Тотчас же встрепенулись все вооруженные люди в Патюзане, хотя на берегах реки по-прежнему было тихо, и если бы не дымное пламя костров, город казался бы спящим, как в мирное время. Тяжелый туман низко навис над водой, и в призрачном сером свете ничего не было видно. Когда баркас Брауна выплыл из речонки в широкую реку,

Джим стоял на низком мысе перед частоколом раджи — на том самом месте, куда он ступил по приезде в Патюзан. В сером свете показалась движущаяся тень — одинокая, очень большая и, однако, трудно различимая. Доносился тихий шепот. Браун, сидевший у руля, слышал, как Джим спокойно сказал:

— Путь свободен. Вы лучше доверьтесь течению, пока не рассеялся туман. Но скоро он рассеется.

— Да, скоро будет светло, — отозвался Браун.

Тридцать или сорок человек, стоявшие с мушкетами перед частоколом, затаили дыхание. Буги, владелец пироги, тот самый, кого я видел на веранде Штейна, находился среди них и впоследствии рассказывал мне, что баркас, поравнявшись с низким мысом, вдруг словно вырос и навис, как гора.

— Если вы считаете, что имеет смысл переждать день в море, — крикнул Джим, — я постараюсь чего-нибудь вам прислать — теленка, ямсу… что придется.

Тень продолжала двигаться вперед.

— Да. Пришлите — донесся из тумана заглушенный голос.

Никто из внимательных слушателей не понял

смысла этих слов, а потом Браун и его люди уплыли, скрылись бесшумно, словно призраки.

Так Браун, невидимый в тумане, уезжает из Патюзана, сидя бок о бок с Корнелиусом на корме баркаса.

— Может быть, вы получите теленка, — произнес Корнелиус. — О да! Теленка. И ямсу. Вы это получите, раз он сказал. Он всегда говорит правду. Он украл все, что у меня было. Полагаю, вам теленок нравится больше, чем награбленное добро.

— Я бы вам советовал держать язык за зубами, а не то как бы кто не швырнул вас за борт в этот проклятый туман, — сказал Браун.

Баркас, казалось, лежал неподвижно; ничего не было видно — даже воды у бортов; только водяная пыль, стекаясь в капли, струилась по бородам и лицам. Было жутко, сказал мне Браун. Каждый чувствовал себя так, словно он один плывет в лодке, преследуемый едва уловимыми вздохами бормочущих призраков.

— Вышвырните меня, да? Но я-то знаю, где я нахожусь, — угрюмо буркнул Корнелиус. — Я здесь много лет прожил.

— И все-таки ничего не можете разглядеть в таком тумане, — сказал Браун, откидываясь назад

и держа руку на румпеле, ставшем бесполезным.

— Нет, могу! — огрызнулся Корнелиус.

— Очень приятно, — произнес Браун. — Значит, приходится верить, что вы вслепую можете найти проток, о котором говорили?

Корнелиус отвечал утвердительно.

— Вы слишком устали, чтобы грести? — спросил он, помолчав.

— Нет, черт возьми! — заорал вдруг Браун. — Беритесь за весла!

Раздался громкий стук в тумане, немного погодя сменившийся ровным поскрипыванием невидимых весел в невидимых уключинах. За исключением этого ничто не изменилось, и, если бы не поблескивали мокрые лопасти весел, могло, по словам Брауна, показаться, будто они летят на воздушном шаре, окутанные облаком. После этого Корнелиус не разжимал губ и только ворчливо приказал кому-то вычерпать воду из его каноэ, которое шло на буксире за баркасом. Постепенно туман стал белеть, и впереди просветлело. Налево Браун увидел сгущенный мрак, словно поглядел вслед отступающей ночи. Вдруг большой сук, покрытый листьями, навис над его головой, и концы ветвей, с которых стекали капли, изогнулись вдоль бортов. Корнелиус, не

говоря ни слова, взялся за румпель.

44

Думаю, что больше они не разговаривали. Баркас вошел в узкий боковой проток, и они продвигались вперед, упираясь лопастями весел в осыпающиеся берега; было темно, словно огромные черные крылья распростерлись над туманом, заполнившим все пространство до вершин деревьев. Ветви над головой роняли тяжелые капли сквозь туман. Корнелиус что-то пробормотал, и Браун приказал своим людям зарядить ружья.

— Я даю вам возможность свести с ними счеты прежде, чем мы отсюда уйдем, слышите вы, жалкие калеки! — обратился он к своей шайке. — Смотрите же, подлецы, не упустите случая.

В ответ раздалось тихое ворчание. Корнелиус суетился, беспокоясь о целости своего каноэ.

Тем временем Тамб Итам прибыл к месту назначения. Туман немного задержал его, но он греб упорно, придерживаясь южного берега. Мало-помалу пробился дневной свет. Берега реки казались темными расплывчатыми полосами, на которых можно было различить неясные очертания каких-то колонн и теней, отброшенных

переплетенными вверху ветвями. На воде еще лежал густой туман, но караульные смотрели зорко; когда Тамб Итам приблизился к лагерю, из белого пара вынырнули две человеческие фигуры и его громко окликнули голоса. Он ответил им, и вскоре к нему подплыло каноэ, и он обменялся новостями с гребцами. Все шло хорошо. Беда миновала. Тогда люди в каноэ отпустили его челнок, за борт которого они держались, и тотчас же скрылись из виду. Он продолжал путь, пока не донеслись до него спокойные голоса: в рассеивающемся тумане он увидел огни маленьких костров на песчаной полосе, за которой вставали высокие тонкие стволы деревьев и кусты. Здесь также был сторожевой пост, и Тамб Итама снова окликнули. Он выкрикнул свое имя, еще два раза ударил веслом, и его каноэ врезалось в берег. Это был большой лагерь. Люди отдельными группами сидели на корточках и заглушенным шепотом вели утренние разговоры. Тонкие нити дыма вились в белом тумане. Маленькие шалаши на небольших возвышениях были построены для вождей. Мушкеты были составлены пирамидами, а длинные копья, воткнутые в песок, торчали близ костров.

Тамб Итам, приняв внушительную осанку, по-

требовал, чтобы его провели к Даину Уорису. Друг его белого господина лежал на невысоком ложе из бамбука; навес был сделан из палок, покрытых циновками. Даин Уорис не спал; яркий костер пылал перед его шалашом, походившим на грубо сделанный ковчег. Единственный сын накходы Дорамина ласково ответил на его приветствие. Тамб Итам начал с того, что вручил ему кольцо, подтверждавшее слова посланца. Даин Уорис, опираясь на локоть, повелел ему говорить и сообщить все новости.

Начав с освященной обычаем формулы: «Вести добрые!» — Тамб Итам передал подлинные слова Джима. Белым людям, уезжавшим с согласия всех вождей, следовало предоставить свободный путь вниз по реке. В ответ на вопросы Тамб Итам рассказал обо всем, что произошло на последнем совещании. Даин Уорис внимательно выслушал до конца, играя с кольцом, которое он затем надел на указательный палец правой руки. Когда Тамб Итам умолк. Даин Уорис отпустил его поесть и отдохнуть. Немедленно был отдан приказ о возвращении в Патюзан после полудня. Затем Даин Уорис снова улегся и лежал с открытыми глазами, а его слуги готовили ему пищу у костра; тут же сидел Тамб Итам и разговаривал с людьми, кото-

рые горели желанием узнать последние новости из города. Солнце понемногу поглощало туман. Караульные зорко следили за рекой, где с минуты на минуту должен был появиться баркас белых.

Вот тогда-то Браун и отомстил миру, который после двадцати лет презрительного и безрассудного хулиганства отказывал ему в успехе рядового грабителя. То был акт жестокий и хладнокровный, и это утешало его на смертном ложе, словно воспоминание о дерзком вызове. Потихоньку высадил он своих людей на другом конце острова и повел их к лагерю бути. После короткой и бесшумной потасовки Корнелиус, пытавшийся улизнуть в момент высадки, покорился и стал указывать дорогу, направляясь туда, где кустарник был реже. Браун, заложив ему руки за спину, зажал в свой большой кулак его костлявые кисти и пинками подгонял вперед. Корнелиус оставался нем, как рыба, жалкий, но верный своей цели, смутно перед ним маячившей. У опушки леса люди Брауна рассеялись, спрятавшись за деревья, и стали ждать. Весь лагерь из конца в конец раскинулся перед ними, и никто не смотрел в их сторону. Никому и в голову не приходило, что белые могут узнать об узком протоке за островом. Решив, что момент настал, Браун заорал: «Пли!»

— и четырнадцать выстрелов слились в один.

По словам Тамб Итама, удивление было так велико, что, за исключением тех, которые упали мертвыми или ранеными, долгое время никто не шевелился после первого залпа. Потом один из них воскликнул, и тогда у всех вырвался вопль изумления и ужаса. В панике заметались они взад и вперед вдоль берега, словно стадо, боящееся воды. Кто-то прыгнул в реку, но большинство бросилось в воду только тогда, когда был сделан последний залп. Три раза люди Брауна стреляли в толпу, а Браун — один стоявший на виду — ругался и орал:

— Целься ниже! Целься ниже!

Тамб Итам рассказывает: при первом же залпе он понял, что случилось. Хотя его и не ранило, он все же упал и лежал, как мертвый, но с открытыми глазами. При звуке первых выстрелов Даин Уорис, лежавший на своем ложе, вскочил и выбежал на открытый берег — как раз вовремя, чтобы получить пулю в лоб при втором залпе.

Тамб Итам видел, как он широко раскинул руки и упал. Тогда только, говорит он, великий страх охватил его, не раньше. Белые ушли так же, как и пришли, — невидимые.

Так свел Браун счеты со злым роком. Заметьте

— даже в этом страшном взрыве ярости сквозит уверенность в своем превосходстве, словно человек настаивает на своем праве — на чем-то абстрактном, — облекая его оболочкой своих обыденных желаний. Это была не бойня, грубая и вероломная, это было воздаяние, расплата, — проявление какого-то неведомого и ужасного свойства нашей природы, которое, боюсь, таится в нас не так глубоко, как хотелось бы думать.

Затем белые уходят со сцены, невидимые Тамб Итаму, и словно исчезают с глаз человеческих; и шхуна пропадает так же, как пропадает украденное добро. Но ходят слухи, что месяц спустя белый баркас был подобран грузовым пароходом в Индийском океане. Два сморщенных желтых едва бормочущих скелета с остекленевшими глазами, находившиеся на нем, признавали власть третьего, который заявил, что его имя Браун: его-де шхуна, шедшая на юг и груженная яванским сахаром, дала течь и затонула. Из команды в шесть человек спаслись он и его спутники. Эти двое умерли на борту парохода, который их подобрал, Браун дожил до встречи со мной, и я могу засвидетельствовать, что свою роль он сыграл до конца.

Видимо, покидая остров, они не подумали о

том, чтобы оставить Корнелиусу его каноэ. Самого Корнелиуса Браун отпустил перед началом стрельбы, дав ему на прощанье пинка. Тамб Итам, восстав из мертвых, увидел, как Корнелиус бегает по берегу, между трупами и угасающими кострами. Он тихонько подвывал. Вдруг он бросился к воде и, напрягая все силы, попытался столкнуть в воду одну из лодок буги.

— Потом, до тех пор пока он меня не увидел, — рассказывал Тамб Итам, — он стоял, глядя на тяжелое каноэ и почесывая голову.

— Ну, а что сталось с ним? — спросил я.

Тамб Итам, пристально глядя на меня, сделал выразительный жест правой рукой.

— Дважды я ударил, тюан, — сказал он. — Увидев, что я приближаюсь, он бросился на землю и стал громко кричать и брыкаться. Он визжал, словно испуганная курица, пока не подошла к нему смерть; тогда он успокоился и лежал, глядя на меня, а жизнь угасала в его глазах.

Покончив с этим, Тамб Итам мешкать не стал. Он понимал, как важно первым прибыть в форт с этой страшной вестью. Конечно, многие из отряда Даина Уориса остались в живых; но одни, охваченные паникой, переплыли на другой берег, другие скрылись в зарослях. Дело в том, что они

не знали в точности, кто нанес удар… не явились ли еще новые белые грабители, не захватили ли они уже всю страну? Они считали себя жертвами великого предательства, обреченными на гибель. Говорят, иные вернулись лишь три дня спустя. Однако некоторые тотчас же постарались вернуться в Патюзан, и одно из каноэ, сторожив-ших в то утро на реке, в момент атаки находилось в виду лагеря. Правда, сначала люди попрыгали за борт и поплыли к противоположному берегу, но потом они вернулись к своей лодке и, перепуган-ные, пустились вверх по течению. Этих людей Тамб Итам опередил на час.

45

Когда Тамб Итам, бешено работая веслом, приблизился к городу, женщины, столпившиеся на площадках перед домами, поджидали возвращения маленькой флотилии Даина Уориса. Город имел праздничный вид; там и сям мужчины, все еще с копьями или ружьями в руках, прохаживались или группами стояли на берегу. Китайские лавки открылись рано, но базарная площадь была пуста, и караульный, все еще стоявший у форта, разглядел Тамб Итама и криком известил остальных. Ворота были раскрыты настежь. Тамб Итам выпрыгнул на берег и стремглав побежал во двор. Первой он встретил девушку, выходившую из дому.

Тамб Итам, задыхающийся, с дрожащими губами и безумными глазами, стоял перед ней, словно оцепенелый, и не мог выговорить ни слова. Наконец он быстро сказал:

— Они убили Даина Уориса и еще многих!

Она сжала руки, первые ее слова были:

— Закрой ворота!

Многие из находившихся в крепости разошлись

по своим домам, но Тамб Итам привел в движение тех, кто держал караул внутри. Девушка стояла посреди двора, а вокруг метались люди.

— Дорамин! — с отчаянием вскричала она, когда Тамб Итам пробегал мимо. Снова с ней поравнявшись, он крикнул ей, словно отвечая на ее немой вопрос:

— Да. Но весь порох у нас.

Она схватила его за руку и, указывая на дом, шепнула дрожа:

— Вызови его.

Тамб Итам взбежал по ступеням. Его господин спал.

— Это я, Тамб Итам! — крикнул он у двери. — Принес весть, которая ждать не может.

Он увидел, как Джим повернулся на подушке и открыл глаза. Тогда он выпалил сразу:

— Тюан, это — день несчастья, проклятый день!

Его господин приподнялся на локте, так же точно, как сделал это Даин Уорис. И тогда Тамб Итам, стараясь рассказывать по порядку и называя Даина Уориса «Панглима», заговорил:

— И тогда Панглима призвал старшину своих гребцов и сказал: «Дай Тамб Итаму поесть»…

Как вдруг его господин спустил ноги на пол и

повернулся к нему; лицо его было так искажено, что у того слова застряли в горле.

— Говори! — крикнул Джим. — Он умер?

— Да будет долгой твоя жизнь! — воскликнул Тамб Итам. — Это было жестокое предательство. Он выбежал, услышав первые выстрелы, и упал…

Его господин подошел к окну и кулаком ударил в ставню. Комната залилась светом; и тогда твердым голосом, но говоря очень быстро, он стал отдавать распоряжения, приказывал немедленно послать в погоню флотилию лодок, приказывал пойти к такому-то и такому-то человеку, разослать вестников; не переставая говорить, он сел на кровать и наклонился, чтобы зашнуровать ботинки; потом вдруг поднял голову.

— Что же ты стоишь? — спросил он; лицо у него было багровое. — Не теряй времени.

Тамб Итам не шевельнулся.

— Прости мне, Тюан, но… но… — запинаясь, начал он.

— Что? — крикнул его господин; вид у него был грозный; он наклонился вперед, обеими руками цепляясь за край кровати.

— Не безопасно твоему слуге выходить к народу, — сказал Тамб Итам, секунду помешкав.

Тогда Джим понял. Он покинул один мир из-за какого-то инстинктивного прыжка, теперь другой мир — созданный его руками — рушится над его головой. Небезопасно его слуге выходить к его народу! Думаю, именно в этот момент он решил встретить катастрофу так, как, по его мнению, только и можно было ее встретить; но мне известно лишь, что он, не говоря ни слова, вышел из своей комнаты и сел перед длинным столом, во главе которого привык улаживать дела своего народа, ежедневно возвещая истину, оживотворявшую, несомненно, его сердце. Никто не сможет вторично отнять у него покой.

Он сидел, словно каменное изваяние. Тамб Итам почтительно заговорил о приготовлениях к обороне. Девушка, которую он любил, вошла и обратилась к нему, но он сделал знак рукой, и ее устрашил этот немой призыв к молчанию. Она вышла на веранду и села на пороге, словно своим телом охраняя его от опасности извне.

Какие мысли проносились в его голове, какие воспоминания? Кто может ответить? Все погибло, и он — тот, кто однажды уклонился от своего долга, вновь потерял доверие людей. Думаю, тогда-то он и попробовал написать — кому-нибудь — и отказался от этой попытки. Одиночество смыка-

лось над ним. Люди доверили ему свои жизни — и, однако, никогда нельзя было, как он говорил, заставить их понять его. Те, что были снаружи, не слышали ни единого звука. Позже, под вечер, он подошел к двери и позвал Тамб Итама.

— Ну что? — спросил он.

— Много льется слез. И велик гнев, — сказал Тамб Итам.

Джим поднял на него глаза.

— Ты знаешь, — прошептал он.

— Да, Тюан, — ответил Тамб Итам. — Твой слуга знает, и ворота заперты. Мы должны будем сражаться.

— Сражаться! За что? — спросил он.

— За наши жизни.

— У меня нет жизни, — сказал он.

Тамб Итам слышал, как вскрикнула девушка у двери.

— Кто знает? — отозвался Тамб Итам. — Храбрость и хитрость помогут нам, быть может, бежать. Велик страх в сердцах людей.

Он вышел, размышляя о лодках и открытом море, и оставил Джима наедине с девушкой.

У меня не хватает мужества записать здесь то, что она мне открыла об этом часе, который провела с ним в борьбе за свое счастье. Была

ли у него какая-нибудь надежда — на что он надеялся, чего ждал — сказать невозможно. Он был неумолим, и в нарастающем своем упорстве дух его, казалось, поднимался над развалинами его жизни. Она кричала ему: «Сражайся!» Она не могла понять. За что ему было сражаться? Он собирался по-иному доказать свою власть и подчинить роковую судьбу. Он вышел во двор, а за ним вышла, шатаясь, она, с распущенными волосами, искаженным лицом, задыхающаяся, и прислонилась к двери.

— Откройте ворота! — приказал он.

Потом, повернувшись к тем из своих людей, что находились во дворе, он отпустил их по домам.

— Надолго ли, Тюан? — робко спросил один из них.

— На всю жизнь, — сказал он мрачно.

Тишина спустилась на город после взрыва воплей и стенаний, пролетевших над рекой, как порыв ветра из обители скорби. Но шепотом передавались слухи, вселяя в сердца ужас и страшные сомнения. Грабители возвращаются на большом корабле, с ними много людей, и никому во всей стране не удастся спастись. То смятение, какое бывает при катастрофе, овладело людьми, и они шепотом делились своими подозрениями, погля-

дывая друг на друга, словно увидели зловещее предзнаменование.

Солнце клонилось к лесам, когда тело Даина Уориса было принесено в кампонг Дорамина. Четыре человека внесли его, завернутого в белое полотно, которое старая мать выслала к воротам, навстречу своему возвращающемуся сыну. Они опустили его к ногам Дорамина, и старик долго сидел неподвижно, положив руки на колени и глядя вниз. Кроны пальм тихонько раскачивались, и листья фруктовых деревьев шелестели над его головой. Когда старый накхода поднял наконец глаза, весь его народ во всеоружии стоял во дворе. Он медленно обвел взглядом толпу, словно разыскивая кого-то. Снова подбородок его опустился на грудь. Шепот людей сливался с шелестом листьев.

Малаец, который привез Тамб Итама и девушку в Самаранг, также находился здесь. Он — Дорамин — был «не так разгневан, как многие другие», — сказал он мне, но поражен великим ужасом и изумлением «перед судьбой человеческой, которая висит над головами людей, словно облако, заряженное громом».

Он рассказал мне, что, по знаку Дорамина, сняли покрывало с тела Даина Уориса, и все увидели

того, кого они так часто называли другом белого Лорда; он не изменился, веки его были слегка приподняты, словно он пробуждался от сна. Дорамин наклонился вперед, как человек, разыскивающий что-то упавшее на землю. Глаза его осматривали тело с ног до головы, быть может, отыскивая рану. Рана была маленькая, на лбу; и ни слова не было сказано, когда один из присутствовавших нагнулся и снял серебряное кольцо с окоченевшего пальца. В молчании подал он его Дорамину. Унылый и испуганный шепот пробежал по толпе, увидевшей этот знакомый амулет. Старый накхода впился в него расширенными глазами, и вдруг из груди его вырвался отчаянный вопль — рев боли и бешенства, такой же могучий, как рев раненого быка; и величие его гнева и скорби, понятных без слов, вселило великий страх в сердца людей. После этого спустилась великая тишина, и четыре человека отнесли тело в сторону. Они положили его под деревом, и тотчас же все женщины, домочадцы Дорамина, начали протяжно стонать; они выражали свою скорбь пронзительными криками. Солнце садилось, и в промежутках между стенаниями слышались лишь высокие певучие голоса двух стариков, читавших нараспев молитвы из корана.

Примерно в это время Джим стоял, прислонившись к пушечному лафету, и, повернувшись спиной к дому, глядел на реку, а девушка в дверях, задыхающаяся словно после бега, смотрела на него через двор. Тамб Итам стоял неподалеку от своего господина и терпеливо ждал того, что должно произойти. Вдруг Джим, казалось, погруженный в тихие размышления, повернулся к нему и сказал:

— Пора это кончать.

— Тюан? — произнес Тамб Итам, быстро шагнув вперед.

Он не знал, что имеет в виду его господин, но как только Джим пошевельнулся, девушка вздрогнула и спустилась вниз, во двор. Кажется, больше никого из обитателей дома не было видно. Она слегка споткнулась и с полдороги окликнула Джима, который снова как будто погрузился в мирное созерцание реки. Он повернулся, прислонившись спиной к пушке.

— Будешь ты сражаться? — крикнула она.

— Из-за чего сражаться? — медленно произнес он. — Ничто не потеряно.

С этими словами он шагнул ей навстречу.

— Хочешь ты бежать? — крикнула она снова.

— Бежать некуда… — сказал он, останавлива-

ясь, и она тоже остановилась, впиваясь в него глазами.

— И ты пойдешь? — медленно проговорила она.

Он опустил голову.

— А! — воскликнула она, не спуская с него глаз. — Ты безумен или *лжив*. Помнишь ли ту ночь, когда я умоляла тебя оставить меня, а ты сказал, что не в силах? Что это невозможно? Невозможно! Помнишь, ты сказал, что никогда меня не покинешь? Почему? Ведь я не требовала никаких обещаний. Ты сам обещал — вспомни!

— Довольно, бедняжка, — сказал он. — Не стоит того, чтобы меня удерживать…

Тамб Итам сказал, что, пока они говорили, она хохотала громко и бессмысленно. Его господин схватился за голову. Он был в обычном своем костюме, но без шлема. Вдруг она перестала смеяться.

— В последний раз… Будешь ты защищаться? — с угрозой крикнула она.

— Ничто не может меня коснуться, — сказал он с последним проблеском великолепного эгоизма.

Тамб Итам видел, как она наклонилась вперед, простерла руки и побежала к нему. Она бросилась ему на грудь и обвила его шею.

— Ах, я буду держать тебя — вот так! — кричала она. — Ты мой!

Она рыдала на его плече. Небо над Патюзаном было кроваво-красное, необъятное, струящееся, словно открытая рана. Огромное малиновое солнце приютилось среди вершин деревьев, и лес внизу казался черным, зловещим.

Тамб Итам сказал мне, что в тот вечер небо было грозным и страшным. Охотно этому верю, ибо знаю, что в тот самый день циклон пронесся на расстоянии шестидесяти миль от побережья, хотя в Патюзане дул только ленивый ветерок.

Вдруг Тамб Итам увидел, как Джим схватил ее за руки, пытаясь разорвать объятие. Она повисла на его руках, голова ее запрокинулась, волосы касались земли.

— Иди сюда! — позвал его Джим, и Тамб Итам помог опустить ее на землю. Трудно было разжать ее пальцы. Джим, наклонившись над ней, пристально посмотрел на ее лицо и вдруг бегом пустился к пристани. Тамб Итам последовал за ним, но, оглянувшись, увидел, как она с трудом поднялась на ноги. Она пробежала несколько шагов, потом тяжело упала на колени.

— Тюан! Тюан! — крикнул Тамб Итам. — Оглянись!

Но Джим уже стоял в каноэ и держал весло. Он не оглянулся. Тамб Итам успел вскарабкаться вслед за ним, и каноэ отделилось от берега. Девушка, сжав руки, стояла на коленях в воротах, выходящих к реке. Некоторое время она оставалась в этой умоляющей позе, потом вскочила.

— Ты лжец! — пронзительно крикнула она вслед Джиму.

— Прости меня! — крикнул он.

А она отозвалась:

— Никогда! Никогда!

Тамб Итам взял весло из рук Джима, ибо не подобало ему сидеть без дела, когда господин его гребет. Когда они добрались до противоположного берега, Джим запретил ему идти дальше, но Тамб Итам следовал за ним на расстоянии и поднялся по склону в кампонг Дорамина.

Начинало темнеть. Кое-где мелькали факелы. Те, кого они встречали, казались испуганными и торопливо расступались перед Джимом. Сверху доносились стенания женщин. Во дворе толпились вооруженные буги со своими приверженцами и жители Патюзана.

Я не знаю, что означало это сборище. Были ли то приготовления к войне, к мщению или к отражению грозившего нашествия? Много дней

прошло, прежде чем народ перестал в трепете ждать возвращения белых людей с длинными бородами и в лохмотьях. Отношение этих белых людей к их белому человеку они так и не могли понять. Даже для этих простых умов бедный Джим остается в тени облака.

Дорамин, огромный, одинокий и безутешный, сидел в своем кресле перед вооруженной толпой, на коленях его лежала пара кремневых пистолетов. Когда появился Джим, кто-то вскрикнул, и все головы повернулись в его сторону; затем толпа расступилась направо и налево, и Джим прошел вперед, между рядами не смотревших на него людей. Шепот следовал за ним; люди шептали:

— Он принес все это зло… Он — злой колдун…

Он слышал их — быть может!

Когда он вошел в круг света, отбрасываемого факелами, стенания женщин внезапно смолкли. Дорамин не поднял головы, и некоторое время Джим молча стоял перед ним. Потом он посмотрел налево и размеренными шагами двинулся в ту сторону. Мать Даина Уориса сидела на корточках возле тела у головы сына; седые растрепанные волосы закрывали ее лицо. Джим медленно подошел, взглянул, приподняв покров,

на своего мертвого друга; потом, не говоря ни слова, опустил покрывало. Медленно вернулся он назад.

— Он пришел! Он пришел! — пробегал в толпе шепот, навстречу которому он двигался.

— Он взял ответственность на себя, и порукой была его голова, — раздался чей-то громкий голос.

Он услышал и повернулся к толпе.

— Да. Моя голова.

Кое-кто отступил назад. Джим ждал, стоя перед Дорамином, потом мягко сказал:

— Я пришел в скорби.

Он снова замолчал.

— Я пришел, — повторил он. — Я готов и безоружен…

Грузный старик, опустив, словно бык под ярмом, свою массивную голову, попытался подняться, хватаясь за кремневые пистолеты, лежавшие у него на коленях. Из горла его вырывались булькающие хриплые нечеловеческие звуки; два прислужника поддерживали его сзади. Народ заметил, что кольцо, которое он уронил на колени, упало и покатилось к ногам белого человека. Бедный Джим глянул вниз, на талисман, открывший ему врата славы, любви и успеха в

этих лесах, окаймленных белой пеной, на этих берегах, которые под лучами заходящего солнца похожи на твердыню ночи. Дорамин, поддерживаемый с обеих сторон, покачивался, шатался, стараясь удержаться на ногах; в его маленьких глазках застыла безумная боль и бешенство; они злобно сверкали, и это заметили все присутствующие. Джим, неподвижный, с непокрытой головой, стоял в светлом круге факелов и смотрел ему прямо в лицо. И тогда он, тяжело обвив левой рукой шею склоненного юноши, решительно поднял правую руку и выстрелил в грудь другу своего сына.

Толпа, отступившая за спиной Джима, как только Дорамин поднял руку, после выстрела ринулась вперед. Говорят, что белый человек бросил направо и налево, на все эти лица гордый, непреклонный взгляд. Потом, подняв руку к губам, упал ничком — мертвый.

Это конец. Он уходит в тени облака, загадочный, забытый, непрощенный, такой романтический. В самых безумных отроческих своих мечтах не мог он представить себе соблазнительное видение такого изумительного успеха. Ибо очень возможно, что в тот краткий миг, когда он бросил последний гордый и непреклонный взгляд, он

увидел лик счастья, которое, подобно восточной невесте, приблизилось к нему под покрывалом.

Но мы можем видеть его, видеть, как он — неведомый завоеватель славы — вырывается из объятий ревнивой любви, повинуясь знаку, зову своего возвышенного эгоизма. Он уходит от живой женщины, чтобы отпраздновать жестокое свое обручение с призрачным идеалом. Интересно, вполне ли он удовлетворен теперь? Нам следовало бы знать. Он — один из нас, — и разве не поручился я однажды, как вызванный к жизни призрак, за его вечное постоянство? Разве я уж так ошибся? Теперь его нет, и бывают дни, когда я с ошеломляющей силой ощущаю реальность его бытия; и, однако, клянусь честью, бывают и такие минуты, когда он уходит от меня, словно невоплощенный дух, блуждающий среди страстей этой земли, готовый покорно откликнуться на призыв своего собственного мира теней.

Кто знает? Он ушел, так до конца и не разгаданный, а бедная девушка, безмолвная и безвольная, живет в доме Штейна. Штейн очень постарел за последнее время. Он сам это чувствует и часто говорит, что «готовится оставить все это… оставить все это…» — и грустно указывает рукой на своих бабочек.